

International Literary Magazine #

# KRESCHATIK

#58

П Е Р Е К Р Е С Т О К

#58

KRESCHATIK  
International Literary Magazine

Вест-Ковсалтинг



Международный  
литературно-  
художественный  
журнал





Главный редактор  
**Борис Марковский**

Зам. главного редактора  
**Евгений Степанов** (Москва)

Зав. отделом прозы  
**Елена Мордовина** (Киев)  
тел. (038) 067-83-007-11

Редакционная коллегия:

**Андрей Коровин** (Москва)  
**Борис Херсонский** (Одесса),  
**Игорь Савкин** (Санкт-Петербург),  
**Владимир Цивунин** (Сыктывкар),  
**Борис Констриктор** (Санкт-Петербург),  
**Владимир Алейников** (Коктебель),  
**Игорь Лощилов** (Новосибирск),  
**Вальдемар Вебер** (Аугсбург)  
**Айдар Хусаинов** (Уфа)

Художник  
**Иван Граве** (Санкт-Петербург)

Год издания пятнадцатый  
Рукописи не рецензируются и не возвращаются  
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:  
В. Markowskij, Tränke Str. 16  
34497 Korbach, Deutschland  
тел. (+49) 5631-50-31-42  
e-mail: borismark30@T-Online.de  
www.kreschatik.nm.ru

Издательство «Вест-Консалтинг»  
Москва, 109193,  
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Журнал выходит 4 раза в год  
ISSN 1619-2966  
Свидетельство о регистрации КВ № 10002 от 29.06.2005 г.

© Крещатик, 2012 г.  
© Издательство «Вест-Консалтинг» (Москва), 2012 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Поэзия

Петр Чейгин / <i>СПб.</i> /	Из книги «Пернатый снег»	5
Сергей Попов / <i>Воронеж</i> /	«Лишь вскользь отразила...»	86
Р. Шустерович / <i>Ришон-ле-Цион</i> /	Скажи «невозможное»	101
Валерий Юхимов / <i>Киев</i> /	«Душные ночи...»	143
Станислав Ли / <i>Алма-Ата</i> /	«В этом мире...»	162
Сергей Тенятников / <i>Лейпциг</i> /	Речь	172
Андрей Сизых / <i>Иркутск</i> /	Водяные знаки	207
Галина Комичева / <i>Киев</i> /	«Какая долгая зима...»	231
Вера Зубарева / <i>Филодельфия</i> /	Относительность смерти	235
Борис Марковский / <i>Корбах</i> /	Памяти Мандельштама	250
Наталья Бельченко / <i>Киев</i> /	«И если ключ...»	255
Алекс. Макушинский / <i>Мюнхен</i> /	Внутри и снаружи	261
Алексей Сомов / <i>Сарапул</i> /	Адамович в Петрограде, 1923	267
Татьяна Партина / <i>Одесса</i> /	От частного к общему	281
Валерий Мишин / <i>СПб.</i> /	«Идёшь по крашеному полу...»	290
Дмитрий Нержанников / <i>СПб.</i> /	От Казантипа до Тарханкута	300
Римма Запесоцкая / <i>Лейпциг</i> /	Германия	304
Марк Харитонов / <i>Москва</i> /	Из тетради провинциального стихотворца	310

### Проза

Давид Шраер-Петров / <i>Бостон</i> /	Винтовая лестница. Роман	11
Инара Озерская / <i>Рига</i> /	Химеры. Рассказ	90
Вл. Порудоминский / <i>Кёльн</i> /	Трапезы теней	106
Михаил Окунь / <i>Аален</i> /	Клоны. Короткие рассказы	147
Моисей Борода / <i>Херне</i> /	Речь. Рассказ	166
Инна Халяпина / <i>Эрфурт</i> /	Лестница—коридор—лестница, или Маршрут для неприкаянных	176

### Переводы

Иоганнес Бобровский <i>Пер. с нем. Вальдемара Вебера</i>	Города видел я. Стихи	212
Нене Гиоргадзе <i>Пер. с груз. Владимира Саришвили</i>	Треугольник. Рассказ	217

Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Валерий Даниленко / <i>Иркутск</i> /	Мысли из дневника	239
Инна Иохвидович / <i>Штутгарт</i> /	Владимир Мотрич	251
Елена Мордовина / <i>Киев</i> /	Знакомство с Донедайтисом	257
Михаил Горевич / <i>Москва</i> /	Единый мир Влад. Алейникова	271
Алексей Босенко / <i>Киев</i> /	«Мы из джаза?»	285
Игорь Савкин / <i>СПб.</i> /	Глядя в зеркало	288
Юрий Зморевич / <i>Киев</i> /	Что это было?	294
Анна Гедымин / <i>Москва</i> /	Руководство по спасению...	308
Владимир Гутковский / <i>Киев</i> /	Две рецензии	315



## Пётр ЧЕЙГИН

*/ Санкт-Петербург /*

### **Из книги «Пернатый снег»**

\* \* \*

Двадцатый век, зажатый скрепкой.  
Листов переводное напряжение,  
наглядное пособие для ТЮЗа.

По яркости страницы перебрав,  
почувствую лицо, как оперенье,  
как маску водяных открытых струй.

И только говорить, что обесценен  
небесного состава белый вечер,  
рассказанный на языке народном.

И только объяснять, что ни к чему  
смотреть лицо узорами касанья,  
когда до слепоты одно строфа.

\* \* \*

Високосным разладом пульсаций настигнут, — целуй!  
Обживают наделы прогнозы осознанной речи.  
Пожелай на болезнь чистый холод и лёгкие свечи.  
Цыц, погон, Бармалей! Серебряная пыль над столом.

Неоглядну житью обучивший сухую позёмку  
человечьи черты выбирает на пальцы и вкус.  
Ниспошли горемыке отведасть расейский искус,  
семигранье — центром, зажги вороватую рюмку.

Подотнянный учебник недолго протянет, сгорит.  
Телу бедному трижды по-мёртвому выпадет вживе.  
Исаакий, поведай о трубном Вселенском призыве.  
Чу! Погона крыло наливается пеплом зари.

\* \* \*

Храпит сосед — цепной матрос,  
клокочет ночь в саду.  
И, если вычислить звезду  
на родовом посту,  
я контур сестрин обеда  
мелком штрафных стрекоз.

Но пот, устойчивый, как гимн,  
и кипяток берёз  
обшарят, как прямой допрос,  
и не поспорить с ним.

\* \* \*

Бездомный день, я — твой солдат, оранжевая ветвь.  
Созвездье выплеснуло тень, и стих трамвайный ветр.  
Что — оглянуться и застыть, взломать экран и дверь...  
Но нет за ними своего, и ты уж мне поверь

\* \* \*

Самуэлла — тяжёлая дама по взглядам  
на историю и на зеркало  
после пеона четыре сказала:  
«Вы нас достали».

Очень хотелось будить православных  
или... кого там?  
Модуль поэта — изделие Фавна —  
кукла комода.

Ты, Ойнохоя, предмет кабинеты,  
выжимок эры,  
определяешь усилье кометы,  
девы, галеры.

Тем и ненужен, скажем — опасен  
modus vivendi.  
Впрочем, для женщин достаточно басен,  
вы их поверьте.

\* \* \*

Балахоны любви  
прусским шёлком объаты  
на блаженных гладильнях распяты  
Козырных не лови

Козырных на бюро  
красна дерева от отваливших  
и в Париже не лишних  
заяви на зеро

Балахоны любви  
петергофской зари клавишины  
В ней посмертно сияют осины  
Перевод не губи

Но кивни головой  
обретая мои опечатки  
и подсказку забитой брусчатки  
отдели черновой запятой

И скажи ангел мой  
мармелад выносила Лариса?  
За кулисами вящего смысла  
Кружевами головку покрой.

*Из книги  
«Зона жизни»*

**Б. К.**

1

Кто верит ласточке?  
Бездомный том Плюшара?  
Да полукровка кровли Гесперид?  
Да кость Икара.

Кто чуял чучело  
чухонска соловья?  
Алмазик серенький  
Ответ ловя

мякине свадебной  
раскатанной на вербе?  
То — клюв прикаянный —  
настройщик гарпий.

2

Не огорчу тебя лучом  
и сойкой гадкого пригорка,  
где два ижорца пляшут горько,  
обороняя масть плечом.

Но, разгядев тебя в крови  
ольхи голодной и холодной  
верну валторне непритворной  
ходы охотничьей любви.



3

Проследуй мимо чёрной и зелёной  
 рапсодии в снегу к спине собора.  
 Прикушен ноябрём ты равен клёну,  
 его дрожанью... Здравствуй, Боря.

На белом свете — радость откровений,  
 на чёрном свете — воля коренная.  
 Кадетом, обживающим Равенну,  
 живёт наш день, паронимы роняя.

Поганый маг смахнёт лучей верхушки  
 (ему наскучит воровать соленья)  
 И дуновение посуды скушной  
 В его зрачках есть переплёт мгновенья.

\* \* \*

Грешно при ветхом соловье  
 пить день и ночь  
 и день, а Деву  
 чернявой лентой приторочь,  
 обороняясь её напеву,  
 не то забродит в голове.

Грешно униженную тень  
 стакана вылить в склянь...  
 Но сны синицы в кошке... Глянь —  
 июнь встаёт с колен.

И сколько мётел ивняка  
 нарежет эта пьянь  
 и свяжет с бабою Яга  
 не вспомнят Инь и Ян...

Но мама с ковшиком души  
 И отрок с малым льном  
 Не слышно небу входят в дом.

\* \* \*

Забыла и смысла  
 Столичное тело дождя  
 Терпенья хватило  
 На колкость декаду спустя

Плывущим курумом  
 Гонца разведу по прямой  
 Навьюченный громом  
 Заказанным кровлей рыбой

На всё ли ответишь  
Сжимая обёртку ружья...  
Утроенный ветер —  
Картавый капитель рыжья

Калёной малины  
Умытых блокадных дворов  
Догонит и в спину  
Толкает, звезду приколов

К девятой тетради  
Густой астрономии лет...  
Где виден пробел на параде  
Того и в запасниках нет

***Из «Третьей книги»***

\* \* \*

Кто там ниже? Поделись  
Рвотной вводной...  
Плеск заплат  
На погонщиках проточных  
Непокрытых сверх — небес  
Света ниже...

Боже ближе...

Выдели и поделись  
Топь зеркал раздрав зарёю...

Боже против

Телу — вниз

\* \* \*

Кукла ветра кукла книги  
Кукла на семи  
Небесах своих отныне

Повод ветра корка книги  
Кто тебя водил  
В семени и Господине  
Ты о ком пропела — сыне...

Пары нет капризны книги  
Без твоих щедрот  
Снег — насмешник вьёт вериги  
Рифма лижет рот  
У твоей подруги книги

\* \* \*

Сока рассветного горсть  
 Раздели мне на слове  
 Мягче котёнком мотаться  
 По залам обменного быта  
 Гонной тревогой его  
 Пеленая углы и заслоны  
 Биться за прачку за мячик  
 За волны корыта

Верь распустёхе  
 Она не в себе от наряда  
 Феназепам и чахлой манерной вороны  
 Фокусом Малера с лёта пропета наяда  
 Не осмотреть её жалобы не разделить её раны

Утро помягче и платья ребристей  
 Вот и ответь позвонками на выпады кровли  
 С кем поведёшься — ответишь замазкою чисел  
 Шаткому небу а что ещё кроме...

\* \* \*

*Вите Кривулину*

Папа умер у стрекоз  
 У малиновых заноз  
 У мерцающих нахалок  
 Бесконечно летних дам  
 Папа был как спирт упрям  
 Убегая глаза галок  
 Их походки ножевой  
 И оправы дождевой

Стыд поди упал на папу  
 Иль антихрист поднял лапу  
 Нам не велено шептать  
 О его словесном нраве  
 О его слоистой крови  
 Проще ласточке пенять  
 На скамеечке резной  
 Под тюремною сосной



## Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ

*/ Бостон /*

### История моей возлюбленной ИЛИ Винтовая лестница<sup>1</sup> роман

#### Третья часть. Деревня

Я отправился на Ярославский вокзал и взял плацкартный билет до Перми. Поезд катил на северо-восток, а я вспоминал войну, эвакуацию.

Из Молотова (Перми) мы доехали до станции Верещагино, а от туда на подводах — до села Сила. Мне тогда было 5–6–7 лет.

Наконец под вечер, когда красное солнце закатывалось за черный лес, мы выехали на широкую дорогу, которая была вымощена деревянными кругляшами. После грязи и глубоких луж лесной дороги лошадь легко тянула телегу по твердой деревянной мостовой. «Уральский тракт!» — сказал крестьянин, управлявший нашей лошадью. И добавил: «А вот и матушка — река Сила!»

Мы въехали на мост, перекинутый через широкую реку. За мостом от самого берега реки и дальше, дальше почти до гор, поросших лесом, стояли избы. «Вот мы и приехали в эвакуацию, Даник», — сказала мама.

Был вечер. Конец августа. Нас разместили в школе. За окнами стемнело. Мы устроились на полу и заснули. Мне снились лошади.

Мама вернулась под вечер. Она дико устала. Ее боты были облеплены вязкой коричневой глиной. Маме страшно повезло. Под самый конец она решила постучаться без всякой надежды в большую красивую избу, стоящую на окраине села, недалеко от реки. Мама сняла для нас комнату в избе Тереховых.

<sup>1</sup> Окончание. Начало «Крещатик» №№ 56, 57.

В окна класса, где мы провели ночь, хлестал мутный осенний дождь. Я смотрел в окно: когда же придет подвода за нами и нашими вещами? Наконец, я увидел лошадь и телегу. В телеге сидел человек, закутанный в брезентовый плащ. Он привязал лошадь к столбу у крыльца школы, отряхнул плащ и сгреб щепкой глину с сапог. Вошел в школу. Это был хозяин избы, где нам предстояло жить в эвакуации. Его звали Андрей Михеевич. У него были седые редкие волосы и серые печальные глаза. Он был гладко выбрит. Под брезентовым плащом был черный потертый пиджак. Под пиджаком надета серая холщевая рубашка с высоким воротничком, похожая на гимнастерку. Он был обут в сапоги. Мы погрузили вещи и отправились на квартиру в избу Тереховых.

Лошадь, которую Андрей Михеевич окликал время от времени Звездочкой, въехала в широкие и высокие двухстворчатые ворота и остановилась посреди двора. Слева от телеги я увидел избу, сложенную из крупных золотисто-коричневых бревен. Щели между бревнами были законопачены мохом. С правой стороны двора стояли высокие сараи, крыши которых покрывала солома. Потом я узнаю, что это конюшня, хлев и другие пристройки с сеновалом. В конюшне и хлеву жили лошадь, корова, свиньи, овцы, куры и гуси. На задах двора я увидел коричневый пустырь огорода. Между огородом и пристройками торчала будка. Это была уборная. В левом углу огорода под рябиной, полыхающей красно-оранжевыми ягодами, стояла избушка. Это была баня.

На крыльцо выбежал подросток. Он был одет в холщевую рубашку, подпоясанную ремешком, и штаны, украшенные заплатами. На ногах у него были продолговатые корзинки, обшитые тряпками. Корзинки держались на ногах при помощи веревок. Потом я узнал, что это лапти. Их плетут из лыка, которое дерут с внутреннего слоя коры. Бывают зимние, утепленные лапти и летние — легкие лапти. Мне предстояло проходить в лаптях три года. Да и маме тоже.

«Меня зовут Пашка, — сказал мне подросток. — А тебя?»

«А меня Даник, — ответил я. — А это моя мама, Стелла Владимировна».

«Мудрено! — изумился Пашка. — Вы кто будете?»

«Ленинградцы! — с гордостью и даже с хвастовством ответил я».

«А люди бают — выковырянные!»

Не вдруг я осознал, что баять — значит — говорить. А выковырянные — искаженное слово эвакуированные.

Пашка стал моим старшим товарищем и учителем деревенской жизни.

Мама, между тем, начала переносить вещи в избу. Ей помогала пожилая тетенька, Елена Матвеевна. Мне Елена Матвеевна велела называть ее бабой Леной. Она была хозяйкой избы. Андрей Михеевич, которого я стал называть дедом Андреем, был ее мужем. Пашка был их сыном. Через некоторое время хозяева начали называть маму: Владимировной, а она их: Матвеевной и Михеичем.

У бабы Лены было доброе круглое лицо и коричневые глаза, окруженные морщинками. Она была похожа на мою бабушку Фрейду. У бабы Лены были толстые бока, длинная черная юбка, лапти и темный платок.

Пашка повел меня в избу. Мы поднялись по ступенькам на высокое крыльцо. Деревянные столбики крыльца были украшены резьбой. Тяжелая дверь распахивалась в сени. Там было холодно. Тусклый свет из оконца едва освещал их. Мы прошли в кухню. Она была занята громадной белой печкой, похожей на крепость внутри избы. Печка была сложена из кирпичей. Она стояла боком к двери. С этого бока почти до верха были видны пазы. Словно сверху донизу было вынуто несколько кирпичей. Это были ступеньки. По ним забираются на печку. Там тепло. Можно было спать. Можно было спать и на полатях. Это деревянный настил между печкой и стеной кухни, прилегающей к сеням.

«А ты проходи, Даник, в горницу», — баба Лена пригласила меня в следующую комнату. В левом углу горницы висела картина в золотой рамке. На картине был нарисован старик. У него было продолговатое темное лицо и длинная борода. Старик был одет в халат, сшитый из золоченой ткани. Старик в левой руке держал палку. Правая рука была обращена ко мне. Пальцы на этой руке были сложены щепотью. Под картиной на цепочке висела горелка с колеблющимся фитильком. Я видел такие у мамы в химической лаборатории. Ну, не совсем такие. Баба Лена подошла к картине и быстро прикоснулась к своему лбу, правому плечу и левому плечу пальцами правой руки, тоже сложеными щепотью. Прикасалась щепотью и кланялась одновременно. Я тарасился на нее изумленно.

«Это икона Николы Угодника, — баба Лена показала на картину. — А это лампада», — она показала на то, что я принял за спиртовку.

Лампада пред ликом Николы Угодника горела всегда. Баба Лена доливала в нее лампадное масло. Вообще, Никола Угодник в избе был, как живой человек. Потом я часто видел, как баба Лена разговаривала с иконой. Андрей Михеевич никогда не крестился. Он говорил, что в Бога не верит. Он был атеист. Директор конторы «Заготзерно».

В горнице у стены, в которой два окна, стояла длинная лавка. К ней был приставлен стол. И другая лавка. По другую сторону стола. Окна глядели на улицу. Нам отвели маленькую заднюю комнату. В горнице висела занавеска, за которой стояла широкая кровать. На спинках кровати были медные шишки. Цветастые подушки поднимались пирамидой к потолку. Это была кровать бабы Лены и деда Андрея.

Как трудно отделить мои тогдашние, шестидесятилетней давности впечатления, от нынешних воспоминаний о тех впечатлениях!

Первая осень и первая зима эвакуации были особенно тяжелыми. У нас не было хлеба, не было картошки, не было мяса. Мама не работала. Продуктовой карточки тоже не было. Были какие-то вещи, на которые мама выменивала у соседей-крестьян самое необходи-

мое. Или по воскресеньям мы добирались с мамой до базарной площади. Там иногда можно было выменять или купить (из папиной военной части нам каждый месяц приходил денежный аттестат) по невероятно высокой цене кое-что из продуктов. Но добираться до базарной площади можно было, только начиная с конца октября, когда вязкую засасывающую сапоги глину схватывали морозы. Помогали нам понемногу хозяева. Подкармливали. Чаще меня. Мама из самолюбия отказывалась.

В конце октября выпал снег. Началась северная зима. Снег бывал такой высокий, что порой выйти через дверь не было никакой возможности. А бабе Лене надо было доить корову и задавать корм скотине рано утром. Будили Пашку. Он чаще всего спал на печке или на полатях. Пашка вылезал на крышу через трубу, прыгивал в сугроб и отгребал снег от двери.

Всю зиму Пашка бегал в школу на лыжах. Это было благом по сравнению с походами по улицам, заполоненным глинистой осенне-весенней грязью.

Вскоре я тоже приунылся спать на полатях. Во всю длину и ширину деревянного настила был насыпан лук. Желто-коричневые луковицы были теплыми и упругими. Сверху набрасывали овчины. А на них лежали мы: Пашка, я и кот Васька. Если избу так выдувало за ночь, что на полатях становилось холодно, мы перебирались на печку. Гладкие, отполированные за многие годы камни хранили тепло. Печка с полатями была нашим клубом, нашим зрительным залом. Мы болтали с Пашкой обо всем на свете. Он готовил меня рассказами к летней деревенской жизни. Я вспоминал, как мог, о родном Ленинграде, о папе, о нашем дворе.

На полатях было полутемно. Под овчинами шуршали луковицы. Их шорох смешивался с шорохом тараканов, которых на полатях были несметные полчища. Темно-коричневые и любопытные, они вылезали отовсюду и тарасились на меня, поводя длинными усами. Скоро я к ним привык и не обращал на тараканов ни малейшего внимания. По утрам надо было всего лишь выйти в сени и стряхнуть тараканов с одежды.

Кот Васька был огромный черно-белый лентий, проводивший большую часть зимы на печке. Он начал исчезать по ночам в марте, возвращаясь к утру через трубу, весь измазанный сажей. Иногда Васька приходил домой с исцарапанной мордой или порванным ухом. Однако Тереховы ценили Ваську за неукротимую храбрость. Он ловил хомяков и крыс на конюшне или в хлеву и притаскивал на крыльцо — показать хозяевам.

Мы валяемся на полатях. Пашка, я и кот Васька. Мы с Пашкой режемся в карты. Васька дремлет. Внизу у кухонного стола сидят моя мама, баба Лена и дед Андрей. На столе чуть светит керосиновая лампа. Фитилек так закручен, что свет лампы с трудом освеща-

ет лица. Вечер. По репродуктору передают последние известия. Потом слышна песня. Баба Лена плачет, когда по радио играют песни. У бабы Лены и деда Андрея три сына на фронте: Николай, Александр и Иван.

В деревнях неподалеку от нашего села Сила живут пермяки. Один из сыновей женат на пермячке Ольге.

Часто керосина для лампы нет. Тогда ставят треножник (светец), в центре которого втыкают сухую длинную сосновую лучину. Она горит, потрескивая. Раскаленные угольки осыпаются в таз с водой, прощально шипя.

Иногда мама гадает на картах.

Иногда поет. У мамы хороший голос. Она помнит много песен. Когда мама поет, баба Лена не плачет, как от репродуктора.

Если не надо стирать, варить еду или убираться в комнате, мама читает. Больше всего мама любит Пушкина и Есенина.

Мама пишет стихи. Посылает их на фронт папе. В последнем письме от папы была вложена вырезка из газеты со стихами Симоннова «Жди меня и я вернусь...» Мама много раз читает вслух эти стихи. Мне они нравятся. Но я не понимаю, что значит «Жди меня».

Митя из соседней избы — охотник. Он внук бабы Лены и деда Андрея. Ему шестнадцать лет. Он учится в девятом классе. На будущий год Митя окончит десятилетку и поступит в летное училище. На лыжах, с двустовкой и собакой Митя уходит в лес надолго. Да, я забыла про собак. У нас во дворе на цепи живет рыжий лохматый пес Полкан. А у Мити-охотника черная лохматая Жучка. У собак есть будки с полукруглым входом. В будках сено для тепла. В особенно холодные ночи баба Лена впускает Полкана в избу. А Митя — Жучку. Митя удачливый и щедрый охотник. Он часто подстреливает зайцев. Иногда лесных голубей. Часть добычи Митя приносит бабе Лене. Она угощает меня и маму.

Весной Митя подобрал в лесу маленького белого зайчишку. Тот прожил в избе до лета. Скакал, жевал капусту, оставлял лужицы и разбрасывал темные орешки.

По радио передают, что немцы кольцом окружили Ленинград. Началась блокада. Мой папа — на ленинградском фронте.

Мама гадает на картах. Это называется «раскладывать пасьянс». Иногда мама надолго задумывается над картами. Иногда быстро перекидывает их с места на место. Баба Лена просит погадать. Мама гадает на письмо с фронта. И письмо приходит. Понемногу о маминой способности гадать узнают в соседних избах. И в дальних избах. Приходят крестьянки. «Сделай милость, погадай, свет Владимировна. Не откажи, хорошая». Мама раскладывает карты и видит в них: удачно ли отелится корова, опасно ли из-за волков ехать в лес по дрова, отпустит ли ломота в спине или отправиться к доктору в больницу, придет ли желанная весточка с фронта. Крестьянки уходят довольные знанием открывшейся правды. А баба Лена, которая запирает дверь на ночь, приносит из сеней подарки, оставленные для мамы.



Одно только мама отказывается предсказывать: живым ли вернется солдат или пришлют похоронку. Случилось это после того, как мама стала гадать на мужа Антиповны. Ее изба стояла через дорогу от нашей. Мама глянула на пасьянс, вскрикнула, смешала карты и заперлась в нашей комнате. А назавтра почтальонша принесла Антиповне похоронку.

Кончалась наша первая зима в деревне. Да, кончалась по календарю, а не по морозу. Правда, дни прибывали, и солнышко нет-нет пробивалось из-за снежных туч. Пашка притащил мне откуда-то некрашенные березовые лыжи. Я начал бегать по заснеженным полям до ближайшего подлеска и обратно. Весело было скользить по луговой покатои поверхности, закованной в притаявший за день и подмерзший за ночь снежный наст. Вниз до берега реки Силы и дальше, дальше по льду, затаившемуся под глубоким снегом.

Пашка обещал: «Вскроется река, пройдет ледоход, и начнется каждодневная рыбалка!»

Весна пришла в нашу избу однажды ночью. Я проснулся от беготни и хлопанья дверей. Пашки на полатах не было. Я надел валенки и спустился вниз. В это время в избу прибежал Пашка. «Что случилось?» — спросил я у него. «Манька телится!» — крикнул Пашка и убежал опять с ведром горячей воды. Я схватил шапку и вылетел на крыльцо. В коровнике горел свет. Я перебежал через двери заглянул внутрь. Корова Манька лежала на соломе и протяжно мычала. Баба Лена гладила ее и приговаривала: «Потерпи, Манька, потерпи, кормилица наша, недолго осталось, родимая!» Хвост у Маньки был задран. Вдруг из-под хвоста коровы начала появляться маленькая коричневая голова теленочка. Дед Андрей стоял рядом. Вот уже весь теленок лежал на руках деда Андрея. Баба Лена отсекла что-то кухонным ножом и перевязала суровой ниткой. Я увидел кровь, отпрянул и побежал на крыльцо. Ворота коровника распахнулись, и дед Андрей вынес теленка во двор и направил к крыльцу. Я отворил дверь в избу. Дед Андрей осторожно опустил теленочка на кухонный пол. И маленькое коричневое создание уперлось копытцами в пол и поднялось на свои тонкие, гнутые, как ветки, ножки. Вскоре пришли баба Лена и Пашка. Баба Лена бегала из кухни от теленка в горницу, к иконе Николы Угодника, крестилась и повторяла: «Слава Тебе Господи, Иисусе Христе! Манька-от наша голубушка, какого бычка принесла! Счастье-от какое!» На кухне постлали солому, теленок жил в избе неделю или две, пока не окреп и не спали морозы.

Приближалась Масленица. Дед Андрей с Митей и Пашкой наладили качели во дворе. Я не замечал, наверно, по малости лет, все эти перемены в нашем быте. Я принимал их, как есть. Так принимает всякий ребенок каждый новый день жизни. В первый раз увидел железную дорогу и поезд, самолет в небе, слона в цирке, цветные черемухи. Так естественно я принимал уклад жизни в избе Тереховых. Скажем, на кухне всегда стояла миска с вареной свеклой. Там же была положена деревянная ложка. Вообще, ели деревянными ложками. Вилки и столовых ножей не помню. Было несколько кухон-

ных ножей. Я брал, когда хотел перекусить, сочный красно-бурый кусок свеклы, ел и запивал сладким красным отваром. Также, когда была потребность, очищал луковицу и со страстью и слезами откусывал, жевал и проглатывал сочную горькую сладость.

Лук шел на многие нужды и кроме еды. Раза два за зиму мы все тяжело угорали. Оберегая тепло, хозяйка, бывало, рано закрывала вьюшки. Угар шел из печи в избу. Утром с трудом вставали. Болела голова. Тошнило. Баба Лена отваривала лук. Куски вареных луковиц мы засовывали в уши. Через час или два одурь проходила.

Еще одна картинка, поразившая меня. Я вхожу в горницу. Там еще две бабы из соседних изб. Прохоровна и Никифоровна. Я знал их. Они часто забегали к бабе Лене. Да и я иногда оказывался в их избах. Пашка брал поиграть с соседскими ребятами. Или баба Лена водила, не помню зачем. Я вхожу в горницу и вижу: баба Лена сидит на лавке около окна и прядет шерсть. У бабы Лены была для этого прялка. Вроде длинной спинки стула на палке и с подножкой. К прялке был привязан большой клок шерсти. Ногой баба Лена придерживала прялку, прижимала ее к полу.левой рукой сучила шерсть, превращая ее в нить, а правой рукой крутила на полу веретено (вроде большого волчка) и наматывала на него пряжу. При этом баба Лена пела. Пела и Прохоровна. Третья соседка Никифоровна без платка сидела на лавке у другого окна, положив голову на колени Прохоровны, которая перебирала ей волосы левой рукой. В правой у нее был кухонный нож. Она время от времени прижимала что-то, сидевшее в волосах Никифоровны, к ножу и щелкала. Мне стало противно и страшно. Я побежал в нашу комнату к маме. Мама писала письмо. «Мама, что там делает Прохоровна страшное? У нее и нож в руках!» «Сынуля, это они вшей ищут». «Что это за напасть такая вши и зачем их надо искать?» «Вши и вправду напасть. Они нападают на людей и кусаются. Это неприятно. Спать мешают. Покоя не дают. Но самое страшное, что вши переносят болезни, от которых люди умирают. Твоя бабушка Ева, моя мама, умерла от тифа, который переносят вши». «И что же, мамуля, вшей можно убивать только ножом?» «О, нет, Даник! Конечно, можно и по-другому. Химическими веществами. Например, керосином. Но керосин убивает только насекомых — вшей. Их яйца — гниды приходится уничтожать вручную. А потом смывать мылом и горячей водой».

Это был четверг накануне Масленицы. По четвергам Тереховы топили баню. Сначала мылись баба Лена с дедом Андреем. Потом Ольга. Потом Пашка с Митей. Потом мама мыла меня.

Время было тяжелое. Каждый вечер наши хозяева и мама сидели около репродуктора, слушая последние известия. Вести по радио были безрадостные. Хотя немцев остановили под Москвой, они подошли к самой Волге, к Сталинграду, захватили половину России, Белоруссию, Украину, Крым и часть Кавказа. От папы из госпиталя пришло письмо. Он был ранен в плечо осколком противотанковой мины. От Тереховых-сыновей редко-редко приходили весточки.

И всё же в нашей избе праздновали Масленицу. Баба Лена напекла блинов. Пригласила к столу маму и меня. Я никогда не едал таких вкусных и красивых блинов. Может быть, они показались особенными оттого, что и хлеба доставалось не всласть. В горнице посредине стола красовалась большая тарелка с высокой горкой широченных золотисто-белых блинов. Баба Лена пекла на кухне последние блины, ловко смазывая сковородку заячьей лапкой, смоченной расплавленным маслом. Потом уселись за стол. Надо было брать блин, поливать его медом и маслом, складывать вчетверо и откусывать. Запивали блины молоком с сушеной малиной. Корова Манька снова начала доитья как раз перед Масленицей.

Теперь, когда со времени эвакуации прошло больше полувека, я задумываюсь над разительными переменами, произошедшими с моей мамой в годы войны. Обо мне говорить нечего. Я впитывал новую жизнь, как новорожденный — молоко. От любой матери он будет пить и развиваться будет на любом молоке. А вот мама — как она? Мама оцепенела от ежеминутного страха за папу, за своего отца, за братьев, сестер, племянников. Все внешние события, не связанные с ее главной болью и думой, проходили мимо. Мир счастья был разрушен войной. Мы оказались в новом мире эвакуационного быта. Мама воспринимала этот новый мир безропотно и отрешенно. Только этим могу я объяснить мамино безразличие к моему по-детски активному участию в деревенских православных праздниках. Если что-то еврейское и было заложено во мне бабушкой и дедушкой, все развеялось уральскими вьюгами, все растворилось в потоке новых слов, предметов, обычаев.

Да, я начисто забыл, кто я по рождению. Вот что случилось со мной примерно через год после приезда в Силу. Я к тому времени ощущал себя вполне своим среди уральских ребятишек, синеглазых и скуластых от пермячко-русской крови, драчливых от суровости климата и охотничьего задора, живущего во всякой уральской избе. До сих пор меня обжигает стыд за предательский поступок. В наше село приехала семья эвакуированных. Приехали они не сразу со всеми, а позднее. Я себя считал вполне местным, силинским. Вернее, не считал — просто и не думал о том, кто я. Ленинградская довоенная жизнь казалась цветным сном, июльским утром, чем-то фантастически-случайным. В Силу приехали новые эвакуированные. В этой еврейской семье был мальчик. Черненький, смуглый средиземноморского типа еврейский мальчик. Я встретил мальчика после уроков за школой. Вокруг были ребятишки — местные и эвакуированные. Но и эти эвакуированные тоже прижились на Урале и подружился с местными, проведя с ними два года среди полей, огородов, на рыбалке и в лесу. «Эй ты, выковырянный!» — пристал я к приезжему мальчику. Тот молчал, изумленно глядя на меня и не понимая, чего я от него хочу. «Эй, выковырянный, давай стыкнемся», — не унимался я, ошарашенный безразличием мальчика к моим приставаниям. Я продолжал: «Чо зенки-от свои деготные пляшишь?» «А ты на себя посмотри. Ты сам-то какой!» — вдруг тихо ответил мне мальчик. Я поглядел на него и впервые, словно бы в зеркале, увидел себя глазами окружающих меня ребят, местных и эвакуированных.

Подошла Пасха. Не еврейская с мацей, с воспоминаниями о бегстве из египетского рабства и сорокалетних скитаниях по пескам в поисках прародины — земли Ханаанской. Нет. Эту Пасху мы не праздновали. Никто мне о ней не говорил. Да, наверно, мама решила не тревожить мое детское воображение напоминанием о нашем еврействе. Вернее всего, я забыл о своем еврействе. Это правда, что забыл. Так что вкусный пасхальный кулич, крашенные луковой шелухой яйца, которые надо было катать с деревянной горочки, и прочие сладости, обольщавшие вечно полуголодного мальчика, воспринимались мной как настоящий праздник. Мама не решалась лишить меня этого праздника. Правда, Елена Матвеевна Терехова была в избе единственной верующей. Только она в их семье молилась и крестилась на иконы. Так что Масленица, Пасха, а потом Троица, Николин день и Рождество в нашей избе были не столько религиозными, сколько народными праздниками.

В середине мая зацвела черемуха. Белые лепестки засыпали палисадник. Начался ледоход. Грохот шел с реки. Похолодало. «Время льдом запастись», — решил дед Андрей. Звездочку запрятали в телегу. Дед Андрей, Пашка и Митя отправились на реку. Полная телега льда была привезена с реки. Лед перенесли в погреб. Настелили на лед солому. На лето был готов ледник. Там хранили молоко, сметану, творог, масло, яйца. Ледником пользовались до октября, когда в сенях становилось так холодно, что молоко замерзало в мисках, а пельмени в мешках. Да и лед к тому времени кончался.

Однажды в июне Тереховы отправились на кладбище, захватив еду и питье. Баба Лена, по обыкновению, взяла меня с собой. Праздновали Троицу. Жители Силы (женщины, старики, дети) шли на кладбище поминать покойных. Между могилами еще лежал темный пустотельный снег. Баба Лена постелила холстину на могилу своей матери, осененную православным деревянным крестом с двумя перекладинами. Одна — поперечная, другая — прилаженная наискосок. Такие кресты были вокруг. Из плетеной корзины достали поминальное угощение: крутые яйца, хлеб, соленые грибы, сало, картошку, кутью. Главной едой была кутья: пшеничные зерна, сваренные в меду. Посредине этого диковинного стола возвышался березовый туесок с брагой. Солнце припекало. Хотелось пить. Мы все по очереди отхлебывали вкусную брагу, щедро приправленную сушеной малиной, которая шла в этих местах, наряду с медом, вместо сахара. Малина заготавливалась в августе ведрами и сушилась в жаркие дни на крыше, а в дождливые — на противнях в русской печи. Все мы ели, разбрасывая крашенные крутые яйца и кутью вокруг могилы — птицам. Баба Лена и дед Андрей вспоминали разные случаи из жизни своих родителей или тех братьев и сестер, которые померли к тому времени. Я на этой Троице впервые услышал об ангелах. У ангелов, как у птиц, были крылья. Ангелы незримо летали вокруг могил, донося наши разговоры до тех, кого мы поминали. Птицы были сродни ангелам. Я тоже запивал угощение сладкой брагой. Никто меня не останавливал, пока я тяжело не захмелел. Мама была сильно расстроена и, может быть, впервые после прощания с папой очнулась от глубокой меланхолии.

На южной стороне нашего села громоздились высоченные холмы. За холмами начинался дремучий лес. Склоны холмов поросли маинником. А ниже между селом и лесом лежала долина. Снег сошел с холмов. Долина зазеленела разнотравьем. Нас научили добрые люди, что у подножья холмов и ниже в долине растут хлебные растения — пестики. Появляются пестики только в начале июня и скоро отходят, становятся несъедобными. Мы идем через все село. Глина подсохла. Солнце припекает. Идти в летних лаптях легко, ходко, весело. У мамы корзинка. У меня лукошко. Мы проходим мимо крайних изб. Впереди на холмах стоят высоченные сосны. Мы идем зеленой долиной в сторону холмов. В ложбинках таятся полоски усталого ноздреватого снега. Где же они, эти волшебные пестики? Я читал в какой-то книге о том, что в далеких южных странах растут хлебные деревья. Но чтобы прямо тут, на окраине нашего села?! А вдруг над нами пошутили? Или мы не узнаем в траве эти необыкновенные растения? Мама видит мое недоверчивое лицо. «Даник, сынуля, люди никогда не врут понапрасну. А здесь — какой умысел врать?» И словно в подтверждение маминых слов — вот они — пестики! Как игрушечные оловянные солдатики в шапках с длинными перьями, стоит целое войско зеленых стебельков с вытянутыми сизыми верхушками. Много лет спустя в Америке я увидел спаржу и вспомнил давнишние уральские пестики. Мы набираем полную корзинку и лукошко пестиков. Кажется, их можно было есть и сырыми.

Самым главным делом нашего первого лета в эвакуации был огород. Мама поняла, что продержаться вторую зиму без собственной картошки и других овощей дело немислимое. Да и старики-хозяйева понимали, что маме с ее независимым характером легче самой завести огород, чем одалживаться. Дед Андрей отвел нам чуть не треть своего огорода, который начинался сразу от задней стены избы. Он даже вспахал наш огород вместе со своим. Пахал он на Звездочке, запряженной в плуг. Дед Андрей шел с плугом за лошадью. Пласты земли дыбились и закручивались из-под лезвия плуга — лемеха. А мы с Пашкой бегали за плугом по борозде и собирали упругих красновато-лиловых червей для рыбалки. Вспахав огород, дед Андрей разровнял землю бороной, множество зубьев которой дробили крупные комья. Баба Лена дала нам проросшие клубни картошки, которые мама разрежала на части по числу ростков (глазков). Так было намного экономнее, чем сажать целый клубень. Посадили мы с мамой капусту и помидоры из хозяйской рассады. А огурцы, свекла, морковь, укроп, репа и калюжка (брюква) посажены были семенами, которые день или два хранились на тарелке в мокрой тряпочке.

Сейчас невозможно поверить в то, что моя мама — дочь набожного еврея — пошла и на другой шаг, чтобы продержаться в нашу вторую суровую уральскую зиму. Наши добрые хозяева настоятельно посоветовали маме завести поросенка. Благо у них до августа-сентября оставались излишки проросшей и негодной в пищу мелкой картошки. «Ты, Владимировна, не бойся! Ты начинай жить по деревенскому. А там одно за другим потянется. Глядишь, с мясцом да сальцом зиму одолеешь». И вот наш собственный поросенок Ньюф хрюкает в сарайчике и, чавкая, нетерпеливо лопает вареную и тол-

ченую с крапивой и лебедой картошку. А там и два гуся, переваливаясь, шагают под моей неусыпной заботой на луг к речке и обратно. У нас с мамой большое хозяйство: огород, поросенок, гуси. Мы стали совсем деревенскими.

Но самым большим деревенским счастьем оказалась для меня рыбалка. Черви у нас были набраны в ведро с землей, когда дед Андрей вспахивал огород. У Пашки снасть была готова: удочка, крючки, леска и поплавки. Мне надо было налаживать удочку с самого начала. Пашка сказал: «Надо тебе, Данька, вырезать в березняке подходящее удилище». До березняка было рукой подать. Наша изба стояла на окраине села. Через луг мы спустились к реке. По-над бережком вилась тропка. Уходила в лес. Пашка несколько раз останавливался около молодых березок. Примерял их к моему росту. Никак не мог выбрать то, что годилось бы именно для меня. Наконец, выбрал. Срезал. Зачистил кору. Удилище оказалось длинным, легким и гибким. «Теперь главная наша забота — леска для твоей удочки», — сказал Пашка. «Где же взять эту леску, Пашка?» — спросил я у своего старшего друга и учителя деревенской жизни. «А ты догадайся! Книжечек, небось, дюжины две прочитал. Вот подумай и скажи, у кого мы попросим леску?» «У деда Андрея?» «Нет!» «У Мити?» «Нет!» «В Сельпо купим?» «Если бы!» «Тогда я не знаю, Пашка, ей-богу, не знаю! Скажи где, Пашка? Ну скажи! Просят тебя по-человечески», — начал я каниючить. «Эх ты! Ни в жизнь не догадаешься!» «Ни в жизнь, Пашка», — согласился я. «У Звездочки!» — торжествует Пашка. «Как это?» — поразился я. Звездочка — лошадь, на которой дед Андрей разъезжает по делам «Заготзерна», привязана к столбу крыльца. Мордой она уткнулась в мешок, который висит на ее шее. В мешке сено. Звездочка жует сено, помахивая от удовольствия хвостом, похожим на огромную кисть для художника-великана. Хвост состоит из сотен длинных сивых волос. Пашка треплет Звездочку за хвост. «Вот она, твоя леска. Только надо Звездочку как следует попросить. Ты, Данька, стой на крыльце. Стой да учись, пока я жив!» — шутит-командует мой старший друг. Он гладит шею лошади. Он шепчет ей ласковые слова. Звездочка покачивает головой, как бы показывая, что разрешает. Пашка подходит к ней сбоку. «С заду нельзя! — поясняет Пашка. — Зашибет ненароком». Он осторожно, по одному, выдергивает крепкие, как проволока, волосины из хвоста лошади. Мы сидим на крыльце и свиваем леску из упругих лошадиных волос. По три волосины на одну нить. К вечеру моя удочка готова. С удочками, с червями, с ведром для улова, с двумя ломтями хлеба мы спускаемся к реке. Пашке везет. То щуренок, то окушок, то жирный пескарь дрыгаются на его крючке. Пашка снимает пескаря с крючка, разрезает его толстенькую спинку вдоль хребта и посыпает солью, прихваченной из дома. «Кусай!» — угощает меня Пашка. Я откусываю солоноватую рыбью спинку: «Вкуснота, Пашка!» Наконец, и мне начинает везти. Я ухватываю момент, когда поплавок чуть подпрыгнет и нырнет. Я вытаскиваю окушка, а потом пескаря. И снова — окушка. «Молодец, Данька! Совсем уральским стал!» — хвалит Пашка.

Это была мальчишечья рыбака. А вот настоящую рыбную ловлю я увидал в конце лета. В тот день с утра дед Андрей проверял бредень. Бредень — это очень длинная сеть, с каждого конца которой привязана палка. Бредень похож на гамак, удлинённый во много раз. К середине бредня пришит мешок. Под вечер пришел Митя. Дед Андрей с Митей потащили бредень к реке. Мы с Пашкой увязались за ними. На берегу бредень разматывали. Митя скинул рубаху и портки, взял палку с одним из концов бредня и поплыл на другой берег. Там, где не так глубоко, а можно было встать на дно, Митя остановился. С этого момента оба рыбака — дед Андрей и Митя стали брести по колёно в воде, каждый вдоль своего берега. Пройдя метров сто, они остановились, и Митя поплыл обратно, волоча свой конец бредня. Сеть вытащили на берег. В мешке было множество рыбин и раков. Раки были вовсе не красные, как я думал до этого, а темно-серые. Много раков запуталось и в ячеях бредня. Раков накидали в ведро, а дома сварили в соленой воде. Вот когда они стали красными. Я видел несколько раз ловлю рыбы бреднем. Однажды что-то сильное ударило в сеть бредня. Это была огромная щука, метра в полтора. Темная, в пятнах стального оттенка. Она запуталась в сети, но была опасна острыми зубами. Запутанную щуку дед Андрей переломил, как жердину, через колёно. Тогда она утихла. Баба Лена запекла щуку целиком. Пирог был во весь стол.

Огород требовал каждодневного ухода: поливать из лейки, выпалывать сорняки, окучивать картошку, удобрять помидоры и огурцы. Лейка с водой была тяжелая. В жаркие дни маме приходилось таскать из колодца на огород сразу по два ведра на коромысле. Да и набирать воду из колодца было делом нелегким даже для деревенских баб. Мама никогда не жаловалась. Когда я прижимался к ней, жалея, мама целовала меня, успокаивая: «Это совсем не так уж трудно, Даник. Надо привыкнуть. Я почти привыкла. Скоро будет совсем легко. Зато как заживем со своей картошечкой да капусткой!» «С помидорчиками! С огурчиками! Моркошкой! Капусткой!» — подхватывал я, и мы начинали смеяться. Удобрять помидоры, огурцы и капусту было не то чтобы тяжело, но поначалу совсем непривычно и даже противно. Что было делать! В уральской глинистой земле без навоза или другого подобного удобрения кроме картошки да моркошки, да свеклы ничего не росло. Хорошо хоть удобрялся огород всего один-два раза в лето. Перед тем, как зацветали огурцы-помидоры. Удобрляли тем, что отстаивалось за год в выгребной яме уборной, которая была во дворе. Хозяйева насыпали торф в выгребную яму. Дед Андрей черпал эту вонючую жижу ведром, приделанным к длинной палке. Баба Лена, Пашка, мама и я со своими ведрами (у меня было ведерко) таскали удобрение на грядки. К вечеру затопили баню с пахучими свежими березовыми вениками. Извещено было много воды на мытье и стирку, а все казалось, что вонючий дух не улетучится ни с тел, ни с одежд.

Пашка был озорник и охальник. Озорник, потому что научил меня перелезать через забор в соседский огороде срывать листья табака. Я отдавал листья Пашке. Он сушил их тайком на крыше бани и тайком же курил свернутые листья махорки. Я не курил. Я закашли-

вался. Пашка научил меня многим озорствам. Например, кататься верхом на спине нашего поросенка Ньюфа, когда он подрост. Пашка был единственным сыном у бабы Лены, которого по малолетству не послали на фронт. Она ему многое прощала. Дед Андрей не позволил бы, да он многого не знал, вечно разъезжая по району по делам «Заготзерна». Например, Пашка мог влететь в избу, схватить из миски соленый огурец и, тряся этим огурцом, произнести: «Едрена мать! — сказала Королева, увидев хер персидского Царя!» Мама, если была поблизости, делала вид, что не заметила. Баба Лена восхищенно восклицала: «Ах ты, охальник!» А я, пораженный не столько смыслом сказанного (из которого следовала возникшая романтическая связь между некоей Королевой и грозным персидским Царем), сколько энергичным ритмом и ясным звуком произнесенного, стоя с широко раскрытыми глазами, размышляя над загадочным смыслом слов *Едрена мать* и *хер*. Пашка мне вскоре смысл сказанного разъяснил без всяких аистов и капустных листочков. Многого я все равно не понимал, но Пашка упорно учил меня основам жизни, которые были вполне естественными для деревенских ребятешек. Например, петух напрыгивал на вкочущую отчаянно курицу. Пашка замечал: «Топчет петух курицу, она и орет от радости!». Или показывал мне на живую толстую палку с глянцевым набалдашником, выросшую из живота жеребца. Или в августе сманил меня пойти рано утром за пастухом, выгонявшим на пастбище коровье стадо. Сманил и показал, как бык оседлал нашу корову Маньку. «Бык корову тык. К весне наша Манька теленка принесет», — пояснил Пашка. Один из последних этапов моего натурального образования был связан с приездом на побывку дочери Тереховых — Райки. Это произошло осенью или зимой. Райка работала на фабрике в городе Молотове (Перми). Она была рыжая, языкастая и развязная девка. Нагулявшись по селу, Райка лезла на печку подремать. Этого момента Пашка и дожидался. Он манил меня и велел смотреть снизу. Видал?» — вопрошал Пашка. — «Угу».

Бывало, что никого в нашей избе не оставалось с утра. Все шли на работы в колхоз. Баба Лена, Пашка, мама. Тогда мама брала меня с собой. Помню поле, где растет лен. Цветы у льна голубые-голубые, как мамины глаза. Мама выдергивает сорные травы. Я помогаю маме. Мы вместе вырабатываем трудодни. А вот другое поле. Это рожь. Поле спелой ржи в августе. Мама жнет рожь серпом. Она ухватывает сколько может стеблей, на которых раскачиваются усатые темно-желтые колосья. Мама крепко держит стебли правой рукой. В левой руке у мамы серп — острый полукруглый нож с деревянной рукояткой. Как на гербе. Мама отчасти левша. Пишет правой, а делает тяжелые работы левой рукой. Мама подрезает стебли и складывает, пока не наберется целый сноп. Как только сноп набирается, мама крепко-накрепко перевязывает его стеблями ржи, как веревкой, и ставит один сноп к другому. Это называется вязать снопы. Они стоят, подсохнут. Потом их увезут молотить.

Двор около амбара чисто выметен и освещен фонарем. Вокруг темно. С реки тянет холодным ветерком. Поздний вечер августа. Молотьба. Почему надо было молотить ночью? На выметенной части



двора, да еще, кажется, на постеленном сверху брезенте лежат снопы ржи. Тут немного наших заработанных мамой на трудодни снопов тоже. Дед Андрей молотит рожь. Он молотит рожь цепом. Цеп — это тяжелая короткая чугунная цепь, прибитая к толстой рукоятке. Как плетка. Вместо ремня — короткая цепь. Дед Андрей и в самом деле молотит — часто-часто бьет цепом по колосьям, из которых высыпаются зерна. Время от времени дед Андрей останавливается. Баба Лена или мама по очереди наклоняются, берут полной горстью зерна, которые еще смешаны с шелухой колосьев, и подбрасывают на ветер. Веют зерно. Отделяют его от шелухи и острых колких чешуек колоса. Очищают зерна от ости.

От папы пришло письмо. В письме папина фотография. Папа на этой фотографии снят в морской форме. На черном морском кителе капитанские нашивки. И фуражка тоже военно-морская с кокардой-крабом. В письме папа написал, что его перевели служить на Балтийский флот. Он теперь командует дивизионом торпедных катеров. Мама всем показывает папину фотографию. Мы с мамой очень гордимся нашим папой.

А в это время в один из дней, когда лето приблизилось к своему концу, пришла похоронка на сына Тереховых — Александра. Похоронка — это письмо из штаба военной части, в котором написано, что такой-то солдат или командир убит на войне. Баба Лена сидела целыми днями в черном платке под иконой Николы Угодника и плакала. Все в нашей избе притихло и потемнело. Даже Пашка бросил озорничать. Дед Андрей, когда приезжал домой, сидел на крыльце и курил до поздней ночи.

«Как там наш папка на море?» — спрашивал я маму. А сам думал и думал об этой страшной похоронке. «Наш папка самый храбрый, самый сильный и самый везучий, сынуля! Он финскую войну прошел. И эту пройдет. Знаешь, как его немцы боятся?» «Как? Скажи, мам!» «О, все фашистские подлодки уматывают в свою Германию, когда папкины катера появляются на горизонте. Послушай, что в газете написано». «Давай, мам, читай скорее!» Мама читает из газеты: «Торпедные катера Краснознаменного Балтийского флота потопили вражескую подводную лодку, шедшую по курсу Кенигсберг — Кронштадт». «Может, это папкины катера?» «Наверняка, папкины!» — мама улыбается, подхватывает меня на руки, целует.

Я проснулся, потому что услышал, как мама плачет. «Мам, что с тобой? Мамуля, почему ты плачешь?» «Нет, ничего, Даник. Это я так. Сейчас перестану». Я сплю на широкой лавке, на которую положен сеник — матрац, набитый сеном. Я пытаюсь заснуть. Представляю, как завтра пойду с Пашкой на рыбалку. И снова слышу, что мама не спит, плачет. Я забираюсь на мамину кровать. Прижимаюсь к ней. Успокаиваю, целую мою маму. Мы засыпаем.

У нас важные новости. За мамой пришла от директора начальной школы посылная — сторожика Климовна. По секрету Климовна сообщает, что директор Зоя Васильевна хочет взять маму в школу учительницей немецкого языка и одновременно — пения. Мама надевает нарядное платье. То самое, в котором она ходила в Лесотехническую академию на заседания кафедры. Еще до войны. Мне ве-

лено дожидаться дома. Я капризничаю. Мне ужасно хочется пойти вдоль села с мамой, когда она такая нарядная. Мама направляется к самому директору школы.

У мамы был замечательный музыкальный слух. И память была необыкновенная. Она знала много стихов. Песни со словами и мелодиями звенели в маминой душе, как птичьи голоса. Кроме русских, мама знала множество слов: немецких, литовских, белорусских. Идиш и русский были для мамы главными языками. Я помню, как мама сетовала: в школе нет учебников немецкого языка, нет словарей. Она сочиняла фразы на немецком языке и раздавала школьникам как учебное пособие. Составляла немецко-русские словарики к каждому уроку. В школе не было рояля. Мама разучивала с детьми песни *a cappella*. Мне предстояло идти в школу на следующий год.

Получается, все самое главное из деревенской жизни случилось в первый год. Конечно, нет! Просто, все оседало на сито первого нашего года, и потом трудно было разделить события всех лет эвакуации. Например, когда я начал сам ездить верхом? В шесть или в семь лет? Как я вскарабкался на спину Звездочки? Седла не было. Мальчишки гоняли на лошадях без седел — на мешке, переброшенном через спину.

Обычно коров пригоняли с пастбища часов в шесть вечера. Коровы шли и громко мычали, просили скорей их подоить. Наша корова Манька тоже громко мычала, особенно, когда подходила к воротам нашей избы. Тут баба Лена вертелась, как волчок. Скорее завалила Маньку в коровник, обмывала ей розовые соски, торчавшие из набухшего тяжелого вымени, ставила подойник под Манькин живот и начинала доить. Струя молока была в подойник. Это был маминовый звон. И сладкий пар вился из подойника. Я был наготове со своей кружкой. Баба Лена накрывала марлей мою кружку и наливала парное молоко, которое я выпивал тут же.

Подходила пора копать картошку и убирать прочие овощи. Помидоры налились зеленым соком. Мы собирали помидоры и прятали в темное место, внутрь валенок — дозревать. Огурцы тоже уродились. Мы их срывали и ели все лето, а теперь можно было солить на зиму. Пора капуста еще не подошла. Ее срезали накануне первых заморозков. Но еще до картошки и прочих огородных дел предстояла заготовка лесной малины. А между выкапыванием картошки и срезанием капустных кочнов было время заготовки грибов и засолки их на зиму. Все эти работы повторялись каждый год нашего пребывания в уральском селе. Мама сразу поняла их первостепенную важность для нашего выживания и свято следовала всем советам бабы Лены, которую очень уважала. Кажется, Тереховы тоже уважали и любили мою маму за открытый нрав, честность, участие во всех событиях жизни хозяев нашей избы.

Мама отправлялась за малиной с целой компанией баб. Она и сама выглядела, как деревенская: в ситцевой выцветшей косынке, надвинутой до самых бровей, в длинной черной оборчатой юбке, в летних лаптях, обшитых тряпицами, с коромыслом, ловко перекинутым на полплеча, с ведрами, нацепленными на коромысло. Несколь-

ко раз до рассвета уходила мама на весь день в компании баб из соседних изб и возвращалась под вечер с ведрами, полными темно-красных до лиловости ячеистых пахучих ягод. Мы сушили их на зиму. Это была и сладость к чаю, и целебное средство от простуды. Но вот однажды мама вернулась испуганная, без ведер и коромысла. Она обирала куст малины, так густо увешенный ягодами, что, казалось, конца им не будет. Вдруг мама услышала треск веток и внутреннее урчание на другой стороне куста. Ветки раздвинулись, и огромная коричневая голова медведя появилась перед маминым лицом. Она побросала ведра с коромыслом и припустилась бежать. Ноги сами вынесли ее на дорогу, ведущую к селу.

Наступила осень. Начались затяжные тяжелые дожди. Мама преодолевала непролазную грязь и ходила в школу учить детей немецкому языку и пению. Чаще всего я оставался в избе с бабой Леной. Она пекла хлеб, и я с нетерпением дожидался, когда горячие темно-рыжие ржаные караваи появятся из горнила русской печи. Она варила щи в чугушке, а в другом — обьемистом чугуне — мелкую картошку для свиной. Или пряла. Или ткала холст. И всегда разговаривала со мной. Рассказывала про сыновей. Особенно про убитого сына Александра. Но и про остальных, включая Пашку, которого баба Лена родила, когда ей было за пятьдесят. «Пошла я Ромашку доить — корова была у нас прежде нынешней Маньки. Пришла, подойник подставила, сосцы обмыла и расположилась доить, да как закрутило, как пошло, едва Пашутку-сыночка подхватить успела. Дом-от весь спит. Утро ранехонько. Ну, сама помаленьку и управилась. Ножичком пуповину перерезала да суровой ниткой перевязала...». Я слушал это и пытался вообразить и представить рассказанное в картинах знакомой мне реальности. Ведь удавалось же мне вообразить и представлять картины из книги Жюль Верна «Пятнадцатилетний капитан». Корабль. Испорченный компас. Африканские джунгли. Юный капитан Дик Сэнд. Так соединение слова устного и письменного стало для меня главным источником знания, воображения и наслаждения.

В лесу росло несметное количество рыжиков. Мы ходили в лес вчетвером: баба Лена, Пашка, мама и я. Мне тоже давали плетеную корзинку и ножичек. Рыжики стояли, как человечки в круглых оранжевых шляпах с едва заметными бледными узорами. А умирали рыжики, как солдаты. Подрежешь ножку, и оранжевый сок, похожий на кровь, капает из раны. Соленые рыжики шли вместо мяса всю зиму.

Конечно же, картошка была главной нашей заботой. Мы окучивали нашу картошечку летом. А поближе к началу августа начали подкапывать кусты картошки, отцветшей и красующейся зелеными, похожими на мелкие помидоры, ягодами.

Картофельная ботва пожухла, скукожилась и стала коричневой. Надо было копать картошку. Мы пошли на огород, захватив с собой вилы и мешки. Мама втыкала вилы под куст картошки и вытаскивала картофелины за ботву. Картофелины были прицеплены к корням куста и полузасыпаны гнистой землей. Я отрывал белые клубни от слабых корешков, отряхивал от земли и складывал в мешок. Многие

картофелины отрывались от корней сами еще раньше. Надо было их разрысать в земле. Мы накопили несколько мешков картошки и решили пройтись снова и проверить, не осталась ли часть клубней в земле. И вот тут мама, наверно, от усталости или из-за того, что я сунулся, не предупредив, проткнула вилами насквозь указательный палец моей левой руки. Хлынула кровь. Палец завязали. Повезли меня в сельскую больницу. Сделали укол против столбняка. Рану промыли и наложили повязку с риванолом. Палец долго не заживал, рана гноилась. Мама боялась заражения крови. На этот раз обошлось.

Когда мама очищала капустные кочны от зеленых и негодных к заквашиванию листьев, она показывала мне зеленых, жирных, медлительных гусениц. В ведре с отходами набиралось порядочно зеленых листьев вперемешку с зелеными гусеницами. Они кишели между листьями, продолжая ползать и настойчиво жевать, хотя им оставалось жить совсем немного.

Осень перешла в зиму за одну ночь. Мы проснулись и увидели двор, огород и улицу заваленными снегом. Сразу стало веселее и тревожнее. К ноябрьским праздникам дед Андрей с Митей закололи нашего поросенка, который стал боровом. На зиму была картошка, квашеная капуста, соленые огурцы, соленые грибы, мясо и немного муки. От папы приходили письма и открытки. Однажды пришло письмо от маминой сестры Фани. В конверт была вложена вырезка из армейской газеты с фотографией Фани и статьей. На фотографии была наша Фаня в гимнастерке и с орденом Боевого Красного Знамени. В статье было написано, что сержант войск связи Фаина Коган совершила воинский подвиг. Она несколько часов соединяла голыми руками провод, порванный снарядом. Когда руки зачоченели от мороза, Фаня зажала концы провода в зубах, пока другие связисты не обнаружили ее и не пришли на помощь. Все это произошло под Сталинградом. Каждый день в последних известиях сообщалось о Сталинграде. Баба Лена плакала и молилась Николе Угоднику.

В середине января от папы пришла посылка. Немного запоздавшая к Новому Году, зато пришедшая как раз к моему дню рождения. Мне исполнилось семь лет. В посылке лежала синяя шелковая косынка для мамы. В то время по радио часто передавали песню «Синий платочек». Для мамы — косынка, а для меня — черная военно-морская шинель, сшитая по моему росту, и зимняя черная шапка-ушанка с настоящей золотистой кокардой-крабом. И черный форменный ремень с медной бляхой, на которой красовался якорь. Я надел всю эту красоту и не хотел снимать до самой ночи. Соседи приходили смотреть на меня, какой тут настоящий морячок появился в избе Тереховых. У Мити Терехова был фотоаппарат с *гармошкой*. Он сделал снимок, проявил его, и мы послали фотографию папе на Балтику. Мама была снята в синей косынке, а я в шинели, перепоясанной морским ремнем, и в черной шапке-ушанке с золотистым крабом. Правда, синий цвет косынки вышел черным.

По радио передали, что наши разбили немцев под Сталинградом. Мама и баба Лена плакали. В избе то и дело хлопали двери туда-сюда. Приходили-уходили бабы-соседки. Впервые я услышал, как не только тоскуют по ушедшим на фронт, но и мечтают вслух об их возвращении. До Сталинграда, до февраля 43-го года был полный мрак и уныние. Теперь блеснула надежда.

Свою первую учительницу я не могу припомнить. Зато определенно помню, что мне было безумно скучно в школе. Букварь я давно прочитал. Книжки читал бегло. Я помогал учительнице обучать чтению своих одноклассников. С чистописанием выходило не так гладко. Я знал, как писать слова. Какими буквами. Мне было скучно выводить дурацкие прямые линии и закругления с разными степенями нажима. Знаменитые восемьдесят шестые перья (медные со звездочками) — ломал без всякой жалости. Письмо у меня было беглое и грамотное. Учительница ставила мне четверки, хотя, наверно, я заслуживал двоек по чистописанию.

Наступила зима. Я хорошо бегал на лыжах. Многие добирались до школы по раскатанной лыжне. Так было удобней и быстрее. Я не отставал от сельских ребят. Пашка по-прежнему опекал меня. Мы вместе бегали на лыжах кататься с высоченных гор. Палки мы оставляли внизу, под горой. Считалось недостойным пользоваться палками, скатываясь с горы. Может быть, в этом была особая предосторожность: если упадешь, то не наткнешься на острые палки. Особым шиком считалось скатиться с горы, кончавшейся трамплином. А к тому же, в конце горы, перед самым трамплином стояли мальчишки и подбрасывали палки под мчавшиеся лыжи. Надо было подпрыгнуть и перелететь сначала через палки, а потом над трамплином.

Я потерял чувство страха.

Мама учила сельских ребятшек немецкому языку и пению. Зима летела к Новому Году. В январе 1944 г. по радио передали, что наши войска прорвали немецкую блокаду Ленинграда, дивящуюся три года. Потом был освобожден Таллинн. Дивизион торпедных катеров, которым командовал папа, принимал участие в боях за Кенигсберг. Папа получил орден Отечественной войны. В конце апреля 1944 г. папа прислал нам вызов. Можно было возвращаться домой в Ленинград.

Мой автобус из Перми приближался к селу Сила. Не отпускали воспоминания о войне и эвакуации.

Когда я уезжал из Москвы, был март. Улицы дышали весной. На прощанье я привез Ирочке мимозы. Они светились, как желтые фонарики. Тротуары блестели от растаявшего снега. А в Силе еще была глубокая зима. Автобусная станция располагалась на городской площади. К тому времени, когда меня поселили в маленькой сельской гостиничке, начало смеркаться. Я помнил, что изба Тереховых стояла на Силинской улице. Помнил, что Силинская улица тянулась вдоль реки. Но ведь со времени эвакуации прошло почти сорок лет. Срок невероятный, сравнимый с блужданиями евреев по пустыне. Вдруг подумалось, что все эти годы я блуждал, чтобы вернуться в обетованную землю моего детства — на Урал, в село Силу. Верный ком-

пас — предчувствие! И все-таки, я боялся ошибиться. Боялся, что не найду никого из Тереховых, но отгонял сомнения, верил, почти знал, что приеду и найду.

Я покорился интуиции. Пошел на поиски избы Тереховых, как ходил сотни раз в эвакуации: от городской площади — Сианской улицей — к нашей избе. Очертания изб, изгородей, ворот и приусадебных строений сами вели меня к цели моего путешествия. По правую сторону улицы дома обрывались, а дальше шел спуск к реке. А на левой стороне, я это помнил доподлинно, по нашей улице когда-то стояло еще несколько изб, среди которых Тереховская изба-пятитстенка была предпоследней. Дальше начиналось колхозное поле. Так и оказалось. Я увидел знакомые ворота, избу с крыльчком, огород и баньку в углу усадьбы. Я отворил каитку ворот и шагнул во двор. Рядом с коровником стояла все та же собачья будка. Я так и замер от предчувствия, что из будки выскочит черный лохматый пес Полкан, подбежит ко мне, гремя цепью, и станет ластиться, как бывало в детстве. Однако черный пес, выскочивший из будки, не признавал меня, а злобно лаял. Я едва успел отпрянуть. Дворовый сторож стоял на задних лапах, натянув до предела цепь, чуть ли не тащившую за собой будку. Я метнулся на крыльцо, куда собака не могла дотянуться. Дверь избы отворилась, и на крыльцо шагнул бородатый мужик в косоворотке с распахнутым воротом и валенках. «Вы кто?» — спросил бородатый и начал внимательно всматриваться в мое лицо. «Мне зовут Даниил. Даниил Новосельцевский. Во время войны я жил в этой избе вместе с моей матерью — Стеллой Владимировной». «Так вы будете... ты будешь — Даней, Данькой?» — воскликнул бородатый мужик и бросился меня обнимать. Это был Пашка Терехов, нынче Павел Андреевич Терехов, мой друг и учитель жизни из давних лет эвакуации. Через темные сени мы вошли на кухню, где готовила обед, стоя перед громадной русской печкой, полная женщина лет пятидесяти или немногим больше. Павлу Андреевичу было примерно столько же. Я помнил, что он был старше меня лет на десять. Я разглядел его лицо: глубоко посаженные синие глаза, красноватый (от зимнего солнца и ветра) пигмент кожи, гладко зачесанные редкие седые волосы. «Это моя жена Галина Прокофьевна. Работает бухгалтером на льнокомбинате», — сказал Павел. «Галя», — протянула мне руку жена Павла. «Даниил», — мы познакомились. Она вернулась к плите.

Убегая из Москвы, я знал, что встречу кого-нибудь из Тереховых или тех, кого помнил по годам эвакуации, и потому привез кое-какие подарки, которые оставил до поры в гостинице. Но какой же русский человек, отправляясь даже в возможные гости, не захватит бутылку вина? У меня была с собой черная корреспондентская сумка с широким ремнем, которую я купил когда-то в московском магазине «Лейпциг» перед поездкой на праздник поэзии в Литву, а в сумке — бутылка коньяка «Арагат» и коробка трюфельных конфет. Я выставил бутылку и конфеты на кухонный стол. «Павел Андреич, можно мне походить по избе?» — спросил я, одновременно нащупывая словарь нашего будущего общения. Он не возразил против Павла Анд-

реевича, продолжая обращаться ко мне Даня, Даниил. Врожденным чутьем Пашка понял, что так будет правильнее. А ведь он ничего еще не знал о моей жизни и о цели моего приезда в Силу, хотя как умный и проживший жизнь человек, наверняка, предположил нечто странное в моем неожиданном появлении.

Я обогнул печку и вошел в горницу. В комнате было темно. В углу мерцала лампадка. Павел включил электричество, и я увидел, что лампадка висит, как и прежде, в левом углу, перед иконой святого Николая Угодника. «Помнишь, Даня, мою матушку?» «Ну, конечно, Павел Андреевич, ведь она со мной столько времени проводила! И мама вспоминала Елену Матвеевну добрым словом». «Знаешь, Даня, давай звать друг друга, как в детстве: Даня, ну, в крайнем случае, Даниил. А ты меня — Паша, Павел. Какой для тебя я Павел Андреевич!» Пожалуй, Павел не лукавил. Он улыбнулся и обнял меня. Мы обошли горницу. За окнами стемнело. Через дорогу в избе напротив погас электрический свет, и осталось голубое свечение телевизора. Мне хотелось пойти дальше по избе. Горница как будто стала обширнее с тех лет. «Здесь была когда-то кровать матушки и отца. И отца моего помнишь, Даня?» «Как же, Паша! Как я могу забыть Андрея Михеевича?» — ответил я и посмотрел на дверь в соседующую комнату. Терехов проследил мой вопрошающий взгляд: «Правильно, Даня, там жили вы с твоей матушкой, Стеллой Владимировной. Хочешь взглянуть?» Я кивнул. Сил не было ответить. Слезы перехватили дыхание. В комнате, где мы жили с мамой во время войны, ничего не изменилось. Окошко выходило в огород к баньке. У стены кровать, старинный шкаф, полка с книгами, наверняка, еще с теми, которые читала моя мама или я. Появился столик с электрической лампой для вечернего чтения.

Мы вернулись на кухню. Галина Прокофьевна накрывала к ужину. На столе, кроме принесенной мною, возвышались еще две бутылки: «Московская водка» и портвейн «Золотая осень». Павел налил нам по граненому стаканчику водки, а жене — портвейна. Я выпил немного. Павел на одном дыхании осушил свою порцию и торопливо налил себе, с укоризной показав на мой стакан с остатками водки: «Обижаетесь, Петрович». Галина Прокофьевна заступилась за меня: «Если человек непривычный, зачем же, Пашенька, напирать!» «Я, Галина Прокофьевна, не напирю, а угощаю гостя. Даниил не маленький. Сам решит, пить или не пить!» «Ладно. Ладно, Пашенька, я так, к слову». Она торопливо отпила глоточек портвейна и вернулась к плите. С тех пор, как я жил во время войны в избе Тереховых, произошли изменения, которые замечались не вдруг, а постепенно. Например, в прежние времена суп (чаще всего это были щи из квашеной капусты) мы ели из одной большой миски, поставленной посередине стола, по очереди погружая деревянные ложки в эту миску и помогая ломтем хлеба, донести до рта горячее варево. Наверно, этот обычай отошел, и хозяйка поставила перед каждым из нас привычные фаянсовые тарелки со щами и положила металлические ложки. Павел добавил себе и мне из бутылки «Московской водки», пояснив:

«Коньячок оставим на потом, для хорошего пищеварения. Так в умных книгах написано». На столе, кроме мисок со щами, стояли деревенские закуски: соленые огурцы и грибы (мои стародавние знакомые — рыжики!), ломти розового сала, масло, хлеб. Уклад в этой избе, наверняка, мало изменился со времени войны. Я ведь ничего не знал о жизни Тереховых с тех пор, как мы с мамой вернулись в Ленинград из Силы. Впрочем, как и они о моей. «Рассказывай, Даня, откуда ты приехал и кто ты есть в настоящем?» — спросил Павел и снова наполнил граненые стаканчики. Я рассказывал, немного лукавя, потому что утаивал подробности, которые Тереховы просто не поняли бы или неправильно истолковали. То есть, рассказал о моей жизни по возвращении из Силы в Ленинград. О родителях. О школе. Об университете. Но как-то в общих словах, пробегая по ступеням событий, как пробегается гармонист по клавишам, откладывая переход к главной мелодии. «И матушка и отец оба умерли!» — всплеснула руками Галина Прокофьевна. После второго стаканчика портвейна она попросила величать ее Прокофьевной, или проще — Галиной. «Да, оба умерли. Мама раньше. Отец лет пятнадцать назад. Впрочем, у него была другая семья». «Тем более, жалко. Переживал, чай, что такого сына оставил». Выпили за память моих родителей. Павел заметного отяжелел. «А ребятишки-то, ребятишки у тебя есть, Петрович?» — предложила Галина Прокофьевна самый обкатанный в народе предмет общения. «Холостой я, Прокофьевна!» — снова слукавил я, потому что кем, как не единственной женой, была для меня Ирочка! «И не был женат?» «Не был», — окончательно лишил я хозяйку почвы для традиционной беседы. Ибо что, как не рассказ о родителях, жене/муже и детях соединяет неожиданными мыслями и теплом добра людей, готовых принять новую или перелить старую дружбу в крепкую привязанность взаимодоверия! Я же обрубил все возможные для Галины Прокофьевны ходы к словам, скрепляющим дружескую откровенность. Галина Прокофьевна даже вздохнула огорченно, так вероломно увел я разговор от себя в надежде на исповедь со стороны Тереховых. Водка кончилась. Правда, на мою долю досталось не больше трети опорожненной бутылки. И опять Павел Андреевич уступил место семейного летописца жене, прежде пытавшейся разговаривать меня. Да и язык старшего приятеля моих детских забав слушался с трудом. Поженились Тереховы в конце 50-х, когда Павел после окончания Уральской ветеринарной академии в Молотове (Перми), вернулся в Силу, получив должность директора районной ветеринарной станции. Выросли дети и разъехались по институтам. Анечка — старшая — окончила Свердловский медицинский, стала врачом-инфекционистом. Гришенька — на два года младше Анечки, поступил в Академию связи в Ленинграде. Служит на Памире, около самой границы с Афганистаном. «Место неспокойное», — вставил тяжелое словцо Павел Андреевич. — Да где в наше время спокойно! Ты вот, Петрович, небось, не от покоя в наши дали уральские прикатил! Или я ошибаюсь?» Я кивнул ему, промолчав. Галина Прокофьевна чувствительным сердцем уловила, что у меня многое на душе, но



этим многим я хочу вначале поделиться исключительно с ее мужем по праву такого глубинного знакомства и такой изначальной дружбы, что, порой, сильнее кровного родства. Она ушла, пожелав нам хорошей беседы и доброй ночи, громко шепнув мужу (с оглядкой на меня), чтобы не пил больше.

Мы засиделись с Павлом до полуночи, опустошив бутылку коньяка, после чего оба оказались в серьезном подпитии, особенно Павел. К счастью, алкоголя в доме больше не оказалось, а на дворе была ночь, и некуда податься, чтобы раздобыть еще спиртного. Это нас отрезвило, и мы решили, что выпили достаточно и пора остановиться до следующего раза. Заварили крепкий чай, и Павел начал постепенно трезветь. Я рассказал про мою одинокую юность, сначала без мамы, а потом и без отца, с которым, хотя и не жила под одной крышей, но часто виделся и были близки, как нечасто близки отец с сыном, даже живущие вместе. Потом — про Университет и работу в ленинградской школе, где я бесславно учил великовозрастных балбесов классической русской литературе с зачатками современной советской, скукоженный курс которой полногрудо дышал Маяковским, Шолоховым и Фадеевым, да и то с трусливой оглядкой: как бы не вызвали притока раздражителей «Флейта-позвоночник» или «Облако в штанах». Что же касается Блока и его прямых наследников — Есенина и Ахматовой — от них прятались, как от талантливых, но больных индивидуумов, практически непригодных для коммунальной кухни советской литературы. Потом рассказал о моих стихах, почти никогда не публиковавшихся в советских журналах, но (случалось!) прораставших на дальних фермах эмигрантской литературы. «Почему не печатают? Это же твоя профессия! Не дают даже на хлеб зарабатывать?» «В том-то и дело, что на хлеб — дают, а иногда и на хлеб с маслом!» «Как же? Каким путем подкармливают?» «В том-то и наука их злая — не пускать в литературу, но и помереть с голода не позволить!» «Как так? Мудрено что-то закрутил, Петрович! Растолкуй, пожалуйста, мил человек». «Попробую, Андреевич! Вот, скажем, вокруг Силы, да и по всему Пермскому краю живут пермяки. Я взялся бы изучить пермяцкий язык и перевести их народные песни и сказки на русский...» «Да все, пожалуй, паря, переведено. А если и не все, так тех пермяков, которые говорят на родном языке да еще старинные сказки знают, почти и не осталось!» «Да, это мы так, Андреевич, абстрактно рассуждаем. Фантазируем. Словом, есть такая профессия: литературные переводчики. Я этим и занимаюсь. Перевожу стихи поэтов братских республик на русский язык». «И за это тебе платят?» «Когда заказывают в издательстве переводы, то платят. Да вот в последнее время перестали заказывать...» «Отчего же к тебе эти заказчики переменялись, Даня?» «Сложная история, Андреевич. Да и стоит ли на сон глядящий?» «Какой тут сон, Даня? Ты всю мою душу встряхнул. Отца моего, матушку вспомнил. А теперь и во все непонятно, что с тобой происходит? Отчего ты срочно и без предупреждения к нам приехал, словно сбежал от кого-то? Почему не можешь своей профессией заниматься, чтобы все было по справедливости и достоинству? Ты что-то недосказываешь, паря. Как в детстве, когда

я тебя на крыше настиг, где малина сушилась. Помнишь, Даня?» — он засмеялся, так открыто, как бывало, когда мы озорничали, таёся от матерей. Я подождал минутку-другую прежде, чем начал рассказывать. Да и понятно. Хотя я не сомневался в порядочности Терехова, кто знает? Насколько глубоко развратила его (вместе со всеми) советская пропаганда? Но я преодолел сомнения и рассказал Павлу о нашем Кооперативном театре («Подумать только — кооперация, чуть ли не кохоз в самом центре Москвы! Авось, не такой, как у нас!»), пока не подошел к самому главному — выходу книги стихов «Зимний корабль» в парижском эмигрантском издательстве «Воля». «Как это получилось, что книга вышла за границей? Я не ослышался, Петрович?» «Нет, Андреевич, не ослышался». «Ты разрешение, небось, от властей получил — на печатание книги в западной стране?» «Нет, Андреевич, разрешения не получал». «Погоди, погоди, так ты самовольно передал свои стихи, чтобы их на Западе издали?» «Добровольно, Паша». «Что же ты хочешь, как Александр Исаевич, до предела довести и — в эмиграцию?» «Нет, Павел Андреевич, не хочу. Я русский писатель и хочу жить на родине». Потому и предпочел добровольную высылку». «Как Пушкин — в Михайловское?» «Да, но только в Силу!» Он нахмурился, положил кулак на кулак, а сверху уперся лбом, так что стол, его кулаки и лоб стали крепостью. В эту крепость не проникнуть было никому, кроме его собственной мысли и совести. Павел задумался. «Теперь понятно, что тебе от всего, что связано с литературой, надо временно отгородиться. А я — старый дурак — подумал, что ты в школу пойдешь литературе и русскому старшечасникам обучать. Забудь навеки! Моментажно хвосты за тобой увяжут. То не так сказал и это не так истолковал! Знаю я этих идеологов! Тебе надо что-то другое подыскать. Да утро вечера мудреней, а теперь даже и не вечер, а глубокая ночь. Давай-ка я тебе на полотях постелю, как в старые времена. А завтра обмозгуем». Под самый конец разговора, ни на что не надеясь, я рассказал Павлу о давнишней моей работе с животными, на которых я проверял активность препарата чаги против экспериментального рака. Наверно, в минуты безнадежности человек начинает непроизвольно оперировать слоями *аварийной памяти*, хранящимися в глубине сознания или подсознания?

Я проспал до полудня, так сладко спалось на овчине, наброшенной Павлом на полати, поверх лука. На кухонном столе меня ждал завтрак и записка: «Даня, пей чай и закусывай. Я тебе позвоню и пришлю за тобой машину. Павел. Попросишь телефонистку соединить с ветлечебницей». На деревянной кухонной доске лежал каравай ржаного хлеба, покрытый полотенцем. На плите стоял чайник с кипятком, а рядом — заварной — расписанный васильками. Я вспомнил, что поле льна, который пропалаывала мама, было усеяно васильками. Тут же на столе были миски, одна со сметаной, другая с творогом, и еще одна — с медом. Я позавтракал. Надо было возвращаться в гостиницу, а потом — начинать поиски работы и жилья. Все, что вчера вечером, в разговоре с Тереховым, казалось неверным, ошибочным и заведомо обреченным на провал, в утреннем

свете представилось возможным и вполне подходящим. То есть, никакой другой профессией, кроме перевода и писания стихов, учительства и работы с белыми мышами, я не владел. Но и сам понимал, а Павел сказал открытым текстом, что даже в такой глуши меня обнаружат как подозрительную личность, невесть откуда свалившуюся в эти окраинные места. А потом и вовсе докопаются до причины моего бегства из Москвы на Урал. Словом, я позавтракал и позвонил Терехову, чтобы сказать, что возвращаюсь в гостиницу, а оттуда отправляюсь в школу на поиски работы. В сущности, работа мне была нужна не столько для добывания денег на хлеб насущный и жилье, которое я должен был незамедлительно снять, а для возобновления статуса трудящегося. В противном случае, местные власти отнесут меня к категории тунеядцев. Какое-то количество денег я надеялся зарабатывать по-прежнему переводами, хотя понимал, что мои связи с издательствами постепенно угаснут. Так что со всех точек зрения, надо было искать работу и, одновременно, жилье. Я вернулся в гостиницу и, не обращая внимания на удивленное лицо дежурной («Где гость из Москвы провел ночь?») попросил разрешения позвонить. Телефонистка соединила меня с ветлечебницей.

Голос Павла ответил: «Ветлечебница слушает!» «Павел Андреевич, — сказал я ему: — Никуда мне от школы не деться. Так что спасибо тебе за советы и дружеское участие, но я собираюсь поискать работу учителя. Что ты молчишь, Паша?» «А молчу я, Даниил Петрович, потому что ты как был своевольным и упрямым мальчишкой, таким и остался. Впрочем, сходи в школу, погуляй по селу, подыши нашим воздухом, а потом позвони мне, и мы увидимся. Между прочим, тебе надо подыскать квартиру. В гостинице жить дороговато. Да и не принято по местным правилам давать номер в гостинице дольше, чем на неделю. Конечно, можешь поселиться у нас. Но ты любишь независимость. Впрочем, решай сам». «Я тебе позвоню, Павел Андреевич!» Дежурная показала, как мне найти школу. Я решительно двинулся, но по мере приближения к стандартному кирпичному зданию мне вспомнился опыт преподавания литературы в ленинградской школе, ложь, которой я должен был отравлять моих учеников, перемежая неправду с правдой, соединяя при помощи мифа об утопическом коммунизме — истинных героев-идеалистов с карьеристами и палачами, хозяйничавшими в реальной стране тоталитарного рабского равноправия. И не доходя до школьных ворот, я повернул обратно в гостиницу. Очевидно было, что без помощи Терехова я не мог обойтись. Я позвонил в ветлечебницу. Через четверть часа к гостинице подкатил ветеринарный микроавтобус-рафик с голубым крестом и голубым полумесяцем. Дверца распахнулась, и на землю, покрытую заледенелым снежком, спрыгнула смуглая красавица. Она была в распахнутом подшубке, на воротник которого падала волна иссиня-черных волос, которые по степени блеска соперничали с начищенными модными сапожками, отражавшими мартовское сияющее солнце, какое бывает на севере накануне Масленицы. «Меня зовут Катерина. Я работаю шофером ветлечебницы. Пожалуйста в машину!» — она так распахнуто и белозубо улыбнулась,

что захотелось стоять, любоваться красавицей и никуда не ехать. Я в ответ протянул руку: «Даниил». «Вы из Москвы?» «Из Москвы». «Надолго?» — спросила Катерина. «Как получится, — ответил я неопределенно. — Работу и жилье подыскиваю». «Павел Андреевич поможет. Он всем помогает. Павел Андреевич не только лошадей и коров лечит. Он людей добром лечит. Павел Андреевич в нашем районе человек особенный!»

Строение, куда я был доставлен шофером по имени Катерина, находилось на противоположном от дома Тереховых конце села и представляло собой ветеринарную лечебницу. Я вошел внутрь. На скамейках сидели владельцы кошек и собак, принесенных или приведенных на лечение, кастрацию или иное оперативное вмешательство, чаще всего — на вакцинацию по поводу самых разнообразных инфекционных заболеваний домашних животных. Прием еще не начался. Помощник Терехова, представившийся старшим веттехником, Клавдием Ивановичем Песковым, мужчина около сорока пяти лет с усталым или издерганным пьянством лицом, провел меня в кабинет директора и велел подождать: «Павел Андреевич в карантинном отсеке больную овцу осматривает, — сказал Клавдий Иванович. — Вы журнальчик полистайте, если заинтересуетесь. Я вас чаем напою». Отказавшись от чая, стал я просматривать журнал «Ветеринария», лежавший на письменном столе. Журнал был открыт на странице, с которой начиналась статья «Случаи листериоза в практике сельских ветеринаров». Хотя с тех пор прошло около тридцати лет, мне запомнилась фамилия и инициалы первого автора В.П. Соловьева. Запомнилась, потому что полностью совпадали с фамилией и инициалами театрального критика, наиболее жестоко разгромившего спектакль «Манон Леско». Писатель, как и всякий художник, на всю жизнь запоминает обиды, связанные с творчеством. Я пробежался по статье. В ней обобщались наблюдения группы ветеринарных врачей средней полосы России о появлении некоего заболевания, приводящего к падежу крупного и мелкого рогатого скота при клинической и патолого-анатомической картине менингитов и энцефалитов. Бактерия, вызывавшая инфекционный процесс, была близка по строению палочке дифтерии. Профилактика заболевания не проводилась, потому что не было надежной вакцины. Поэтому основным выводом авторов статьи была необходимость получения такой вакцины. Некоторые фразы в статье были подчеркнуты красным карандашом. Я настолько увлекся чтением, что не заметил, как вошел Терехов. «Представь себе, Петрович, какое злосчастное совпадение: вчера пришел журнал, а сегодня привезли овцу, погибающую от воспаления головного мозга — энцефалита. Пока осматривал, овца пала. Наверняка, случай листериоза». «Как ты знаешь, что энцефалита, Павел Андреевич?» «В то время как ты статью читал, я вскрытие павшей овцы сделал. А насчет листериоза — мое предположение, основанное на клинической картине. Конечно, не хватает микробиологического диагноза». «Ты, Андреевич, еще и патологоанатом?» «Знаешь, Данил, в сельской местности что человеческий доктор, что ветеринар — должен быть мастером на все руки. Нико-

гда не знаешь, какой фортель тебе жизнь выкинет. Впрочем, мы с тобой об этом подробно поговорим. Давай, сначала обсудим главное: твое жилье и работу». «А вдруг я на квартиру не заработаю, Павел Андреевич?» — в тон ему ответил я. «Если примешь мое предложение — на жилье заработаешь. Да еще на пельмени!» «Каково же предложение?» «Ты давеча рассказал мне, что несколько лет работал в биологической лаборатории. Правильно я понял?» «Да, было такое дело. Вводил белым мышам раковые клетки, наблюдал за развитием экспериментальных опухолей и лечил неким препаратом». Я хотел рассказать Терехову, *какой* именно препарат вводился мышам, *как* мы радовались нашим успехам и *как* бесславно все закончилось, но он прервал меня, спеша вернуться к тому, что его сейчас так занимало: «Ну, понятно! Понятно! Примерно то же самое предстоит продельвать *(если согласишься!)* тебе, но не с клетками рака, а с бактериями, которые заражают коров, коз и овец и даже могут передаваться людям и вызывать менингиты. Впрочем, ты все это считаешь в учебнике микробиологии». Он протянул мне толстую книгу, на обложке которой было написано по-английски: «Ветеринарная микробиология». Терехов уловил мой удивленный взгляд: «Это моя дочка Анечка из Свердловска прислала, а ей подарили коллеги из Англии. Она ведь эпидемиолог-инфекционист. Очень много общего между распространением и течением инфекций у людей и домашних животных. Впрочем, вернемся к нашим баранам. Что ты думаешь о должности ветеринарного техника-микробиолога?» Я посмотрел на него с удивлением: «Если я правильно понял, ты, Павел Андреевич, предлагаешь мне работу?» «Да, предлагаю. Кое-какие деньжата мне подкинула Пермская ветеринарная академия. Кое-что обещала давать сельсовет». «Конечно, Павел Андреевич, попробовать можно. Правда есть одна проблема». «Какая проблема, Петрович?» «Я никогда не работал с микроорганизмами. Хотя техника работы с микробами и раковыми клетками во многом сходна. Требуется умения пользоваться микроскопом и готовить стерильные питательные среды». «Самое главное, ты умеешь обращаться с лабораторными животными: заражать и лечить». «И все-таки, Павел Андреевич, я хотел бы поучиться у опытного микробиолога». «Не беспокойся! Я договорюсь с главврачом нашей больницы, и в их лаборатории тебя научат микробиологической технике. Кстати, для оформления на работу, у тебя есть какой-нибудь диплом?» «Ленинградского университета. Правда, по филологии». «Это неважно! А трудовую книжку привез?» «Вот!» — я вытащил из своего чемоданчика университетский диплом и трудовую книжку. Терехов внимательно перелистывал, пока не наткнулся на запись о том, что я принят на должность старшего лаборанта группы по очистке и определению противоопухолевой активности препарата чага (ПЧ), а через несколько лет уволен по собственному желанию. «То, что надо, Петрович! Теперь никакая гнида не подкопается! Пиши заявление о приеме на работу». Он крикнул в открытую дверь: «Клавдий Иванович!» Появился знакомый мне заместитель Павла, заполнив массивной фигурой проем директорской двери. Он был в хирургической маске, халате и резиновом фартуке: «Заканчиваю удаление

опухли бедра у собаки. Думаю, что освобожусь минут через пять». Мы начали разговор о квартире. У меня пока никаких представлений не было, кроме вакантной комнатухи за рекой, которая сдавалась на год и куда надо было добираться через мост над рекой Силой. Адрес мне дала дежурная по гостинице. «Не советую, Петрович, ты оттуда в ветлечебницу до вечера шагать будешь, и обратно — до утра. Есть у меня идея поинтересней. В это время в кабинет Терехова вошел Клавдий Иванович, без маски и резинового передника. «Вот, Иваныч, оформляя специалиста по научным экспериментам, — Терехов передал Клавдию Ивановичу мое заявление и трудовую книжку. Песков ее торопливо перелистал, воскликнув: «Понимаю!» Далее шел процесс передачи трудовой книжки, моего заявления и перебарывания бухгалтерскими словечками и магическими цифрами между директором и его заместителем. С оформлением было покончено. Терехов и Песков окончательно обменялись словечками/подунами, совершенно мне непонятными, не исключено, на пермячко-русском местном наречии, скорее всего мною забытом со времени эвакуации. Затем они попросили меня снова побыть в кабинете одному. «Мы тут кое-что обсудим, Петрович, а ты поскучай. После этого поедем обедать в столовую. Она же по вечерам кафе/ресторан «Кама». Я кивнул. Они вышли. Я начал листать «Ветеринарную микробиологию», изданную в Англии, долиставшись моментально до главки, посвященной бактериям, вызывающим листериоз у животных и людей. Оказывается, вначале была большая путаница в диагностике, потому что листериозные бактерии напоминали под микроскопом возбудителя дифтерии. Правда, на этом все сходство заканчивалось. Домашние животные заболевают листериозом, поедая зараженную траву или сено. Люди — питаются инфицированными продуктами, чаще всего молочными. Лечение антибиотиками оказывается ненадежным, потому что листереллы стремительно приобретают устойчивость к традиционным (пенициллин, эритромицин) и новейшим (гентамицин) препаратам. Отличительными от дифтерийного микроба признаками была подвижность, обнаруживаемая под микроскопом, и способность разрушать красные кровяные клетки во время роста на поверхности плотной питательной среды. Когда-то я выращивал опухолевые клетки на поверхности пластмассовых флажков или на питательном агаре. Кое-что стало ясным.

Через полчаса Терехов вернулся, вручил мне проштампованную трудовую книжку и, загадочно улыбнувшись, повел показывать некое помещение, которое он назвал «келейка». Я осмотрелся. Это была изолированная комната, с дверью наружу и другой — в служебное помещение. Такие комнаты в наши дни принято называть студиями. Моя студия была с деревянной печкой-плитой, умывальником и окном. В комнате стояла застеленная железная койка, стол, два стула и этажерка для книг. Около двери к стене была прибита доска с крючками и полкой — для пальто и шапок. Кроме электрической лампочки, свисавшей с потолка, на столе гусем изгибалась переносная лампа, удобная для чтения, письма или печатания на машинке. Да, я не

упомянул, что большее место в одном из двух привезенных чемоданов занимала моя «Олимпия», переделанная на русский шрифт. Привез я и коротковолновый радиоприемник «Грюндиг». Келейка была частью ветеринарной станции, но с элементом независимости — отдельным входом. «Видишь, чисто, тепло и сухо. Катерина прибралась. Она у нас на все руки: шофер, санитарка, курьер. Знаешь — когда женщина одна растит сына. Да, сам, как следует, познакомишься». Мы вернулись в кабинет Терехова. Я заметил, что на ветстанции было принято не досаждать друг другу лишний раз. Каждый занимался своим делом, а для общения была так называемая буфетная комната: закуток со столиком, где к полудню закипал электрический чайник, и сотрудники перекусывали тем, что приносили из дома. Поскольку работы всегда было много, редко выпадало, чтобы чаевничали вместе.

Помню, что мой самый первый день на Силинской ветстанции Терехов провел со мной. Мы вернулись в его кабинет. Видно было, что он хотел поскорее поделиться со мной какими-то очень важными для него мыслями, но молчал, подыскивал нужные слова. Наконец, сказал: «Даня, ты веришь в судьбу?» Я не знал, что ответить. Павел до этого казался мне воплощением рационализма. И вдруг — вопрос о судьбе. Я, помедлив, ответил: «В судьбу как потустороннюю силу, управляющую моей жизнью, не верю. Здесь царит биология. А вернее — молекулярная биохимия. А вот в возможность совпадений, которые не поддаются (пока еще не поддаются!) рациональному анализу, верю. И убеждался в этом много раз. Здесь — царство космической физики и астрономии». «Ну, хорошо — цепочка совпадений, Даня! Назовем так». «Чисто условно, Паша, хотя этому могут быть и другие, более точные названия». Он улыбнулся. У Терехова была такая открытая улыбка, мол, прости за наивную откровенность, но по другому не умею. Павел улыбнулся и сказал: «Я ведь предчувствовал, что ты приедешь. Впрочем, не так. Я знал, что кто-то приедет или что-то произойдет, и, наконец, разрешится эта разгорающаяся проблема с листериозом. Деньги получены, я понимал, что надо делать, а у самого руки не доставали, времени не было, и так тянулось, тянулось, пока ты не приехал. Поистине, наперекор пословице: «Свалился на голову!» Ты в руки раскрытые прилетел, как весточка из детства. Мы ведь дружили с тобой, Даня. Хоть и разница была в возрасте, а дружили. Пытливый ты был мальчуган». «Я тоже о тебе хорошо помнил всю жизнь, Паша». «Так вот, я сразу подумал, когда ты рассказал о своих приключениях, не начать ли сейчас, немедленно эту мою мечту в жизнь переводить?» «Ну, да, Паша, я завтра же пойду в больничную лабораторию. Ты только договорись. Подучись, и — начнем охотиться за этими листереллами». «Правильно! Так и будет, Даня. Мы тебе помещение для занятий микробиологической оборудуем. Ты не беспокойся! Автоклав у нас на ходу. Пипетки, колбы, чашки Петри и питательные среды закажем. Не сомневайся! Но не об этом моя мечта, Даня!» «О чем?» «Ты послушай, надо такую вакцину изобрести, которая не только будет вылечивать от листериоза, но и вызывать у здоровых животных невосприимчи-

вость к листереллам. Изобрели же такие вакцины Дженнер — против оспы, Пастер — против сибирской язвы и Борде вместе с Жангу — против туберкулеза. Мы будем вакцинировать здоровых животных, а заболевших изолировать и лечить. Это приведет к тому, что листериоз у животных и людей исчезнет, как исчезли многие опасные инфекции».

Около двух часов дня в кабинет Терехова заглянула Катерина: «Спрашивали, Павел Андреевич?» «Катя, подбрось-ка нас до гордости села Сила — местной столовой/кафе/ресторана под названием «Кама»! Не удивляйся, Петрович, днем это богоугодное заведение работает как столовая, а вечером превращается в ресторан. Даже с местным музыкальным ансамблем. Все, как у людей!» «И часто захаживаешь туда, Андреевич?» «Случается днем, когда начальство из Перми приезжает. Там неплохо кормят. И персонал душевный. Да ты сам убедишься!» Столовая располагалась в одном из двух кирпичных двухэтажных строений, возвышавшихся на базарной площади. Кроме столовой в том же доме была районная библиотека, а рядом с библиотекой — магазин «Сельпо». На базаре торговали по субботам/воскресеньям. Была среда. Угадав мои мысли, Павел сказал: «Ждать не придется. В будни столоваться ходят, в основном, сотрудники сельсовета и райкома». Мы попрощались с Катериной. «Заедешь за нами через пару часов», — сказал Терехов. Катерина уехала. «Подожди немного, — сказал Павел. Я на минутку загляну в «Сельпо». Пока я озираюсь по сторонам, Павел вернулся из магазина. Из кармана его полушубка выглядывала белая головка водочной бутылки. «Ну вот, все формальности выполнены, можно отдохнуть». Мы вошли внутрь. Столовая была полупустая. Лишь несколько столиков были заняты понурого вида чиновниками районного масштаба, типичными для тогдашней российской провинции. Все были одеты в костюмы темных тонов. Все в белых рубашках с галстуками. Кто хлебал суп, кто читал газету, кто охотился за ускользящими от неловкой вилки пельменями. Павел нарочито громко сказал: «Здравствуйте вам!» Кто-то кивнул в ответ. Из двери, ведущей во внутреннее помещение столовой, выбежала милостливая официантка лет сорока, в крахмальном кружевном фартуке и в тон ему — крахмальном чепце: «Павел Андреевич, какой сюрприз! Не ждали!» Павел чмокнул официантку в щеку: «Здравствуй, Валечка! А я гостя привел. Так что накорми по-свойски!» Перечислю блюда, из которых состоял наш обед, и перейду к рассказу о дальнейшей моей жизни в Силе. Начали мы с винегрета, перешли к шам и завершили обед пельменями, которые в неисчислимом количестве подавала нам официантка Валя. Да, был еще клюквенный морс в литровых кувшинах. Морс в кувшине всегда стоял на столе в отличие от бутылки «Московской водки», которую Павел деликатно поставил под стол и каждый раз наклонялся, чтобы пополнить наши стаканы и выпить *за встречу*. Раза два за все время, проведенное в столовой, Павел давал деньги официантке Вале, и она приносила новую бутылку. Мы так стремительно напивались, что я не помню, о чем шел разговор. Помню, что Павел время от времени подзывал к себе Валю и клялся ей в вечной любви.



Каким-то невероятным усилием я заставил себя остановиться и сказать Павлу: «Андреевич, ты на меня не обижайся. Больше пить не могу». К этому времени вернулась Катерина и отвезла меня на Ветстанцию, в мою квартиру-студию. Павел остался в столовой. Он проводил нас до дверей и сказал: «Катерина, за мной не заезжай!»

В конце мая Сила вскрылась. Лед понесло в Каму. Ледоход был важным событием. О нем говорили в ветлечебнице. Хотя почти у всех моих коллег по ветлечебнице дома были холодильники, каждую весну, в том числе, и мою первую весну в Силе, шла заготовка льда на лето. Правда, теперь лед возили в кузовах грузовиков, а в моем детстве — в телегах. Все это я слушал краем уха, потому что после недельной переподготовки в больницы лабораторий наладил нечто вроде микробиологического отсека в операционной, где начал свои опыты с листереллами. В сущности, программа, которую я должен был выполнять, сводилась к трем главным задачам, первой из которых была рутинная диагностика листериоза. В случаях, если животное (корова, овца, коза) обнаруживало явные или скрытые признаки листериоза (отказ от пищи, рвота, нежелание идти в стадо), т.е. резко изменившееся поведение, я брал пробы материала, чаще всего рвотные массы или содержимое кишечника, и проводил подробный микробиологический анализ. Точно так же обследовали личный рогатый скот. Конечно же, если животное погибло, я проводил микробиологическое исследование желудочно-кишечного тракта, ткани головного мозга и внутримозговых жидкостей. Больным животным Терехов или Песков назначали антибиотики в соответствии с результатами микробиологических исследований. К сожалению, чаще всего применять антибиотики было поздно. Да и стоило это громадных денег колхозам, ветстанциям или владельцам скота. Процесс, вызванный листереллами, заходил слишком далеко. Дешевле было забить и сжечь тяжело больное животное. Однажды я спросил Терехова: «А часто ли клинически здоровые животные являются носителями листерелл? То есть, могут ли бактерии листериоза обитать в их кишечнике, до поры до времени не вызывая заболевания? Точно так же, как это бывает с носительством чумы клинически здоровыми крысами? Или туляремии — белками и зайцами?» «Не знаю, Даня. Сам об этом думаю постоянно. Ведь если это так, то лечить антибиотиками отдельные случаи заболевания все равно, что стрелять из пушки по воробьям! Не будешь же профилактически лечить антибиотиками весь скот подряд! Антибиотики дороги и ненадежны. Вакцина дешева и эффективна». «Но, Павел Андреевич, для того, чтобы обосновать поголовное применение вакцины, надо обследовать как можно больше животных в Силинском районе, включая дальние деревни». «Обследуем! На то ты здесь работаешь!» «Понадобится машина, хотя бы один раз в неделю». «Получишь машину! Один раз в неделю будешь выезжать с Катериной на колхозные фермы». «А личные хозяйства?» «Само собой! Не прерывать же наблюдения за эпидемиологической цепочкой. Главное, чтоб обоснование было для поголовного применения будущей вакцины. Если окажется, что большая часть

лично и колхозного скота является носителями этой злосчастной бактерии, никто не запретит применение вакцины. Ни район, ни область, ни Москва!»

На этом и согласились. Ледоход прошел давно. Наступил июнь, перешагнувший в жаркий уральский июль с сумасшедшими грозами и первыми грибами на склонах холмов, поросших соснами и елями. У подножья холмов было видимо-невидимо земляники. Вся эта красота была недосыгаема. Работа захлестнула меня. Передо мной маячила третья, пожалуй, самая важная головоломка: как получить живую безвредную и эффективную вакцину для профилактики листериоза. Пропускаю описание нескольких поездок с Катериной на дальние фермы для обследования клинически здоровых коров. Действительно, в их кишечнике нередко обитали листереллы, дремлющие до поры до времени.

Павел в компании с Клавдием Ивановичем вытащили меня однажды на рыбалку. Все было бы весьма увлекательно, если бы не мое абсолютное охлаждение ко всему, кроме вакцины. Мы ловили на спиннинги, дожидавшиеся Терехова и Пескова с прошлого года. Нашелся лишний спиннинг и для меня. Однако я оказался неподходящим рыбаком. Мысли мои были в лаборатории. Я отрыбачил для приличия пару часов и сбежал на ветстанцию, где в моем микробиологическом отсеке на полках инкубатора в колбах и на поверхности питательного агара росли драгоценные культуры — предшественники безвредной и эффективной листериозной вакцины. Во всяком случае, на это я надеялся. Бактерии росли на питательных средах с добавками химических факторов, в том числе, мутагенов, изменявших микробную наследственность. Эти модифицированные культуры листерелл, которые отбирались со всей скрупулезностью садовода-селекционера, должны были стать предшественниками вакцины.

Да, раз в неделю, обычно по вторникам под вечер, Катерина заходила в мой микробиологический отсек, мы брали брезентовую сумку с пачкой стерильных ватных тампонов, намотанных на деревянные палочки, и отправлялись в экспедицию. Здесь самое время откровенно рассказать читателю о реальности, в которой я оказался. Сейчас, задним числом, я понимаю, что охота за инакомыслящими в коммунистической империи и отпугивание новых волн интеллигентов, готовых стать инакомыслящими, проводилась органами безопасности по единой программе, состоявшей из нескольких степеней наказания и предупреждения. Самой жестокой степенью было, несомненно, положение узника ГУЛАГа, через которую прошла (уже в послесталинское время) часть инакомыслящих. Я оказался наказанным и уstraшенным в соответствии с одной из относительно «мягких методик», разработанных КГБ. Но и эта мера наказания должна была отбить у меня охоту к распространению опасных стихов в слоях андеграундной или сочувствующей диссидентским взглядам интеллигенции, и самое главное — запретить печататься за границей. Я был так ловко (*добровольно!*) выслан из Москвы, так охотно надел сам на себя наручники послушания, что вначале не осмеливался даже на-

едине с собой называть это видом насилия. Ирочка при помощи капитана Лебедева просто-напросто выручила меня. Да и работа в лаборатории при Силинской ветстанции на первый взгляд никак не могла быть синонимом наручников. Не скрою, цель исследований увлекла меня, напомнив удачное и своевременное трудоустройство в Ирочкину лабораторию ЧАГА, когда я спасался от опасности попасть в категорию тунецдцев и тоже оказаться высланным. Подобное, но в более экзотической форме, повторилось на Силинской ветстанции. Пожалуй, крайней степенью унижения в этой деревенской «шарашке» явились для меня экспедиции по забору проб из кишечника коров и овец. В дневное или утреннее время, когда коровы находились на пастбищах, не было никакой возможности взять пробу. Умные животные, увидев в руках у меня пробирку с тампоном, моментально отбегали, задорно отмахиваясь хвостом и игриво покачивая выменем. Поэтому для взятия проб у коров мы с Катериной отправлялись на колхозные фермы в вечернее время. Коровы жевали сено в своих стойлах, подоенные и успокоенные. При определенной степени сноровки, которую я приобрел со временем, вытащить штатив с пробирками из сумки, взять одну из пробирок, поставить на ней номер коровы, извлечь из пробирки тампон на деревянной палочке, ввести тампон в задний проход животного, отобрать пробу и снова погрузить тампон в пробирку с раствором консерванта, не представляло большой сложности, но, откровенно говоря, было противно. Как говорят в науке, это входило в условия эксперимента. По прошествии стольких лет становится очевидным, что, экспериментируя на домашних и лабораторных животных, я, в свою очередь, был одним из «подопытных кроликов» в гигантском эксперименте коммунистической системы, проводимом на инакомыслящих (экспериментальная группа) и дремлющем пока еще населении (контрольная группа). В телогрейке, перетянутой ремнем, и резиновых сапогах, я стал, как все. Да, было противно успевать отвести от лица нетерпеливый хвост, которым размахивала потревоженная корова, взять пробу, убрать руки и отступить назад, избежав быть изгаженным зеленым, липким, вонючим коровьим говном. С овцами было легче. Да их было и меньше, чем коров; а коз — совсем мало, да и то, преимущественно, в личных хозяйствах, которые мы тоже обследовали на носительство листерелл. Овцы были спокойны, скорее, безразличны, когда прямо на пастбище мы брали у них пробы. Правда, надо было метить животных, чтобы не повторить пробу у одной и той же овцы. Зимой все это казалось намного удобнее, потому что животных не выгоняли на пастбища. Однако зимой Терехов предпочитал не посылать меня с Катериной в экспедиции. Снег выпадал глубокий, дороги не расчищались, и поездки совершались ветеринарами только для оказания скорой помощи. Да и то на санях, запряженных лошадью по имени Звездочка, наверняка, праправнучке Сивки-Бурки из моего эвакуационного детства. Так что коров мы обследовали, преимущественно, в летние вечера, как правило, выезжая в экспедицию один-два раза в неделю. Правда, бывали исключения.

Клавдий Иванович Песков не любил, когда мы с Катериной отправлялись в экспедиции, но делать было нечего. Не шоферить же

ему вместо Катерины! Мне показалось, что он ревновал. Или за его отношением ко мне стояло нечто другое, пока еще недоступное моему ясному анализу. Слишком мало я знал о ветстанции и ее обитателях. Вполне понятно, что я не обращал на это никакого внимания, прежде всего потому, что никаких видов на Катерину не имел. Хотя со времени моего прощания с Ирочкой прошел почти год. К счастью, я начал стареть, а время юношеских забав сменилось временем зрелости, которая еще и приносит холодок трезвости во взгляд мужчины не только на женщину, если даже она молода и хороша собой, но и на среду ее обитания. Катерина была молода и хороша собой, да и только. С первого дня, как я увидел Катерину, я поклялся сам себе, что это — табу. Я слишком ценил свое место на ветстанции и слишком уважал Терехова, чтобы попытаться пойти на скандал. Я не сомневался, что в противоположном случае Клавдий Иванович добьется от Павла моего увольнения.

Вполне естественно, что мои связи с переводческим миром ослабевали. Издательства не посылали мне заказов на переводы, а друзья-приятели, кормившиеся за счет переложения подстрочников на стихотворный русский язык, вполне обходились без меня. Ну, может быть, во время застолий в кафе ЦДЛ кто-нибудь вспоминал: «Как там Даян?», но тотчас умолкал, пробежавшись по встревоженным взглядам собутыльников. Еще поразительнее было гробовое молчание моих бывших компанейцев. Молчал *тоскующий ангел* — Василий Павлович Рубинштейн. Даже Ирочка молчала, хотя, уверен, не могла не знать, где я нахожусь и по какому номеру позвонить. Я постепенно привык к мысли, что отныне микробиологические опыты по изысканию вакцины против листериоза — моя единственная работа в настоящем и обозримом будущем. И все же, никому не открываясь, наметил я некий рубеж своего освобождения. Этим рубежом представлялась мне вакцина, которая будет предотвращать и даже лечить листериоз. Конечно же, я продолжал сочинять. И даже пустился в прозу. До этого с прозой я соприкасался нечасто, переведя несколько рассказов и даже небольшой роман писателя из Македонии (одной из югославских республик в те годы) о жизни писателя, разувверившегося в городской жизни, уехавшего в деревню и ставшего членом кооператива. Роман получил некую огласку, весьма сдержанную, из-за полного разочарования главного героя (бывшего партизана-антифашиста) равно в городской и деревенской жизни. Итак, я начал сочинять роман, в котором главный герой — театральный художник — оказывается между двумя полюсами влюбленности, на одном из которых обитала женщина, напоминавшая Ирочку, а на другом — Ингу.

Конечно, я стал прилежным читателем сельской библиотеки, которую посещал не менее двух раз в неделю, зимой сменив ватник на бараний полушубок, а летом — на пиджак. И то и другое я приобрел в местной лавке под названием «Сельпо». В библиотеке я прочитывал все приходившие газеты и журналы, начиная с «Известий» и «Пермской правды» и кончая «Новым миром» и «Огоньком». Главным же моим источником информации был загадочный друг — радиопри-

емник «Грюндиг». Из «Грюндига» я узнал о разгроме московских художников, учиненном властями на окраине Москвы. Художники-нонконформисты выставили свои работы в Беляево, на опушке Битцевского лесопарка. Власти бросили на разгром импровизированной выставки поливальные машины, самосвалы, водометы и бульдозеры. Отсюда название — «Бульдозерная выставка». Были уничтожены картины и скульптуры талантливых художников, многих из которых я встречал в андеграундных мастерских. Мелькнуло имя Юрочки Димова. Я бросился на переговорный телефонный пункт при силинской почте — звонить Димочке. Но сколько я ни называл номер, завуалированная расстоянием барышня-телефонистка неизменно повторяла: «Номер не отвечает!»

В дороге, особенно в продолжительных поездках на фермы, находившиеся в отдаленных колхозах, мы говорили о жизни. Катерина рассказывала о себе. Странно, меня она не расспрашивала, как будто моя прошлая жизнь ее вовсе не интересовала. Или не хотела вызывать воспоминания, столь контрастные моему быту в Силе, чтобы не берeditь мою душу. Женская интуиция умнее мужской логики. Нынешнее мое существование было настолько простым, если не сказать — примитивным, что и расспрашивать было ни к чему. В рабочие дни одевался я в телогрейку, подпоясанную ремнем. В холодную пору носил армейскую шапку-ушанку. Осенью и весной ходил в резиновых сапогах, зимой в валенках, подшитых резиной, а летом — в парусиновых туфлях. Так что обзудать с Катериной мелочи быта ветстанции было скучно. Оставалась моя рутинная работа с листереллами, научная сторона которой, по правде говоря, мало интересовала Катерину, если не считать технических забот: успеет ли на условленную ферму до заката, хватит ли бензина и не лопнет ли прохудившаяся крышка нашего верного Росинанта — подопечного рафика. Вернее всего, она поняла, что женщине вызвать мужчину на откровенность — самый верный путь попытаться с ним сблизиться. Изливаясь женщине: жене, любовнице или случайной встречной, мужчины слабеют волей и становятся податливыми, как воск. Лепите из них, что угодно! А судя по ее строгому поведению, Катерина этого не хотела или делала вид, что не хочет. Единственное, что я узнал из ее рассказов: увлеченность Катерины чтением. В силинском книжном магазине ей оставались самые ходкие книги: преимущественно романы. Если она оказывалась на станции Верещагино или в самой Перми, то возвращалась со стопкой книг. Я изголодался по книгам. Так что, в этом наши интересы сошлись. Однажды она рассказала о себе. Все началось с того, как я посетовал, что не знаю, где найти в Силе «Дом на набережной» Трифонова. Захотелось перечитать. Роман не нашелся в сельской библиотеке. К моему удивлению, эта книга у Катерины имелась. «Так было заведено у нас в доме. Отец всегда собирал книги. У него было пристрастие к литературе». История ее отца необычна. Звали его Бузув. Он был караим, чудом спасшийся от немецкой пули в оккупированном Крыму или от газовой камеры в Освенциме. Бузув бежал на незахваченную врагом территорию,

попал с эшелоном для эвакуированных на Урал, добрался до Перми, оттуда — до станции Верещагино, а потом — до Силы. Вся его семья погибла. Он был одинок и стар. Судьба свела его с молодой женщиной Верой, вдовой-солдаткой. Муж ее погиб в боях под Москвой. Бузув начал оказывать знаки внимания молодой вдове. Война кончилась. Бузув продолжал захаивать к Вере. Жили они отдельно. Бузув был полностью погружен в свои книги и работу при сельсовете. Он был бригадиром строителей. Вечно что-то ремонтировал и перестраивал по всему району, не видя никакого смысла отвлекаться на бытовые мелочи, возникающие у семейных людей. Неожиданно, когда Вере было около сорока лет, она забеременела. Родилась Катерина. Только после этого Бузув перебрался к Вере. Катерина окончила школу и поступила в ветеринарный техникум в Перми. Ей исполнилось восемнадцать лет. Она была красавица, копия отца. Так и звали ее: «наша цыганка-караимка». Конечно, она никакого отношения к цыганам не имела, а свои иссиня-черные волосы, горящие карие глаза и восточную смуглость получила от караимских предков. Правда, отец очень мало рассказывал Катерине о караимах. Так, вскользь — о жизни в горном ауле неподалеку от Евпатории. Однажды Катерина спросила отца: «А правду мне сказала одна старуха, что караимы — это помесь евреев с крымскими татарами или даже цыганами?» «Нет, неправда, доченька!» «Тогда, кто же мы?» «Караимы вышли из древних хазар». Больше он ничего ей не сказал и вскоре умер. Только потом, много лет спустя поняла Катерина, что Бузув одинаково боялся и родства с евреями, которых русские притесняли, украинцы выдавали, а немцы уничтожали, и родства с крымскими татарами, которых выслали из Крыма в Сибирь и Казахстан по ложному обвинению в сотрудничестве с немцами. Словом, когда Катерина получала паспорт, она записала себя русской. Тем более что мама Вера и в самом деле была русской. Мама Вера воспитывала Катерину в строгости, брала ее в церковь по праздникам, учила скромности и послушанию. Такой Катерина и выросла. Она прилежно училась на ветеринарного техника и не позволяла себе шалостей с молодыми людьми.

Однажды, уже на третьем курсе веттехникума, Катерина пошла на вечер Пермского бронетанкового училища, посвященный очередному выпуску лейтенантов-танкистов. В веттехникуме учились преимущественно девушки, если не считать нескольких парней-инвалидов, получивших либо отсрочку, либо белый билет и не призванных на службу в армии. Молодые лейтенанты танковых войск, которым через сутки предстояло отправляться в Чехословакию на подавление «Пражской весны» (Катерина это название узнала много позже), весело кружили в вальсе девушек из веттехникума, обещая вернуться с победой и продолжить знакомство. Один из них, по имени Тенгиз, целый вечер приглашал Катерину потанцевать: «Вы так похожи на мою сестру Лалу!» Официально в буфете вина не подавали. Бутерброды и пирожные рекомендовалось запивать чаем или лимонадом. Но лейтенанты, решимость которых победить девичий стыд (так же как и врагов социализма), нарастала по мере прибли-

жения полночи и часа разлуки, придумали добавлять принесенную тайком водку в стаканы с лимонадом. Этот коктейль они называли офицерским шампанским. Пыжкий улыбчивый лейтенант Тенгиз с волнистыми черными волосами угощал Катерину офицерским шампанским, а во время танцев, да и в перерывах беспрерывно рассказывал ей о своей семье: отце, матери и сестре, живших в Тбилиси. Фамилию лейтенанта Катерина постеснялась спросить. Она крепко опьянела, и лейтенант вызвался проводить ее домой. Она жила в общежитии веттехникума. Подвернулось такси. Катерина не помнила, как оказалась в своей комнате. Ее подружки по общежитию еще не вернулись с выпускного лейтенантского бала. Из всего, что произошло между нею и Тенгизом, она запомнила только стыд, оказавшись голой наедине с мужчиной, резкую боль, которая сразу перешла в удовольствие, и страх, что кто-то войдет и увидит. Потом она заснула.

Через несколько недель Катерина узнала, что забеременела. Она написала заявление об уходе директору техникума и вернулась в Силу. Мама Вера заплакала, узнав о произошедшем, но решительно запретила Катерине даже и думать о прерывании беременности: «Бог послал нам ребеночка взамен твоего умершего отца». Мальчика назвали Борисом. «Теперь Бореньке девять лет. Весь в деда: книжки читает запоем, а по арифметике — первый в классе!»

Словно читая мои мысли, Катерина выпалила: «Вы не думайте, что я изливаюсь перед вами с какой-то целью. Мол, мать-одиночка, ищет мужа и так далее...» «Я и не думаю. Мы просто друзья-товарищи по работе. Нельзя же ехать и молчать!» «Вот и я об этом!» «А как вы, Катерина, стали шофером на ветстанции?» — спросил я, чтобы не потерять конец беседы, во многом натянутой, потому что мы оба хватались за концы фраз, как циркачи за болтающуюся под куполом трапецию. «О, это мне помог Клавдий Иванович!» «Неужели?» — спросил я не без ехидцы. Клавдий Иванович раздражал меня с самого первого дня работы на ветстанции: зайдет в мой микробиологический закуток, постоит за спиной, когда я культуры микробные переношу из одной чашки Петри на другую или в колбу с питательным бульоном. Постоит, вздохнет или зевнет (не разберешь!) и также бессловно уплывает. Тяжелый, крупный, с большим животом — он напоминал мне монахов-обжор и сладострастников из книжек о средневековье. На еженедельных конференциях с присутствием всех сотрудников ветстанции Клавдий Иванович любил завести занудную тичу на эпидемиологические темы, включая возможность внутрилабораторного заражения культурами, с которыми я работаю. Наш директор Терехов, человек мягкий и тактичный, только приговаривал: «Не строить же отдельную лабораторию с карантинным помещением, Клавдий Иванович?» «А почему бы и не построить, Павел Андреевич?!» — выпаливал мой вечный оппонент. «Денег нет, Клавдий Иванович. Вакцину приготовим, тогда целый институт отгрочаем, а пока потерпи, любезный». «А какие мысли у Даниила Петровича?» — не унимался Клавдий Иванович. «Каждую неделю я беру пробы с поверхности лабораторных предметов. Пока листереллы не об-

наруживаются», — отвечал я. «Только что пока», — не унимался Клавдий Иванович. С некоторых пор наши отношения с Клавдием Ивановичем свелись к обмену самыми необходимыми фразами, которыми перебрасывались мы по ходу работы. Мне иногда казалось, что моя жизнь напоминала все больше и больше винтовую лестницу, но не такую, которая, несмотря на отклонения в сторону, стремится вверх. Моя винтовая лестница время от времени после очередного подъема, покачнувшись, спускалась вниз, как это произошло при высылке (добровольном бегстве) на Урал. То есть, в Силе, несомненно, я находился на отрицательном витке. Я понимал это, но кроме упорного добывания вакцины, ничего не мог поделать. Несмотря на тягостные размышления, которые одолевали меня по вечерам, я садился после ужина за машинку, насильственно заставляя себя сочинять весьма странные стихотворения, в которых рифмы приходились на ключевые слова, а не традиционно скрепляли строчки, как пуговицы.

В голову лезли всяческие тяжелые мысли. Иногда по утрам в лаборатории я стал замечать, что вакцинная культура листерелл вырастала на поверхности питательной среды или в бульоне очень скудно. Взглянув на градусник инкубатора, в котором росли бактерии, бывало, я замечал, что температура в автоматическом датчике кем-то снижена с 37 градусов Цельсия до 30, а то и ниже. Сначала я думал, это случайность, перебой снабжения электричеством и т.д. К этому присоединились случаи загрязнения питательных сред, которые после обнаружения плесени приходилось выбрасывать и переделывать, а опыт повторять. Пришлось просить директора ветстанции приспособить замок к инкубатору и холодильнику, где хранились питательные среды. На очередном совещании сотрудников Терехов рассказал о причине таких предосторожностей. На что Клавдий Иванович пробурчал: «С каких это пор своим не доверяют! Лучше бы за собой последии. Работают без перчаток с заразными микробами!» Действительно, резиновые стерильные перчатки были дефицитом и практически использовались только в операционной ветстанции. Мне приходилось работать без перчаток, соблюдая строжайшим образом правила асептики и антисептики. Конечно же, я ни разу не делился ни с кем своими подозрениями. Интуитивно я дал себе зарок, кроме работы, обходить стороной Катерину, хотя, по правде говоря, она мне нравилась. Так что я даже в разговорах, которые мы вели в машине во время поездок на фермы или на пастбища, тщательно обходил всякие вольные темы. А хотелось. Катерина была хороша собой, а я начинал томиться от одиночества.

Спасала работа. Во всех случаях, когда коровы или овцы погибли при клинической картине воспаления головного мозга, при посеве проб выделялись листереллы. Да, в этих случаях мне пришлось научиться самому проводить патологоанатомические вскрытия погибших животных. Катерина ассистировала. Терехов снабдил меня набором необходимых инструментов. При помощи патологоанатомических долота и молотка я вскрывал затылочную область черепа павшего животного, стерильным скальпелем, ножницами и пинце-



том брал пробу ткани головного мозга и погружал в стерильную пробирку с раствором консерванта. Одновременно бралась проба содержимого кишечника. В результате исследований оказалось, что причиной гибели коров и овец от энцефалита в Силинском районе являются листереллы, которые обитают в содержимом кишечника не только больных, но чуть ли не трети клинически здоровых животных. Вполне понятно, что мои результаты, доложенные в одну из пятниц сотрудникам ветстанции, подтвердили справедливую одержимость нашего директора получить безвредную и эффективную вакцину.

Я работал над получением такой вакцины несколько лет. В деревне годы проходят незаметно: две трети времени покрыто глубокими снегами, месяц-полтора — стремительная весна, жаркое короткое лето, тяжкая холодная осень, которую обрывает внезапная спасительная чистота снега.

Судя по моим данным, культуры листериозных бактерий, которые я терпеливо переносил с одной питательной среды на другую, содержащую в нарастающих концентрациях химические вещества-мутагены, наконец-то потеряли агрессивные свойства, присущие возбудителям листериоза. Предстояло доказать, что будущая вакцина может предотвращать заболевание листериозом у лабораторных животных. Но прежде всего — сама не вызвать листериоза. Это были длительные однообразные опыты на белых мышах. Когда была найдена предельная доза вакцины, безвредная для лабораторных животных, я перешел к очень важному этапу работы: нахождению минимальной дозы вакцины, предотвращающей заболевание листериозом. Всего я приготовил пять серий безвредной листериозной вакцины. Две серии были отброшены, потому что при подкожном введении белым мышам не приводили к выработке иммунитета — появлению в крови животных специфических антител, т.е. белков, способных нейтрализовать ядовитые вещества листерелл. В результате кропотливых опытов, длившихся почти год, в руках у нас была листериозная вакцина, пригодная для проверки на коровах, овцах и козах.

Прокатилась Масленица по селу. Вторая или третья в моем уральском убежище. На этот раз всей ветстанцией праздновали Масленицу в избе Катерины и ее матери Веры. Они прислуживали и, согласно обычаю, почти не присаживались. Я сидел рядом с женой Терехова — Галиной Прокофьевной — и вел с ней степенную беседу о снабжении продуктами питания в Москве и Силе. Хотя я не был в Москве несколько лет, на меня продолжали смотреть как на столичного жителя. Я и не разубеждал Галину Прокофьевну. По другую сторону сидел Павел Андреевич, рядом с которым было оставлено место для Веры. Но сидеть ей было некогда. После блинов с соленой рыбкой, которые отменно шли под студеной водочку, Катерина подала пирог с ливером, потом пошли сладости, чай, а потом снова бражка, наслащенная сушеной малиной и утоляющая жажду только вначале. После нескольких стаканов бражки наступало легкое засасывающее опьянение и желание пить из бездонного березового туюска до самого дна. Катерина во всем помогала матери, только иногда обращаясь к

сыну Боре, чтобы не докучал Клавдию Ивановичу, который уселся с мальчиком рядом и опекал во всем. Я сидел напротив и наблюдал пристально за Клавдием Ивановичем и Борисом. Отношения между ними были почти родственные. А если не знать, то можно сказать, что это отец и его поздний ребенок. Павел Андреевич медленно наливался водкой, вначале следуя застольной беседе, которую я старался поддерживать, перебрасываясь с женщинами пустячными фразами о популярных артистах кино, которые известны в провинции даже больше, чем в крупных городах. Наступил момент, когда Павел Андреевич больше не мог пить, а решил прогуляться по свежему воздуху. Когда он ушел, Галина Прокофьевна горестно вздохнула: «В свою столовую отправилась Вальку проведать». Она окинула взглядом все наше застолье, но каждый молчал, не желая брать ни ее, ни Терехова сторону. А главное — не обсуждать заглазно такие болезненные внутрисемейные дела. «Мы с Борей тоже пойдем, пожаауй. Паренек устал. Пускай в моей избе отдохнет. Мы с ним в шахматы поиграем», — сказал Песков. Когда они уходили, я заметил встревоженный взгляд Катерины, провожавший Клавдия Ивановича и Бориса. «Поистине, в каждом омуте свои черти водятся» — подумал я.

Сразу после Масленицы намечено было начать массовую вакцинацию поголовья коров и овец в районе. Я наработал литры противолистерийной живой вакцины. Нужно было узнать, предотвратит ли вакцина развитие листериоза? Для этого половине животных на каждой ферме предстояло ввести нашу вакцину, а других — оставить для наблюдения. Если среди контрольных животных возникнут заболевания листериозом, а среди вакцинированных — нет, наша вакцина *работает!* Снова один-два раза в неделю по вечерам мы разезжали с Катериной на неутомимом рафике по колхозным фермам. Самым трудным оказывалось не только ввести вакцину под кожу коровы, овцы или козы, но и навесить на ухо иммунизированного животного металлическую бирку с номером. Эти процедуры, особенно «маркирование» коровы, требовали сноровки. Не сразу я освоил эту технику. При помощи специальных щипцов я прикреплял бирку к уху животного. Коровы мотали головами и норовили поддеть обидчика (меня или Катерину) рогом. К концу октября мы ввели вакцину сотням коров и овец на фермах Сиинского района. Оставалось ждать. Первые сигналы с колхозных ферм начали поступать в начале декабря. Каждый звонок с фермы был поводом для немедленных действий. Конечно, не было сил удержаться, чтобы не спросить звонившего (доярку или пастуха), есть ли бирка у заболевшей коровы или овцы? Как это ни ужасно, должен признаться задним числом: когда говорили по телефону, что у больного животного нет бирки, я радовался. Ведь номерные бирки привешивались к вакцинированным животным. Для экспериментатора подтверждение или опровержение его идеи важнее гуманитарных условностей! Если погода была устойчивая, несколько дней не шел снег и дорога была накатана, мы отправлялись с Катериной на рафике. Я, как земский доктор дореволюционных времен, возил с со-

бой «саквояж», а на самом деле, чемоданчик с необходимыми инструментами для забора проб из головного мозга и кишечника погибшего животного. Нам с Катериной неизменно везло. Ни разу не попали в снегопад, успев вернуться в Силу. Я шел в лабораторию, чтобы «посеять» материал проб на питательные среды, в которых хорошо развиваются листереллы.

Конечно, каждый новый случай листериоза обсуждался на еженедельных конференциях. Это чем-то напоминало мне годы работы у Ирочки, в лаборатории «ЧАГА». Но я отгонял воспоминания, как отгоняют один и тот же назойливый сон. До сих пор каждый новый случай листериоза приходился на поголовье невакцинированных (контрольных) животных. Я привык к тому, что при обсуждении Клавдий Иванович скептически качал головой и произносил: «Ну, просто везение какое-то! Вы, Даниил Петрович, (он неизменно называл меня по имени-отчеству), командуете теорией вероятности. Гипнотизируете цифры, что ли!»

И вот, Клавдий Иванович дождался своего часа. На ветстацию позвонили с дальней фермы, стоявшей на околице деревни Прохорята. Телефон находился в кабинете Терехова, которого в тот момент не оказалось. Параллельный аппарат был у Клавдия Ивановича. Он громогласно позвал меня: «Это по вашей части, Даниил Петрович! С фермы сообщают, что овечка с бирочкой пала!» Я нашелся ответить: «Должна же быть хоть одна черная овца в белом стаде!» А на душе кошки скреблись: «Вот и первый провал! Неужели вакцина дает срывы?» Словом, надо было немедленно ехать, чтобы взять пробы, пока картина заболевания, приведшего к смерти, не будет искажена трупным разложением. Тогда все свалят на листериоз, который не смогла предотвратить вакцина. Погода была морозная, но никаких признаков снегопада не обнаруживалось. Опускались сумерки. Небо временами затягивалось набегаящими облаками, которые все еще не предвещали ничего подозрительного. Правда, при выезде из села посыпался легкий снежок, который легко отбрасывали дворники с ветрового стекла. Ехать предстояло, по расчетам Катерины, не более часа. Когда мы миновали сельское кладбище с деревянными крестами или (для усопших атеистов) сколоченными из досок и фанеры мегильными обелисками, снег усилился. Катерина с тревогой посмотрела на меня. Но я находился в каком-то неконтролируемом волей азарте и сделал вид, что не обратил внимания на выражение лица моего шофера и помощницы. Постепенно поднялся ветер, который закручивал столбики снега по всей ширине дороги, наметая белые порожки, на которых иногда буксовали шины. «Не вернуться ли нам, Даниил Петрович? — спросила Катерина, но сама тотчас себя одернула, устыдившись минутной слабости: — Хотя никакого резона возвращаться нет, а дело надо закончить. Овца-то, баяли, меченая — с бирочкой». «В том-то и дело, Катерина! Мы эту овцу вакцинировали. Мало ли от чего она погибла! А спишут на листериоз. В то же время, у нас живая вакцина. Бывает, правда очень редко, что вакцинные культуры после введения животным или человеку, снова приобретают способность вызывать заболевание. Это происходит очень редко.

И все-таки, мы должны определить причину гибели этой злосчастной овцы!» «Я понимаю, Даниил Петрович, а на сердце неспокойно. Да нечего делать. Надо пробиваться». Как она точно определила: надо пробиваться! Поземка, между тем, усиливалась. Дворники работали на полной скорости, едва сбрасывая плотные слои снега, прилипающие сплошной пеленой к ветровому стеклу. Машина шла по дороге на ощупь. Да и трудно было назвать дорогой эту едва чернеющую полосу среди безбрежных пространств снега. Иногда рафик останавливался, буксуя, и я вылезал, брал широкую деревянную лопату и разгребал снег. «Сейчас должна быть березовая роща. А за ней, поблизости, деревня Прохорята», — успокаивала меня, а скорее всего, нас обоих, Катерина. Рафик продирался сквозь бесперывные, падающие хлопья снега, и как я ни всматривался в узенькую, непостоянную щелочку, остающуюся между скребущими со стоном по ветровому стеклу дворниками, ничего не видел, кроме потемневшего снежного пространства. «Вот там березняк! — воскликнула Катерина. — Еще немного! Не останавливайся!» — гладила она руль своего рафика, уговаривая машину, как старую добрую лошадь, выбивавшуюся из сил. «Далеко ли до деревни?» — спросил я, невзначай высказав тревогу, что наша экспедиция может задержаться почти что у самой цели. «Околица начинается сразу после березовой рощи. Да ведь ничего не видно, Даниил Петрович!» И вдруг случилось то, чего каждый из нас боялся больше всего: машины встала, зарывшись носом в очередной сугроб, который Катерине не удалось миновать, как она ни крутила рулем и ни нажимала на педали тормоза и газа, жонглируя рычагом скорости. Колеса вращались на холостом ходу. Стало пахнуть перегоревшей тормозной жидкостью. «Попробуйте толкнуть, Даниил Петрович!» Я спрыгнул в снег, доходивший до самой дверцы. Отгреб лопатой часть снега. Катерина включила зажигание. Я попытался толкнуть машину. Снег из-под буксовавшего колеса летел мне в лицо, залепляя глаза, нос и рот, но рафик не двигался. Впереди, слева от предполагаемой дороги, темнело пятно, которое я разглядел по подсказке Катерины. Она показала на это пятно: «Березовая роща. Значит, деревня совсем рядом. Если теперь не собьемся, доберемся до Прохорят!» «Как же мы пройдем через поле по такому снегу?» — спросил я. «Видите — верстовой столб?» Я всмотрелся и увидел впереди себя нечто, торчащее у края дороги. Подойдя поближе, разглядел я поперечную планку и прочитал цифру, обозначающую, сколько километров мы проехали от Силы. Все сходилось. За полем была деревня Прохорята с фермой на околице. Надо было держаться дороги, пересекающей поле и ведущей в деревню. Я вытащил из машины свой чемодан-саквояж с инструментами для предстоящего вскрытия и пробирками для бактериологических проб, и хотел было двинуться в путь, как Катерина остановила меня: «Постойте, Даниил Петрович, так вы далеко не уйдете. Чемоданчик-то тяжеленький!» «Что же остается делать, Катя? Без инструментов и пробирок делать нечего». Впервые я назвал ее *Катя*. «А мы попробуем сани устроить для вашего чемоданчика!» Она залезла внутрь ра-

фика и вытащила лопату, которой я прежде разгребал снег. И к ней — веревку. Я пропустил веревку через ручку чемодана и привязал его к лопате. Получились импровизированные сани. Как бурлаки, мы впряглись в эти сани и двинулись в сторону Прохорят. Наконец, затеплились огоньки ближних изб. Это придало нам сил. «Ферма как раз поблизости от околицы!» — подбадривала Катерина. Тащить лопату с таким грузом, как чемодан, было тяжело и неловко. Он все время заваливался то на одну, то на другую сторону. И все-таки мы ощущали ногами, под слоем снега, плотную укатанную дорогу. Расплавчатый, как топленое масло, свет в окошках крайних изб все приближался и приближался, пока мы не уперлись в чье-то крыльцо. «В этой избе живет Клава Сердюкова. Она командует на ферме. Так что к ней и постучимся».

На стук дверь избы приотворилась, и высунулась голова в домашнем платке, повязанном поверх седых волос. Мясистые губы что-то шептали. Глаза из-под надвинутого платка глядели с недоумением. «Клавдия, ты что, не узнала меня? Это я — Катерина с ветстанции. А со мной — ученый человек Даниил Петрович. Приехал определять, почему овца пала». Я кивнул, хотя был несколько смущен явно завышенной рекомендацией Катерины. «Да что это я! Заходите в избу, почитай, совсем остыли. С ног до головы в снегу! Метель-то какая!» Мы прошли через темные, пахнущие квашеной капустой сени в избу, которая была точной копией силянских изб: русская печь с плитой и полатями, кухонный стол, полки с кое-какой посудой. Я спросил нетерпеливо, не дожидаясь чая, который готовила для нас Клавдия: «Хорошо бы поскорее осмотреть умершую овцу». Катерина, сглаживая мою бестактность, улыбнулась, поясняя хозяйке: «Вишь — ученый человек торопится анализы произвести». «Да я понимаю. Сейчас чайком отогреетесь — и на ферму пойдем».

Через несколько минут мы отправились на ферму. Лопату оставили около крыльца, а чемодан с инструментами поехал в детских санках, которые было легко везти. «Небось, внуков твоих санки?» — спросила Катерина у Клавдии сквозь завывания метельного ветра. «На Рождество приезжали мои родимые из Перми. Ох, накатились власть с Прокофьевской горки!» — радостно подтвердила она Катериныны слова. На Прокофьевской горке высились остатки церкви, разрушенной во время революции. Это мне пояснила Катерина, которая перекидывалась словечками то со мной, то с Клавдией. Оказывается, была Клавдия в родстве с Верой — матерью Катерины. «Клавдий Иванович — с одной стороны! Клавдия — с другой! Не много ли?» — подумалось мне. Ветер толкал нас в спину, санки скользили, как по льду. Да и вправду, тропинка, по которой мы шли на ферму, заледенела. Колодец был в деревне, и воду для коров и овец носили до фермы в ведрах, подвешенных на коромысле. Наконец, мы были у цели. Бревчатое продолговатое строение, крытое соломой, состояло из двух половин: коровника и овчарни, на воротах которых висели тяжелые замки. Я помнил это еще из поездки, когда мы вакцинировали овец и коров. Правда, в тот раз Клавдия была по каким-то делам в Силе, и мы с ней разминулись. Клавдия отворила

ворота в овчарню. Дожнуло теплым, острым духом навоза. Электрический свет пробивался сквозь засиженные мухами лампочки. Я услышал равномерный звук, похожий на шелест дворников, трущихся по заледенелому ветровому стеклу. «Слышь, солому жуют. Сена-то до лета не хватает. Оно коровушкам больше надобно. А не дашь сенка, не надоишь молока!» — пошутила Клавдия. Мы прошли в холодный отсек, отделенный засовом от основного помещения овчарни. Клавдия добавила: «Это у нас карантинный отсек: изолятор для заболевших овец». На оцинкованном столе лежала мертвая овца. Ее коричневая шерсть свалаясь, как на старом потрепанном коврикe. Я сбрил волосы на затылке овцы, обработал кожу растворами карболовой кислоты и йода, вскрыл череп мертвого животного и взял пробы головного мозга. Сделал я это в соответствии с протоколом, разработанным для обследования погибших животных. Я внимательно осмотрел поверхность живота у трупа овцы. Вымя было необычайно набухшим, а на концах отечных, темно-лиловых сосков висели засохшие капли желтого гноя. Я взял пробы гноя, после чего вскрыл овцу по линии живота и осмотрел внутренние органы. Поверхность почек была облеплена оранжевыми гнойными гроздьями. Такие же золотисто-оранжевые гнойники были видны на поверхности печени. Я взял пробы почек и печени. Было очевидно, что это не листериоз. Какой-то другой, неведомый мне микроб привел к гибели овцы. Наверно, я в запальчивости высказал это вслух: «Это какой-то другой возбудитель!» «Вот и я говорю, — подхватила Клава. — Мастит у нее был. Потому и пала овечка, как была, а с нею новорожденные ягнятки!» Это уже было кое-что. А если добавить, что Катерина вспомнила, как они с Павлом Андреевичем когда-то выезжали «по скорой помощи» на одну из ферм и нашли мертвую овцу с такими же точно поражениями, то можно было в душе дать волю надежде: а вдруг это совсем не листериоз? Тогда что же? Я решил, что утром каким угодно путем доберусь до Силы и передам часть материала в лабораторию сельской больницы для микробиологического анализа.

Между тем, я погрузил свой чемоданчик с пробами на санки, и мы двинулись в обратный путь к избе Клавы. Мы настолько продрогли, что хозяйка избы — Клава — затеяла немедленное угощение. Она то и дело выбегала из кухни в сени и возвращалась то с миской квашеной капусты, то с бутылкой самогонки, то с куском сала в розовых прожилках, напоминавших морозный закат. Иногда слышалось хлоппанье наружной двери. Наконец, Клава вернулась окончательно, сияя от удовольствия, вся в гостеприимных хлопотах. «Баньку затопила, — сообщила она, выгаскивая зубами тряпичную пробку из бутылки и разливая самогон по стаканчикам. — Так уж наморозились, гости дорогие! Вода нагреется, каменка в парилке распалится, можно косточки напарить. А пока выпьем за встречу! Когда из баньки вернетесь, продолжим». И добавила: За все хорошее!» Я поддержал: «За хозяйку». Катерина потянулась своим стаканчиком: «За удачу!» Клава повела нас через огород в баню. Это была маленькая избушка, игрушечная копия крестьянской избы. Из трубы валил густой дым, прижимаемый падающим снегом к соломенной крыше. Клава отворила

дверь баньки и пригласила внутрь. Мы ахнули: до чего там все складно разместилось. В предбаннике стояли чистые лавки. В стене набиты крупные гвозди для одежды и свежих полотенец. Парилка, в три ряда деревянных ступенек, напоминала деревянную пирамиду. На нижней ступеньке стояли две оцинкованные шайки для мытья. Вода кипела в котле каменки. Рядом стоял ковш. Под котлом полыхали поленья. Котел был обмазан глиной, а в нее вмурованы круглые валуны. На нижней полке лежали сухие березовые веники, которые предстояло распарить. Всю эту премудрость я освоил в бане Тереховых, куда еженедельно ходил мыться по пятницам. Клава оставила нас вдвоем с Катериной. «Идите первой, Катя», — предложил я и отвернулся, усевшись на лавке к ней спиной. «Спасибо!» — отозвалась она. Я услышал шорох скидываемых валенок и волшебное шуршание одежды — звуки, которые сопровождали раздевание Катерины: *джик* — змейки-молнии, миниатюрный щелкунчик пуговички лифчика, приземление на лавку парашютика сорочки. Она крикнула: «Я скоро!» Я начал дожидаться своей очереди. Слышалось плескание воды, шлепанье веника по голому телу, а потом на эти разгоряченные паром или моим воображением картинке наложились мелодия песни. Слов этой песни я не мог разобрать. Мелодия была тягучая и нежная, как запах цветущих осов. Я слушал эту благословенную смесь музыки молодого тела и молодого голоса. Наконец, песня оборвалась. «Отвернитесь, Даниил Петрович!» крикнула Катерина и выбежала из парилки в предбанник. Ударил запах распаренного березового листа и разморившегося женского тела. Я через силу отвернулся. Прошло несколько минут, во время которых мое воображение и мои слуховые рецепторы улавливали вытирание, одевание и причесывание. Наконец, Катерина крикнула: «Теперь моя очередь отворачиваться, а ваша — раздеваться и париться!» Раздевшись и захватив полотенце, я шагнул в парилку. По-правде говоря, я на некоторое время отвлекся от воображаемых картинок с видами Катерины, прогуливающейся среди облаков березового пара. Намыленный и размякший, я мечтал поскорее вернуться на ветстанцию. Да и при трезвом размышлении, а действие самогона, выпитого до бани, со временем ослабело, я постарался внушить себе (в который раз!), что Катерина не для меня, что о ней надо забыть, как должно было забыть Адаму о Еве, если он бы знал, что его накажут изгнанием райского сада. Слишком высоко я ценил спокойствие, обретенное годами жизни в Силе. Окатившись холодной водой, я приступил к самому важному этапу мытья в деревенской бане: начерпал ковшом почти что полную шайку кипящей воды из котла, положил туда сухой новый березовый веник и разлегся на верхней полке, ожидая, когда веник натянет воду, распарится. В это время дверь скрипнула, и в парилку вошла Катерина. Она была завернута в простыню, которую бог знает в каком шкафчике предбанника добыла. «Хотите, я вас попарю, Даниил Петрович?» Да, да! Я хотел этого. Простыня соскользнула, и я увидел дирижабли ее груди со смуглыми сосками, красивый эллипсоидный таз, черный треугольник курчавого лобка, всю ее

женскую красоту, которая тянулась ко мне ласковыми обещающими руками. Она постелила простыню, но не сразу отдалась мне, а сначала притворно нахлестала меня зелеными пахнувшими летом и березняком ветками, подражая одновременно тысячелетним народным обычаям, когда муж и жена уединялись в бане, и современным играм в садомазохизм.

Мы вернулись в избу. Клава ждала с накрытым к ужину столом. Во взглядах, которые она бросала то на меня, то на Катерину таилось одобрение и радостное возбуждение, какое бывает у людей, объединенных одним заговором. Она как будто успокаивала нас: «Вы все правильно сделали. Ничего красивее и правильнее любви нет. Я вас не выдам!» Так сидели мы за кухонным столом, наверно, с полчаса-час. Тропинка застолья подходила к тому перевалу, который надо было перейти, чтобы окончательно решить: сидеть ли до глубокой ночи, или поблагодарить хозяйку и разойтись спать по углам. Самогон после парилки и любовных утех так расслабил меня, что я впервые за долгие месяцы выкинул из головы ветстанцию, вакцину, над которой бился столько времени, и даже коров и овец, задумчиво жующих сено/солому на фермах Силинского района. Мной овладевала благодатная истома, когда хочется улечься под одеяло, положить голову на подушку и погрузиться в глубокий сон. Клавдия постелила мне на полатах — кинула тулуп из овчины и подушку. Сама хозяйка и Катерина улеглись, кто на кровати, кто на лавке. Я заснул и не слышал таракатения трактора, подъехавшего к избе, нетерпеливого грохота в дверь, не потревожился светом, который зажгла Клава, и так далее. Меня разбудил раздраженный голос Клавдия Ивановича, который, поднявшись на две ступеньки, ведущие вверх к полатам, тормошил меня: «Даниил Петрович, да проснитесь же вы, наконец!» Мой глубокий сон, продолжавшийся даже после того, как все переполошились, разбуженные Клавдием Ивановичем, явился моим безусловным алиби. Надо отдать должное хозяйке Клаве, которая, уложив меня на полати, а Катерину — на лавку, убрала грязную посуду и — главное! — припрятала бутылку с остатками самогона, вкус которого показался мне даже менее отвратительным после бани. Конечно, Клавдий Иванович боялся увидеть худшее: явные доказательства нашего с Катериной грехопадения. И не увидев, оказался в глупейшем положении обманутого мужа, старшего брата, отца или покровителя — не знаю, в какую категорию рогоносцев его отнести. Он, конечно, чуял свершившийся грех, силовые линии которого пробегаи между мной и Катериной, но дальше очевидного идти не мог. Из рассказа Клавдия Ивановича следовало, что (по совету Павла Андреевича) из ближайшей МТС был вызван специальный трактор для очистки снега и вытаскивания застрявших автомобилей, и что трактор добрался до брошенного нами на дороге рафика, который дожидался как раз у верстового столба, на повороте к деревне Прохорята. Конечно, Клавдий Иванович предполагал, что, попав в снегопад, мы заночуем в деревне. Конечно, он знал, что мы остановимся у Клавы, заведовавшей фермой. Конечно, спасательную экспедицию можно было отложить до утра. Кстати, снегопад начинал утихомириваться.



Конечно, в холодных снях, где я оставил свой чемоданчик, с пробами ничего бы не случилось. И все же, какое бы раздражение я ни испытывал по отношению к Клавдию Ивановичу, надо было отдать ему должное за решительность и упорство. Словом, мы погрузились в кабину трактора и двинулись в обратный путь. Рафик был полностью погружен в снег, который мы расчистили. Тракторист взял рафик на прицеп и потащил в направлении Силы. Мы к этому времени пересели в наш микроавтобус, который заурчал и двинулся в путь наполовину при помощи трактора, а наполовину под аккомпанемент своего оживающего мотора.

К рассвету мы доползли до Силы. Как добрая лошаденка, почувывая конюшню, рафик бойко покатил по засыпанному снегом улицам села. Катерина высадила меня у ветстанции, небрежно махнув рукой на прощанье, и отправилась отвозить Клавдия Ивановича домой. Их избы стояли поблизости. Рафик почти всегда ночевал у ее крыльца. Произошедшее в парилке лучше было забыть, как сон. Я так и сделал, забывшись в лаборатории со своими пробами и посевами. На ферме во время вскрытия павшей овцы я брал по две пробы от каждого материала (мозг, гной, кишечник, печень, почки и т.д.). Так что я немедленно сделал посева на питательные среды, специально применявшиеся для выделения листериозных микроорганизмов. Параллельные пробы я отвез наутро в лабораторию сельской больницы. Через несколько дней я мог определенно сказать, что овца погибла не от листериоза: роста листерелл не было ни на чашках Петри, ни в колбах с жидкой питательной средой. Вскоре мне позвонили из больничной лаборатории: в материале, доставленном мной, обнаруживался обильный рост золотистого стафилококка — бактерии, вызывающей тяжелые гнойные заболевания у животных и людей, и нередко приводящей к смертельному заражению крови. Я отправился с торжествующим видом к Терехову и рассказал о результатах поездки в деревню Прохорята на ферму. «Ты, говорят, большой любитель в баньке париться, — улыбнулся Павел. — Ну, ладно, это я так, в шутку. Надо же было отогреться. А Клавдий Иванович молодец, хороший товарищ. Выручил тебя. Только ты больше с Катериной в дальние поездки, да еще зимой не отправляйся, Дания!» Я сделал вид, что не понял его намеков. К тому же в кабинет вошел Клавдий Иванович, пожимая мне руку и восторженно повторяя: «Значит, ваша вакцина, Даниила Петрович, никакого вреда не приносит! Это ведь главное в медицине: врач, не навреди больному. Овечка-то от стафилококка погибла!» Я удивленно посмотрел на Клавдия Ивановича. А Терехов сказал: «Ну, ты, Клавдий Иванович, силен — раньше меня все новости узнаешь!» Я понимал, что ведется какая-то сложная игра/борьба между Павлом и Клавдием Ивановичем, и что результаты проверки вакцины очень важны для нашего директора. Какие планы и идеи роились в голове Клавдия Ивановича, сказать в то время я не мог. Но, конечно, меньше всего обольщался насчет его внезапного потепления ко мне. Особенно после поездки с Катериной на ферму и ночевки в Прохорятах. Хотя никаких улик у него не было. Да я и не собирался давать повод для его ревности.

Хотя, по правде говоря, в одинокие вечера, когда я маялся над пишущей машинкой, приходили в голову шальные мысли, что приоткроется дверь и войдет Катерина, Катя. Но она не приходила, а во время рабочих поездок делала вид, что между нами ничего не было. Ведь и вправду, ничего не было! Все сходилось на Клавдия Ивановиче: Катя и моя работа. Надо было развязать этот узел по имени *Клавдий Иванович*. Я понимал, что он опутывает меня сетями незримой паутины. Надо было разорвать паутину.

Недели через две на конференции ветстанции, предварительно прикинув данные почти трехлетней работы, я высказал предположение, что наша вакцина эффективна. Безвредна и эффективна. Павел Андреевич взглянул на меня с одобрением, но ничего не сказал. Клавдий Иванович ядовито усмехнулся: «Не рано ли? Во всяком случае, нужна статистика!» «Будет вам статистика!» — ответил я довольно резко. Никогда я не был так уверен в своей правоте, чтобы продолжать проглатывать комментарии Клавдия Ивановича. «Вот и прекрасно, — сказал Терехов. — Даниил Петрович, докажете статистикой — честь вам и хвала». «А на нет — суда нет. Отрицательные результаты тоже нужны науке», — добавил Клавдий Иванович. «Да что же вы его заранее отпеваете, Клавдий Иванович? А вдруг, статистика будет за нас?» — заключил Терехов.

Я засел за составление таблиц. Надо было сравнить группу вакцинированных коров и овец с животными, которые не получали вакцину. Когда-то во времена Ирочкиной лаборатории ЧАГА мне приходилось сравнивать группы леченных и не леченных животных. Существовали статистические руководства, которых, конечно же, у меня не было под рукой. Пришлось звонить в Пермский ветеринарный институт. Наконец, книжка «Статистические методы» была в моих руках, и с логарифмической линейкой в руке я начал обрабатывать результаты. Я был так увлечен, что отнесся безразлично к новости: Катерина выходила замуж за Клавдия Ивановича. Свадьба была назначена на июнь. Получилось очень кстати: я временно перестал выезжать на фермы. С Катериной, если мы и виделись, то мельком, в коридоре ветстанции. Ко мне в студию она не заходила. Павел Андреевич был весьма либеральным директором. Так что Катерина много времени проводила в хлопотах о предстоящей свадьбе, продаже дома Клавдия Ивановича и прочих житейских заботах, которыми полна голова хозяйки семейного дома. Ну, скажем, будущей хозяйки. Не знаю, счастлива ли она была? Я не решался спросить ее об этом. Жалел, что ли? Когда я представлял себе Катерину и Клавдия Ивановича в постели, то ощущал отнюдь не ревность, а жалость. Что же заставило ее пойти на такую жертву? Я набрался духу и спросил Павла (это было после очередной моей бани у Тереховых): «Что же ее заставило? Такой неравный брак!» Мы сидели, распаренные, оставляя на нижней ступеньке в парилке. Он наклонился к моему уху: «Грешила она со мной. Было дело. Еще до Вальки-официантки. Клавдий Иванович узнал — про меня и Катерину. Был у него с ней тяжелый разговор с раскаяниями и обещаниями. И все равно, замуж за Клавдия Ивановича не соглашалась. А вот теперь

после поездки с тобой в Прохорята сама пришла и попросила Клавдия Ивановича взять ее в жены. Правда, он не лез ей в душу, не спрашивал, отчего и почему внезапно согласилась. Рад был безмерно. Такая вот малинка-ягодка».

Один раз только, когда я сидел над расчетами, в дверь моей студии осторожно постучались. Это была Катерина. «Я побеспокоила?» — спросила она. «Ну, что ты, Катя! Я рад тебе». «Вы на меня не сердитесь, Дания?» (Откуда она узнала: *Дания?*) «За что же мне сердиться, Катя? Ты мне радость принесла». «Простите меня, ради Бога!» «Мне тебя не за что прощать, Катя». «Спасибо, что поняли меня. И еще Боря. Боренька мой. Ему отец нужен. Если бы...». Она не договорила, что случилось бы, если бы. Но что я мог ей сказать? Я понимал, что дни мои на ветстанции сочтены, что деревенский цикл моей жизни заканчивается, что так или иначе я скоро уеду отсюда, чтобы никогда не возвращаться.

В конце мая я закончил мои статистические расчеты. Павел Андреевич просмотрел данные и назначил доклад на ближайшую пятницу. Небольшое помещение нашей комнаты для конференций, которую называли «Красный уголок», было битком набито приглашенными из сельскохозяйственного отдела райкома, райисполкома, сельской больницы, колхозных ферм и прочих учреждений, так или иначе связанных с ветеринарией или медициной. Наш директор, Павел Андреевич, был одет в парадный костюм с галстуком, в котором чувствовал себя торжественно, но неуютно. Я напялила белую рубашку и джемпер, что было верхом компромисса: ненавижу парадные одежды. Станным показалось, что никто не приехал на мой доклад из Пермского ветеринарного института. «Может быть, автобус из Перми опаздывает? — шепнул мне директор. — Надо начинать!» Клавдий Иванович, как показалось мне, вел себя суетливо, беспокойно: вскакивал со своего места, выбегал в коридор, направлялся в мою сторону, но тотчас возвращался, как будто бы хотел что-то сказать или даже предупредить, но не решался. Однако в конце концов он утомился, и Павел Андреевич представил меня собравшимся. Не стану пересказывать мой доклад, сущность которого сводилась к тому, что вакцинированные животные практически не были носителями листериозных микробов, по сравнению с контрольной, невакцинированной группой коров и овец. И самое главное — разница в заболеваемости листериозом между этими группами была статистически достоверна. Т.е. вакцина была эффективна! Помню, что задавали множество вопросов, совершенно неожиданных и касающихся самых разнообразных проблем, связанных с вакцинацией животных, разделения больных и здоровых коров и овец, разработки новых вакцин, скажем, для профилактики маститов и прочее и прочее. Общее настроение было весьма благосклонное и даже радостное: какое сильное средство разработано не где-нибудь, а в нашем районе! Ко мне подходили, жали руку, поздравляли. Странно было, что Клавдий Иванович не подошел и не поздравил. Более того, перекричав шум голосов, он попросил слова. Павел Андреевич был удивлен, но не мог отказать своему заместителю. Клавдий Иванович вышел на се-

редину комнаты, к столу, за которым сидел директор, и показал на большой конверт: «Вот, сегодня утренней почтой получено письмо из Пермского ветеринарного института». Лицо Терехова из удивленного стало настороженным: «Может быть, в рабочем порядке после конференции ознакомимся, если не имеет прямого отношения?» «В том-то и дело, Павел Андреевич, что имеет и самое непосредственное!» «Что ж, если так, зачитайте, Клавдий Иванович». Письмо было длинным, потому что включало в себя выписки из многостраничного официального документа, с которым (его существом) руководство Пермского ветеринарного института хотело ознакомить сотрудников нашей ветстанции. И, прежде всего, директора ветстанции и исполнителя программы по разработке листериозной вакцины, то есть, Терехова и меня. Клавдий Иванович это письмо перехватил и воспользовался. Не исключаю, что письмо было получено накануне или даже раньше, и Клавдий Иванович дожидался конференции, чтобы нанести мне сокрушающий удар. И нанес. Письмо пересказывало патент, который был недавно (на дворе шла вторая половина восьмидесятых) выполнен научными сотрудниками кафедры микробиологии Ярославского медицинского института и назывался: «Генетический метод получения живой вакцины, предохраняющей людей и животных от листериоза». Общее направление экспериментов было очень похоже на опыты, которые я в одиночестве проделывал в течение нескольких лет в моей крохотной лаборатории на Силинской ветстанции. В патенте были перечислены направления исследований: воздействие химических веществ, вызывающих наследственные изменения (мутации) у безвредных культур листерелл, приводящие к потере способности вызывать заболевание. При этом присутствовала изящность выполнения экспериментов коллективом профессионалов и — главное! — генетический анализ живой вакцины при помощи тонких молекулярно-биологических методов. Закончив свое сообщение, Клавдий Иванович горестно вздохнул и вернулся на свое место. Конечно, я был ошарашен сообщением заместителя директора. Но, главным образом, не столько существом патента, который полностью перекрывал мои эксперименты, а коварством Клавдия Ивановича. От такого можно было ждать самого худшего. Вдруг я почувствовал ледящее дыхание сил, от которых я бежал на Урал из Москвы. Теперь они настигли меня здесь, в Силе. Надо снова бежать! Но куда? Павел Андреевич пытался меня утешить, зазывал отметить удачный доклад в столовой-ресторане: «Валя нам такой обед соорудит!» Мне хотелось побыть одному и решить, как жить дальше. По странному совпадению я нашел под дверью своей студии конверт. Второй судьбоносный конверт на день! Это было письмо от Герда Сапирова. Он писал, что мне пора возвращаться в Москву, что намечаются какие-то перемены, что Ирочка ждет меня.

На сворачивание дел и написание окончательного отчета ушло у меня около месяца. За это время я ответил Герду Сапирову, что внял его совету и вскоре возвращаюсь в Москву. Он написал, что человек, который снимал мою комнату на Патриарших прудах, вот-вот съедет, что накопилась значительная сумма, что у него (Герда) появи-

лись кой-какие мыслишки насчет моей будущей работы по сочинению мультфильмов и т.д. и т.п. А главное — Ирочка ждет меня с нетерпением! Наконец, наступил день, а вернее, утро того дня, когда я обошел всех сотрудников Силинской ветстанции (накануне Павел Андреевич Терехов устроил в своей избе прощальный ужин, на который явились все, кроме Клавдия Ивановича и Катерины). Тем не менее, наутро около ветстанции ждал меня график с Катериной за рулем. Она отвезла меня до автобусной станции, где я должен был пересесть на автобус до Пермского железнодорожного вокзала. Я перекинул через плечо свой рюкзак, прихватил чемодан (с моей заветной «Олимпией») и прыгнул на тротуар. Катерина выскочила из машины и бросилась мне на шею в слезах, приговаривая: «Вы на меня не держите обиду, Дая? Не держите? Нет?» «За что же Катя?» Она не ответила, а стояла, уткнувшись в мое плечо и вздрагивая от рыдания. Наконец она вымолила сквозь слезы: «Если что-нибудь случится, можно мне позвонить вам, Дая? Или написать?» Я предал ей листок бумаги со своим московским адресом и телефоном.

#### **Четвертая часть. Чистопрудный бульвар**

Что-то изменилось в Москве со времени моего бегства на Урал. Даже соседи по коммуналке на Патриарших прудах встретили меня вполне дружелюбно и без осторожности, которая появилась у них незадолго до моего отъезда. Накануне, встретив меня на Ярославском вокзале, Герд Сапиров передал мне ключи от квартиры: «Живи, старик, ни о чем не беспокойся. Ирочка даст знать, когда захочет тебя увидеть. Кстати сказать, она забросила свою театральную деятельность и полностью переключилась на изобразительное искусство». «Что? Ирочка стала художницей?» — спросил я, впрочем, подготовленный прежним опытом, что от Ирочки можно ожидать самых неожиданных поворотов. «Ну, нет, старик! Ирочка покровительствует неофициальным художникам. Многие из них были участниками *Бульдозерной выставки*. Собственно, Ирочка — хозяйка единственного частного художественного салона. Да ты сам скоро убедишься». Через несколько дней, это было в июне-июле одного из начальных лет перестройки, Герд дал мне знать, что пора! Ирочка приглашала его и меня на «Фестиваль искусств» у себя в салоне. Все было необычно в этом приглашении, ведь мы не виделись столько лет. И вот — сразу, поговорив по телефону и еще ни разу даже не увидевшись — на «Фестиваль искусств!» Герд заехал за мной на такси, и мы отправились к Ирочке. Нынешняя квартира ее помещалась под самой крышей красивого особняка на Чистопрудном бульваре, напротив театра «Современник». По словам Герда, в Ирочкином салоне проходили читки самой неподцензурной литературы. Художники выставлялись здесь на комиссионных началах, картины продавались вовсю, а иностранцы расплачивались долларами. «Скажи, Герд, а капитан Лебедев бывает в салоне?» «Очень редко. Вечно занят. По словам Ирочки, он стал замминистра!»

Еще в парадном, у старинных, в медных львах, дверей подъезда, толпилась светская публика: шикарные шляпы, духи, английская

речь, французская груссировка, обрывки русских анекдотов. Ирочка встретила нас у дверей своей квартиры. Она была все та же красавица, моя возлюбленная, моя королева, и невозможно было понять, как я прожил в отдалении от нее столько лет. Это был живой сон, в котором все сходилось, пока я спал, но вот проснулся и увидел, что никогда с ней не разлучался: сероглазая, в короткой ультрамодной стрижке волнистых каштановых волос, со спортивной посадкой головы на длинной шее, перетекающей в стремительную и стойкую грудь. Ирочка совсем не изменилась, разве что стала «посуше»: менее стремительной, более сдержанной. «Даня, милый! Наконец-то!» Она расцеловала меня, обняла Герда, приняла вино/конфеты, показала, куда бросить пальто, и снова ринулась в гостеворот. Поражало музейное обилие картин на стенах комнат, коридоров и коридорчиков. Картины принадлежали кисти самых модных московских художников-авангардистов. Некоторые из них были участниками и жертвами *Бульдозерной выставки*. Предназначенные для продажи картины были обозначены ценами (относительно невысокими) в специальных каталогах. Живопись чередовалась с коллажами и композициями, составленными из разных предметов и соединенных грубыми мазками масляных красок. Именно соседство самых разнообразных стилей — от буквального натуралистического реализма до абстрактных комбинаций красок на холсте, возбуждало и создавало бурлескное настроение. Во всяком случае, у меня. Наверно, у других гостей/зрителей/ потенциальных покупателей тоже. На одной из акварелей сказочный мальчик в бело-голубом матросском костюмчике летал над тесным от множества яхт южным портом. На другой — гигант, вроде Голиафа, гладил красавицу-дюймовочку, которая стояла у него на ладони. На третьей было изображено крыльцо барака и пустая бутылка из-под водки с этикеткой «Лионозовка»... Особенно привлекали зрителей рубашки, их было около полудюжины, на которых рукой Герда Сапирова были изображены масляными красками его сонеты, ходившие по рукам почитателей вот уже около двадцати лет. В одном из коридорчиков висело несколько работ Юры Димова. Мы обнялись с ним. Но Дима был в подавленном настроении. Он ворчал, что место для него выбрано Ирочкой невидное и еще что-то про распад нашей былой компании. Напротив столовой висели коллажи нового приятеля Герда, весьма благополучного художника Хомина. В столовой был накрыт эллипсоидный дубовый стол в половину комнаты, с закусками и выпивками *а ля фуршет*. Дубовый стол прогибался от бутылок, закусок, тортов, конфет, тарелок и стаканов. Публика вилась разношерстная: наполовину богемная, наполовину торгашеского вида, какая роится вокруг комиссионков. Присутствовало множество иностранцев. Герд исчез в толпе. Со стаканом вина я примостился около резного буфета. Справа от меня в кресле фирмач-француз наслаждался бутербродом с лососиной. Глистоногий алкаш из новоявленных гениев снял с тарелки француза рюмку с водкой, закусил оставшейся лососиной, загасил окурок об оплешивевший хлеб и пошел дальше.

Закусив и выпив, гости перешли в боковую комнату слушать Герда Сапирова. Потом веселье продолжилось. Не дождавшись окончания фестиваля, я уехал к себе на Патриаршие пруды.

Несколько дней я провел в устройстве своего жилища. Что ни говори, а прошло столько лет со времени моего бегства. Холодильник был пуст. Подписки на газеты и журналы давно истекли. Надо было восстанавливать прежние знакомства. Ну, и конечно, обойти редакции, где, как ни странно, встретили меня вполне... как бы поточнее выразиться... вполне *натурально*. То есть, в меру изумились: «А кто-то сказал, что вы уехали!» «Я и был в отъезде». «Эмигрировали в Израиль и вернулись?» «Нет, вернулся с Урала». Или искренне поведали, что прошел слух о моей гибели где-то в Гималаях или в Антарктиде, куда будто бы я отправлялся с экспедициями. Однако и там и сям меня срочно послали в бухгалтерию получать гонорары за опубликованные в годы моего отсутствия переводы стихов.

Через несколько дней позвонила Ирочка и пригласила заехать к ней на чашку чая. До ее звонка со времени моего приезда в Москву, даже на «Фестивале искусств» у Ирочки, где я был вместе с Гердом Сапировым, меня не покидало ощущение, что я все проделываю механически. Разговариваю механически, ем и пью механически, механически оживляю свою комнату. Поэтому я надеялся, что звонок Ирочки и встреча с ней выведет меня из этого оцепенения. Я ждал ее звонка, подобно тому, как заядлый кокаинист, принудительно прошедший курс лечения, втайне ждет своего часа, чтобы полной грудью вдохнуть животворное лекарство и выйти из спячки. С бутылкой шампанского и букетом белых гвоздик я позвонил в Ирочкину квартиру на Чистопрудном бульваре. Она открыла мне и провела в комнату, стены которой были увешены картинами ее друзей, художников-авангардистов. «Это самые драгоценные работы в моей коллекции. Подарены мне авторами». «Я не видел этих работ во время фестиваля», — сказал я. «Правильно, Даник, я эти картины не выставляю и не продаю. Это мой *золотой фонд*». Ирочка была одета в темно-синее шелковое платье, которое делало ее строгой, как будто бы она принимала у себя кого-то, кто долго ждал деловой встречи с ней и, наконец, получил возможность изложить суть дела. Но у меня никакого дела к ней не было. Я соскучился по Ирочке. Она была моей возлюбленной, к которой я вернулся после долгих лет разлуки. Я ждал тайного сигнала, едва заметного знака, чтобы обнять ее, поцеловать осторожно в уголки глаз, шею, губы, чтобы взять ее за руку и увести из этого чопорного кабинета в спальню, поторопить ее освободиться от синего шелкового платья, вспомнить ее всю до самого сладостного на свете мгновения, о котором я мечтал все эти годы. Что-то, однако, останавливало. Как будто Ирочка была отделена от меня батисферой, которая препятствует проникновению моих сигналов в ее рецепторы. «Выпьем шампанского, Ирочка!» — предложил я. «Хорошо, Даня. Но сначала поговорим. Мы так давно с тобой не говорили. Как ты жил там, на Урале?» Я принялся рассказывать ей в подробностях о моей работе на ветстанции, о том, какую придумал я вакцину, и как все мое открытие было зачеркнуто чужим патентом.

Мое повествование складывалось в повесть, сюжет которой разворачивался в селе Сила. Повесть, где я был главным действующим лицом. Отнюдь не героем, потому что я ничего героического не делал. Я добросовестно занимался микробиологической рутинной, и вокруг меня были самые обыкновенные люди, среди которых даже Клавдий Иванович теперь — на расстоянии — выглядел всего лишь старым ревнивцем, обманутым мужем из классических комедий Мольера. «А если бы этот Клавдий Иванович (имя-то какое!), если бы Клавдий Иванович тебя с Катериной в бане застукал?» — засмеялась Ирочка. Но мне показалось, что засмеялась, скорее, из вежливости. Какая-то пелена грусти отделяла ее от меня. Даже наше чаепитие было слишком чопорным и неестественным после стольких лет разлуки. «А ты как, Ирочка? Что было у тебя в эти годы?» — решился спросить я. «Ну, что тебе рассказать? Кажется, ты уехал по совету Николая Ивановича как раз накануне серии провалов с нашим Кооперативным театром. Вокруг актера Коли Лебедева (да ты помнишь — сын капитана Лебедева) разразился страшный скандал. Какой-то продажный писака, подстрахованный мракобесами из того же ведомства, где служит Николай Иванович, опубликовал фельетон, в котором в подробностях описывались *гомосексуальные наклонности* некоего гражданина, весьма напоминающего Колю Лебедева. Это грозило талантливому актеру годами тюрьмы. Не удивляйся, что покровительство фельетонисту шло из того же ведомства, где служит Николай Иванович. Сейчас идет жестокая борьба между правым имперским крылом в госбезопасности, и либеральным, прозападным, к которому примыкает наш капитан Лебедев». «И Театр закрыли?» «Я распустила Театр». «Как же ты могла все это выдержать одна, Ирочка?» «Конечно, нет. Конечно, не одна! А Васенька Рубинштейн — мой *тоскующий ангел*? А Риммочка? А Юрочка Димов? Вся наша компания! Ну, и прежде всего — Вадим Алексеевич Рогов. Кстати сказать, он очень жалеет, что не смог придти на фестиваль и встретиться с тобой. Безумно занят. Он ведь в заварившейся перестройке один из капитанов экономики». «Прямо по Каверину — *Два капитана*: — Николай Иванович Лебедев и Вадим Алексеевич Рогов!» — я не удержалась, чтобы не съязвить. Никому я больше не верил! «Без опытных и либерально настроенных профессионалов России не выбраться из застоя!» — сказала Ирочка с необыкновенным запалом. «И твоя галерея прямо в квартире! Как тебе удалось, Ирочка?» «Конечно, это одна из примет перестройки. Я придумала, а Николай Иванович с Вадимом Алексеевичем поддержали. Стране нужна валюта. Иностранцы платят за картины в долларах, часть полученной валюты я отдаю государству». «Продолжение прежних игр в *теневой бизнес*, Ирочка?» «Именно, Даник! Все было бы превосходно, если бы мне не предстояла *маленькая операция*. Я почувствовал, что происходит нечто в Ирочкиной жизни, что проводит магическую черту, накладывает невысказанное и необъясненное вето на прежнюю нашу близость, о которой я так мечтал, истосковавшись по Ирочке. Шампанское, от которого Ирочка отказалась, было лишь внешним признаком перемены, произошедшей с моей возлюбленной. Символом. Деталью ри-



туала. «Мне нельзя, Даник. Предстоит *маленькая операция*». «Что за операция? Опасная, Ирочка?» «Пожалуй, нет. Мой хирург-гинеколог уверяет, что неопасная. Хотя, риск всегда есть». «Ирочка, что у тебя нашли?» «А ничего страшного, Даник — женские дела. С некоторых пор у меня начались кровотечения, довольно обильные. В общем, врачи предложили мне оперироваться». «О, Боже, Ирочка, моя девочка! А я со своим дурацким шампанским! Прости, любимая». Наверно, у меня выступили слезы. Ирочка смахнула их. Поцеловала меня в еще влажную щеку: «Даник, все будет ОК, как говорят мои американские знакомые». «Ну, да... конечно...» — мямлил я, не решаясь расспросить подробнее об операции. Ирочка поняла мою скованность: «Диагноз, Даник, довольно банальный: фиброматоз матки». «?» «Это значит, что вся матка пронизана узлами, которые разрастаются, повреждают кровеносные сосуды и вызывают кровотечения. Ну, и как следствие кровотечений: малокровие, слабость и, прежде всего, абсолютный провал в сексе. Сам понимаешь, какое удовольствие заниматься любовью, когда из тебя хлещет, как из лопнувшей трубы!» «Когда операция, Ирочка?» «Послезавтра». «Где?» «В гинекологическом отделении Боткинской больницы. Операция под названием гистерэктомия назначена на восемь часов утра. Так что, часов в двенадцать меня привезут в послеоперационную палату досыпать».

Не знаю, как я дождался дня операции. Я не спросил во время чаепития, кто отвезет Ирочку в больницу. О многом я предпочел не спрашивать, чтобы не наткнуться на стену, которую не обойдешь и через которую не перелезешь. Впрочем, подобные этические нормы общения были приняты в нашей компании с давних времен. Сходная тактика в отношении геев стала применяться в американской армии десятилетием позже: «Don't ask, don't tell!» Мы пришли к этой формуле еще со времени знаменитой экспедиции в деревню Михалково за березовыми грибами — чагой. Ирочка сама выбирала счастливица среди нас. Я проснулся в день операции около шести утра, когда уже занимался легкий рассвет. Первой моей мыслью было: «Как там Ирочка? Наверно, ее отвозит в больницу Рогов». Как ни отвратительно теперь признаваться в этом, мысль, что Ирочку сопровождает на операцию Вадим Рогов, ранила меня не меньше, чем сама предстоящая операция. Я сделал над собой страшное усилие, чтобы не сорваться, не выскочить на улицу, не взять такси и не оказаться у ступеней Ирочкиного подъезда до того, как Рогов прикатит за ней на своей «Волге». Хотя, нет, по тем временам да в его положении автомобиль был бы классом не меньше, чем «Мерседес». Я удержался и позвонил в девять утра: «Началась ли операция?» Диспетчер ответила мне, что операция отложена на несколько часов. Потом откладывалась еще несколько раз, пока не началась около шести вечера. Я ждал у входа в гинекологическое отделение, отлучаясь ненадолго, чтобы попить кофе.

Исход битвы решается искусством командующего. Исход операции определяется искусством хирурга. Замена командующего перед самым сражением чревата поражением. Замена оперирующего хирурга на случайного, не знающего большого (больную), нередко

приводит к тяжелым послеоперационным осложнениям. Так получилось с Ирочкой. Конечно, ничего этого я не знал заранее. Вадим Алексеевич, который со мной вместе дожидаясь окончания операции, предпочитал не входить в объяснения, углубившись в какие-то записи или расчеты. Обстоятельства судьбы, связавшей нас обоих с Ирочкой, вынуждали терпеливо ждать, сидя на тесной больничной скамейке, поставленной перед входом в гинекологическое отделение. Было около девяти вечера, когда оперировавший хирург (потом выяснилось, что это был ординатор) в зеленой униформе и зеленой шапочке вышел к нам и начал объяснять, что ему пришлось заменить ведущего гинеколога Ирочки, который внезапно слег (грипп, осложненный пневмонией). Операция, которая обычно занимает не более часа, затянулась на два с половиной по причине необычно низкого расположения нескольких фиброматозных узлов в месте перехода матки в шейку матки. Пришлось произвести ампутацию матки, частично погрузив в шов слизистую влагалища. Не знаю, как Рогов, но я вначале пропустил мимо ушей эти подробности. Одно меня тревожило: «Как Ирочка? Когда она проснется? Будет ли у нее сильно болеть?» Узнав, что Ирочка проснется через два часа, не ранее, Рогов уехал по делам, и я остался один. Сердобольная дежурная сестра дала мне халат и шапочку и разрешила проскользнуть в послеоперационную палату, взяв честное слово (в обмен на положенную в карман ее халата десятку), что я ее не выдам, если меня *застукает* один из врачей или ординаторов. Ирочка лежала на высокой кровати, уровень которой менялся в зависимости от клинической необходимости. Она лежала на спине, прикрытая до подбородка простыней, поверх которой лежало белое пикейное одеяло. К обеим ноздрям тянулись трубочки, отходившие от кислородного баллона. Рядом с кроватью стоял деревянный штатив с подвешенным пластиковым мешочком, от которого тянулась прозрачная трубочка, соединенная с иглой, введенной в вену левой руки. Игла была прикреплена к коже локтевой ямки лейкопластырем, из-под которого расплозлось фиолетовое пятно кровоизлияния, свидетельствовавшего, что в вену удалось попасть не сразу. Ирочкины прекрасные, обычно насыщенные губы опали и были сухими. Она спала. Я разыскал дежурную медсестру и попросил положить влажную марлю на Ирочкины губы. На правую руку была наложена манжетка прибора для измерения кровяного давления. Прибор соединялся с монитором. Медсестра время от времени приходила в палату, чтобы взглянуть на монитор. Меня она как будто не замечала. Все было позади. Ирочка, хотя бы на время, принадлежала одному мне. Операция благополучно завершилась. Надо было ждать, когда Ирочка проснется. Я старался отогнать от себя мысли о том, что будет, когда Ирочка окончательно поправится и вернется в свой салон. Но прежде всего, до того, как я вообразил Ирочку в окружении гостей и потенциальных покупателей, я представлял себе Вадима Рогова, по-хозяйски оглядывающего Ирочку и ее гостей. В этой толпе с трудом различались мои прежние друзья-компанейцы: Глебушка Карелин, Васенька и Риммочка Рубинштейны, Юрочка Димов. Меня среди них не было. Разве что у двери кто-

то похожий на меня доказывал, что его тоже приглашали в салон, объясняя пожилому, плотному увешанному орденами генералу, напоминавшему капитана Лебедева, что я не случайное лицо в Ирочкином салоне. Наверно, я дремал, потому не сразу услышал тихий голос Ирочки: «Пить, пить...». Она смотрела на меня, вначале не узнавая, но вскоре улыбулась своей милой улыбкой, усталой, но единственной на свете улыбкой моей Ирочки. «Я сейчас, Ирочка», — повторяя я, как полоумный, выбегая из послеоперационной палаты и направляясь к пульту дежурной медсестры. Увидев мое суматошное испуганное лицо, медсестра, которую звали Полина Александровна, принялась объяснять, что после операции на брюшной полости нельзя поить больных, потому что это может вызвать неукротимую рвоту и расхождение швов; что влажная марлечка, положенная на губы, немного утоляет жажду, и что вода постоянно поступает при помощи внутривенного вливания, за объемом которого она (медсестра) следит. Я вернулся в послеоперационную палату к Ирочке, сменил ей влажную марлю и пересказал слова медсестры Полины Александровны. Ирочка тихонечко переместила руку, положив свою ладонь на тыльную сторону моей кисти: «Даник, спасибо тебе, родной. А теперь поезжай к себе». «А как же ты, Ирочка?» «Я очень хочу спать. А завтра...». Она не досказала, что будет завтра, снова уйдя в сон. Но я понимал, что завтра вернусь к Ирочке и буду с ней, уезжая домой на ночь и возвращаясь к утру, до тех пор, когда она выпишется из больницы. «А после?» Я отгнал от себя мысли о том, что будет после. Надеялся ли я на то, что Ирочка останется со мной? Наверно нет. Надеялся ли я на чудо? Надеялся.

Так продолжалось несколько дней, четыре или пять. Ирочка поправлялась и начала даже ходить по палате и коридору. К тому времени ее перевели в общую палату всего на два человека, наверняка, благодаря хлопотам Рогова. Так эта палата и называлась: *персональная палата*. На второй койке лежала молодая женщина-узбечка с каким-то сложным диагнозом, существа которого ни я, ни Ирочка не могли постигнуть, но болезнь была явно связана с деторождением. Чаще всего она лежала, отвернувшись к стене, и даже не отвечала на Ирочкины вопросы не то из-за того, что находилась в постоянной дремоте, не то из протеста, что она оказалась в далекой северной стране, среди людей, говоривших на чужом языке. Словом, у Ирочки все шло к выписке. Вспоминаю, что за эти несколько дней я так привык к больничной рутине, что с тревогой думал, что же будет дальше, когда Ирочка вернется к себе домой в галерею? В больницу Вадим Алексеевич Рогов приезжал обычно после 8 часов вечера, привозил цветы (каждый день из оранжереи), фрукты, сладости и оставался с Ирочкой час или два, пока она, еще слабая после операции, не засыпала. Я уезжал обычно сразу же после появления своего соперника. Однако в течение получаса, который я для приличия выдерживал, мы все втроем обменивались новостями о наших общих знакомых или обсуждали политические события, которыми к этому времени кипела Москва. Упомянув знакомых, я прежде всего имел в виду нашу компанию, круг друзей, который привиделся мне в полу-

дремоте, когда я дежурил около Ирочкиной послеоперационной кровати. Я, по правде говоря, удивлялся, что никого из них здесь не встретил. Но когда эта тема всплыла в нашем с Ирочкой разговоре, оказалось, что никто ничего не знал об операции: было объявлено среди друзей и знакомых, что салон закрывается на неделю, потому что Ирочка улетает на отдых к Черному морю. Иногда Вадим Алексеевич рассказывал о своих сражениях в совете министров за приватизацию государственной собственности, что напоминало его горячность и энтузиазм в те годы, когда наши кооператорские эксперименты оказывались созвучными теневой экономике, бродившей в глубинах тоталитарного режима.

Так продолжалось несколько дней, четыре или пять. В тот день, как обычно, я пришел к Ирочке около 10 часов утра, после ее туалета и завтрака. До врачебного обхода мы успевали погулять с ней по коридору, поболтать о всяческих пустяках, которые отвлекают от унылой больничной жизни. Я к тому времени стал своим человеком в гинекологическом отделении. Сестры признавали меня за хорошего знакомого, тем более что я не подчеркивал исключительные права, даруемые посетителям *персональной палаты*, а добросовестно подбрасывал медсестрам ежедневные десятки. Обычно Ирочка ждала меня в своей палате, сидя на кровати, одетая в стеганный атласный халат поверх пижамы. В это утро она лежала под одеялом. Последний номер «Нового мира», который я привез накануне, лежал на тумбочке закрытый. Я взглянул на нее вопросительно: «Что с тобой Ирочка?» «Ничего особенного, Даник. Нездоровится. Познабливает с утра. Ах, ерунда! Все пройдет. Не волнуйся!» «У тебя что-нибудь болит?» «Тянет и распирает внизу живота. Подташнивает немного». Я бросился к медсестре. Она измерила температуру, которая оказалась около тридцати девяти. Конечно, ни о какой прогулке по больничному коридору речи быть не могло. Пришел палатный врач, оказавшийся на этот раз тем гинекологом, который первоначально должен был оперировать Ирочку, но потом внезапно заболел, и его заменил ординатор. Меня попросили обождать в коридоре. Через некоторое время в Ирочкину палату вошел торопливыми шагами заведующий отделением в сопровождении нескольких врачей. «Ирочка, Ирочка...», — твердил я, как полоумный, не зная, что произошло в ходе ее болезни, но абсолютно уверенный в существовании опасности, угрожающей жизни моей возлюбленной. Знакомая медсестра вошла в палату и через некоторое время вернулась с каталкой, на которых перевозят больных на процедуры, на рентген или в операционную. Я бросился к ней: «Что они нашли у Ирочки? Что хотят делать?» «Ничего не могу сказать, гражданин. Обращайтесь к лечащему врачу!» — сухим казенным голосом ответила медсестра, которая еще час назад охотно любезничала со мной, ожидая очередной благодарности. Медсестра вместе с каталкой скрылась в палате, а я остался в коридоре, не зная, что предпринять, как помочь Ирочке. Одно было ясно: с моей возлюбленной происходит что-то чрезвычайно опасное. В это время из палаты в коридор вывезли каталку с Ирочкой, окруженной врачами. Я бросился к теперь уже знакомому мне гинекологу: «Что

происходит, доктор?» Он увидел мои сумасшедшие глаза и, поняв, что я доведен до такой степени тревоги, что лучше сказать сразу всю правду, чем хитрить и ловчить, золотая пилюля, шепнул мне: «У вашей родственницы развилось послеоперационное осложнение — гнойный перитонит. Будем ее срочно оперировать». Я отправился вслед за каталкой, на которой лежала Ирочка, ждать результатов операции. На той же скамейке, напротив операционной, сидел молодой мужчина, который на каждый шорох или каждый голос вскакивал и подбегал к дверям, ведущим в операционную. Но никто оттуда не выходил, и он возвращался ко мне на скамейку досказывать свою историю. У его жены в конце беременности развилась тяжелая гипертоническая болезнь с угрозой поражения почек и рождения мертвого ребенка. Так что решено было провести операцию под названием кесарево сечение. Еще через полчаса в коридор вышел кто-то из ординаторов и поздравил молодого мужчину с рождением мальчика. Обняв ординатора, а потом и меня, молодой мужчина начал скакать, как молодой козлик, повторяя несколько слов, среди которых самыми важными были «сыночек» и «цветочек». Наверняка, эти два слова возбудили в молодом мужчине определенный участок головного мозга, ведавший поздравительной активностью, потому что он, воскликнув: «А теперь — за цветами!» выбежал из отделения. Я остался один. Не помню, сколько я ждал, погруженный в оцепенение страха, не осознав сразу, почему рядом со мной оказался Рогов. Вначале мне показалось, что я медленно перелезаю над пропастью. Рядом со мной летит Рогов, а между нами — Ирочка, которую мы держим за руки. Я чувствую, что силы подходят к концу, не только мои силы, но и силы каждого из нас, и что мы оба (соперник и я) повторяем: «Ирочка, держись, пожалуйста, не отпускай наши руки!» В это время дверь операционной распахнулась и, отвяывая маску, в коридор вышел оперировавший Ирочку гинеколог. Распахнувшись улыбкой, он объявил, что операция прошла благополучно. Действительно, у Ирочки подтвержден гнойный перитонит, возникший потому, что некоторые фиброматозные узлы были низко расположены и в шов попала слизистая шейки матки. Большой назначили эффективный, как правило, антибиотик широкого профиля — ампициллин, и одновременно гной послан в микробиологическую лабораторию, чтобы определить, какая культура бактерий вызвала перитонит и к каким антибиотикам эта культура чувствительна.

Два-три последующих дня прошли относительно спокойно. То есть, ничего волшебного в процессе выздоровления не произошло, но и не было причин для тревоги. Ирочка была чрезвычайно слабой, но температура упала, и боли в животе почти не беспокоили. Вполне понятно, что благотворной оказалась сама операция: было выпущено много гноя, брюшина была промыта антисептиками вместе с детергентами, пришлось временное облегчение. Снова я дежурил около Ирочкиной кровати или дожидался в коридоре, когда у нее закончатся процедуры. Рогов приезжал по вечерам, и я оставлял Ирочку на его попечение. Однако, на четвертый день, теперь уже после второй операции, снова наступило резкое ухудшение: температура под-

нималась чуть ли не до сорока градусов. Ирочка металась, просила пить, несмотря на постоянную капельницу с физиологическим раствором, который должен был возмещать недостаток влаги в ее клетках. Временами на волне лихорадки температура внезапно падала. Ирочка обливалась изматывающим потом. Я помню, это было утром, когда в необычное время пришел Рогов, и мы горестно сидели с ним в коридоре, ожидая, когда дежурная сестра оботрет Ирочку. Внезапно Вадим сказал: «Знаете, Даниил, я клянусь вам, что готов отступить от Ирочки, если произойдет чудо, и она поправится». Я поднял на него глаза: «Как странно, Вадим. Я тоже именно об этом подумал. За минуту до ваших слов. Я буду счастлив, если вы на своих руках унесете выздоровевшую Ирочку из больницы. Я клянусь вам в этом, поверьте, Вадим». «Конечно же, я вам верю, Дания», — ответил Рогов. Он смахнул слезы рукавом пиджака. Мы обнялись. Уходя, сказал: «Вернусь в середине дня. Вот мой телефон. Звоните, Дания, если понадобится, срочно!» Рогов ушел. В это время из палаты вышел гинеколог, тот самый, который оперировал Ирочку по поводу перитонита. В руках у него был бланк, исписанный цифрами. «Вот только что прислали из микробиологической лаборатории. Результаты посева гноя показали, что микроорганизм, вызвавший перитонит, это кишечная палочка, устойчивая к практически всем антибиотикам». «Включая ампициллин?» — спросил я. «К сожалению, и ампициллин, — ответил хирург-гинеколог. — Поэтому и не помогает». Я хотел спросить: «Зачем же вслепую назначали?», но сдержался. Проще всего наскандалить, а потом? «Что же делать, доктор?» — спросил я, подавленный неотвратимостью результатов бактериологического анализа, и повторил: «Как ее спасти, доктор?» «Есть только один выход: начать лечить вашу родственницу (он упорно называл Ирочку нашей с Роговым *родственницей*) комбинациями цефалотина с гентамицином. К этим антибиотикам чувствительна кишечная палочка, вызвавшая перитонит у больной Князевой». «Когда вы начнете лечение этими антибиотиками, доктор?» «В том-то и дело, что у нас их нет. Эти антибиотики производятся американскими фармацевтическими компаниями. Они поступают по неофициальным каналам. Сами понимаете: *дефицит!*» Напряженность минут, когда я узнал от доктора название антибиотиков, способных повернуть течение заболевания, была так высока, что у меня мгновенно созрел план действий. Я зашел в палату, сказал Ирочке, что вернуться через несколько часов и выбежал из корпуса, неподалеку от которого за оградой больницы толпились таксомоторы. Я приоткрыл дверцу такси и крикнул: «Шеф, гони на Пироговку в институт новых антибиотиков. Отблагодарю, не пожалеешь!» «Сказано — сделано, босс!» — ответил таксист, и мы помчались на Пироговку.

Для того чтобы мой рассказ показался правдивым и не вызывал подозрения читателей в искусственном нанизывании событий, как будто это не реальные узлы литературного сюжета, а детали конструктора, которые можно соединять и так и эдак, лишь бы тянулась нить повествования, поведаю некоторую предысторию. Много лет назад, более пятнадцати, во всяком случае, когда мы ставили в Коо-

перативном театре пьесу «Короткое счастье Фрэнсиса Макomberа», после окончания спектакля ко мне за кулисы зашла молодая дама лет тридцати пяти-сорока, стройная, напомнившая мне блоковскую Незнакомку. Она представилась Татьяной Ивановной Воскресенской, старшим научным сотрудником Института новых антибиотиков, что на Пироговке, неподалеку от Смоленской площади. К тому времени спектакль «Короткое счастье...» с успехом прошел в Театре на Малой Бронной и был поставлен нашим Кооперативным театром. Я был автором пьесы по знаменитому рассказу Хемингуэя. То есть, почти драматургом с именем. С тысячей извинений Татьяна Ивановна попросила меня прочитать пьесу, которую она написала и в которой клубок противоречий возник между английским ученым Александром Филдингом (его прототипом был англичанин Александр Флеминг, открывший пенициллин) и Зинаидой Ермолаевой (прототип — Зинаида Ермольева), повторившей открытие Флеминга. Название пьесы было «Приоритет». Я прочитал пьесу. Она была несовершенна, но написана талантливым человеком. В это время наши отношения с Ирочкой находились на нулевом витке. Татьяна Ивановна, которая со второй нашей встречи настояла на том, чтобы я называл ее Таней, оказалась изощренной любовницей. Она забегала ко мне на Патриаршие пруды. Мы работали над пьесой, а на прощанье занимались любовью. Муж ее, крупный чин в Министерстве внешней торговли, что на Смоленской площади, бывал в длительных командировках. Помню, что Таня привозила горький шоколад и французские ликеры. Она была сластена. Пьеса была выправлена, передана в журнал «Театр» и в театры. Таня еще иногда извещала меня о судьбе пьесы и даже навещала. Все это повторялось все реже и реже, пока, наконец, совсем не заглохло. Я всегда вспоминал наше с ней сотрудничество с удовольствием, как вспоминают поездки на юг, к морю, к временной свободе и радости. Я решил обратиться к ней за помощью. Правда, я был совсем не уверен в том, что она продолжит работать на старом месте, и, если даже так, захочет ли она мне помочь. Таксист примчал меня к трехэтажному зданию прошлого века с величественным голубым куполом. Сразу возникало ощущение торжественности: храм науки или что-то в этом роде. Мне было не до сравнений. Я молил судьбу, чтобы Таня оказалась на месте. Я взбежал по каменным ступеням, открыл массивную дверь и оказался перед столиком вахтера. С трепетом я спросил его, продолжает ли работать доктор Татьяна Ивановна Воскресенская и можно ли ее увидеть. Вахтер прошелся указательным пальцем по списку, лежащему под стеклом на столике, набрал номер на телефонной вертушке и сказал: «К вам посетитель, Татьяна Ивановна!» С этой минуты все происходило, как в сказочном сне, в котором я, с одной стороны, принимал активное участие, а с другой — был пристальным наблюдателем и летописцем. Татьяна Ивановна была такой же стройной, как много лет назад в дни нашего сотрудничества/увлечения. Белый хаат, скроенный так коротко, что открывал ее красивые, чуть полные ноги, подчеркивал, как и прежде, ее привле-

кательность и загадочность. Конечно, она сразу же узнала меня. Мы обнялись: «Сколько лет! Сколько зим!» Она потащила меня к себе в лабораторию, которая заканчивалась ее кабинетом. По ходу Татьяна Ивановна знакомила меня с сотрудниками, показывала сверхмодерные приборы, каких я никогда до этого не видел, рассказывала в нескольких словах о направлениях ее исследований. Конечно, я воспринимал ее рассказы и объяснения вполслуха, думая только об одном: достану ли я цефалотин и гентамицин. На объяснения, знакомства и демонстрации ушло минут десять, в завершении которых Татьяна Ивановна распахнула дверь своего кабинета. К этому времени я узнал, что в лаборатории занимаются поисками генов, помогающих микробам выживать в условиях антибиотикотерапии. Кажется, скорее из вежливости, я принялся расспрашивать Татьяну Ивановну (она в это время варила кофе) о судьбе ее пьесы «Приоритет». Она рассмеялась, как будто я напомнил о ребяческой шалости: «Ах, милый Даниил Петрович, с этим увлечением покончено лет десять тому назад. Впрочем, как и со многими другими!» Она снова рассмеялась, на этот раз с оттенком веселой грусти, настоящей на самоиронии, как это умеют красивые женщины, вступившие в пору осенних заморозков.

Я рассказал Татьяне Ивановне про Ирочкину болезнь. Она сразу все поняла, позвонила кому-то, попросила меня обождать, пока ее сотрудники поищут нужные антибиотики. Мы выпили кофе, и наступило тревожное молчание, когда кажется, что вся жизнь зависит от нескольких минут ожидания. Наконец, телефон зазвонил. Я весь сжался: вдруг не найдут препараты? Татьяна Ивановна успокаивающе улыбнулась: «Все в порядке! Я схожу за антибиотиками». Она вернулась с большой картонной коробкой, наполненной флакончиками. «Здесь оба антибиотика. Вводить внутривенно по флакону каждого препарата два раза в сутки в течение недели. Если возникнут проблемы, немедленно звоните мне». «Спасибо, Татьяна Ивановна... Таяня!» «Рада была помочь, Даниил Петрович... Даяня!» Она проводила меня до выходной двери. Мы обнялись на прощанье.

Я вернулся в больницу и передал антибиотики хирургу-гинекологу. С этого дня Ирочка пошла на поправку. Курс антибиотикотерапии закончился, симптомы перитонита исчезли, и еще через неделю ее выписали домой. Я продолжал навещать Ирочку каждый день, уходя, как и в больнице, к вечеру, когда меня заменял Вадим Алексеевич. Однажды, когда я приехал, оказалось, что Ирочки не было дома. На телефонные звонки она тоже не отвечала. Так продолжалось несколько дней. Чего только я не передумал за эти дни! Прежде всего, конечно, я боялся рецидива перитонита. Я помчался в Боткинскую больницу. Однако в справочной мне сказали, что никакая Ирина Федоровна Князева в больницу не поступала. Я позвонил Рогову, благо у меня нашлась его визитная карточка. Вадим Алексеевич довольно сухо сказал, что Ирочка уехала в Карловы Вары на воды, долечиваться после тяжелой болезни.



Ее бегство было немыслимой правдой, которой я всегда боялся, но постоянно ждал от Ирочки. Если бы не последующие события, которые, как оказалось, к счастью, захлестнули меня, не знаю, выдержал бы я последнюю измену моей возлюбленной.

Единственной ниточкой была возможность снова позвонить Вадиму Алексеевичу Рогову, узнать, что с Ирочкой. Но внезапная смерть Рогова оборвала и эту возможность. Инфаркт миокарда случился во время одного из заседаний Государственной Думы. Вадим Алексеевич жестко отбивался от нападков слева (коммунистов) и справа (националистов), утверждая, что только свободный капитализм, то есть естественный отбор в духе Дарвина-Мальтуса может воспитать здоровую жизнеспособную нацию, которая почти что задохнулась в спертom воздухе стагнации и готова идти на неминуемые жертвы ради естественного развития свободного общества. Рогова хоронила либеральная Москва. Пришли все наши. Даже Васенька Рубинштейн с Риммочкой прилетели из Барселоны, где они обосновались, купив на новоселье знаменитую местную футбольную команду. Ирочки среди хоронивших не было.

### **Пятая часть. Кулидж Корнер**

Окна моей комнаты выходили на Патриаршие пруды. С высоты третьего этажа открывалась водная гладь, по которой скользили утки-гуси-лебеди. Их эллипсоидные тела огибали желтые октябрьские листья, упавшие на воду. Мне было не до осенней лирики. Ирочка уехала в Карловы Вары и больше не возвращалась. Рухнуло здание нашей любви, которое я надстраивал всю жизнь. Это оказался замок из песка, возведенный на песке. Постепенно я смирился. Тем более что новая жизнь в стране напрочь захлестнула меня. Революция. Контрреволюция. Распад советской империи. Практически свободная эмиграция после жесточайшего преследования евреев-отказников. Дикий капитализм. Криминальные структуры. Заказы на перевод стихов исчезли, как будто бы этот вид литературы и вообще не существовал. Многие издательства открывались, как грибы, выросшие после дождя, и мгновенно закрывались, выпустив одну-две-десять книг. В конце концов, остались самые цепкие. Чаще всего они печатали детективы с участием мафиозных типов, не менее страшных своей узнаваемостью, чем в романе Марио Пьюзо «Крестный отец». Кроме того, издавались так называемые женские романы с сексуальными подробностями, засасывающие читателя прямо с первой страницы. Или романы ужасов с изощренными орудиями пыток и методами их использования. Особенным наваждением стали мемуары о знаменитостях или воспоминания знаменитостей, для чего почти что в каждом издательстве были заведены книжные серии с подзаголовками: «приметы века», «свидетельства эпохи» или «жизнь знаменитых людей». Витрины и прилавки книжных магазинов пестрели названиями сотен книжек стихов, изданных за деньги авторов и публикуемых без элементарной корректуры. Для зализывания кровавых ран, нанесенных культуре и людям культуры, и спи-

сывания миллиардных доходов, по мановению тайкунов организовывались многочисленные премии, присуждение которых было пред- решено литературными приказчиками. Я прижился в одном из новых издательств пестрого профиля, подрядившись собрать антологию русских рассказов о любви, начиная с Николая Карамзина и заканчивая самыми современными публикациями, скажем, Владимира Сорокина. В другом издательстве, благодаря знанию английского языка я заключил договор на перевод двухтомника американского нобелиста Сола Беллоу. Кроме того, постоянно находилась всяческая мелкая работа в газетах самых разных направлений и литературных вкусов, редакторы которых испытывали нужду в профессиональных авторах. Каким-то образом я овладел жанром литературного фельетона, в котором сочетались важнейшие этапы биографии того или иного писателя, переплетающиеся со смешными пассажами из его произведений. Словом, моя финансовая ситуация была не хуже, а во многих случаях успешнее, чем у многих моих приятелей по литературному цеху. В этой бурной литературной реке, которую вернее было бы назвать сумасшедшим потоком современной печати, я сколотил свой плот и держался на плаву, передвигаясь от одной редакции к другой. Одновременно я готовил к печати книгу стихов, которую я сочинил во время моей полудобровольной высылки на Урал. Как только я договаривался с одним из издательств о цене, происходил новый виток девальвации, и приходилось копить дополнительные деньги для издания книжки стихов. Да я и не торопился. Старые стихи (уральские) были мне дороже, а новые — интереснее. Что издавать в первую очередь? Дело шло к тому, что я начинал сочинять стихи, в которых образ героини окутывался дымкой неизвестности, как будто бы все это соединялось в воображаемый образ, в котором постепенно утрачивались реальные Ирочкины черты.

Вот пример одной из литературных тусовок. В одну из тогдашних зим я заехал за Гердом Сапировым часов в шесть. Мы взяли такси и отправились в литературный клуб. Когда-то писательским клубом представлялся только Дом литераторов на улице Герцена с пльнством, бильярдом и чтением в секции поэзии, когда в редких случаях могло пробежать живое слово одобрения или несогласия. Обычно же проводились запрограммированные юбилейные вечера поэтов, занимавших ключевые позиции в секретариате и комиссиях. Мы с Гердом ехали в совершенно иной мир свободного общения поэтов в новой России. Клуб помещался на первом этаже одного из домов на Садовой-Каретной улице, неподалеку от площади Маяковского. Это был в полном смысле клуб с вестибюлем, гардеробом, буфетом и зрительным залом. Все друг друга знали. Герд был очень популярен. К нему постоянно кто-нибудь подходил с приятными словами («Читал твои стихи или прозу там-то и там-то») или новостями о ближайших чтениях в других клубах. Я знал немногих из этой публики в лицо, и меня мало кто знал, узнавал, помнил. Мы прошли в буфет. По крайней мере, это напомнило мне былые годы. Герд заказал водки, которую мы сразу выпили у стойки. Потом я предложил повторить. Интеллигентная девушка-буфетчица, которую я вначале принял за

одну из литклубисток, принесла к водке бутерброды с колбасой, сыром и кетой. Сварила кофе. Мы сели за круглый столик, где буйно гуляли три бородача. Оказалось, что один из них припомнил мою фамилию, подсказанную Гердом. Мы выпили все, что принесли. Бородач, узнавший меня, спросил Герда: «Не угостишь?» Герд пошел в буфет и принес еще водки: для меня, бородачей и для себя. Постепенно градус разговора достиг того же накала, как в былые годы часам к десяти вечера в гадюшнике — Доме литераторов. Иллюзию возврата в прошлое подтвердил голос Герда: «А вот и Архитектор пожаловал!» Я оглянулся в направлении взгляда моего друга и увидел в дверях буфета грузную фигуру в увесистой дубленой коричневой шубе. Это был первый авангардист теперь уже распавшейся страны, правда, официальный авангардист. К нашему тесному кругу подсела дама. Она попросила у Герда в долг триста рублей «до субботы». Герд без раздумий дал деньги. Он и дальше угощал и давал в долг. Позвали в зал слушать стихи. Читали палиндромы. Между отделениями вечера были шумные дебаты в помещении буфета, где мы опять подкрепились водкой и кофе. Все бредили палиндромами и видели в каждом стаканчике водки повод для зеркального повторения. Кроме того, я увидел, как маленький человечек в потертом клетчатом пиджаке насакивает на статного молодого поэта, цыганские кудри которого закрывали шею и плечи. Возможно и даже очень, что и маленький задиристый человечек был тоже поэтом. Иначе, зачем бы им так яростно спорить из-за палиндромов. Публику позвали в зал на второе отделение. Мы медленно шли через вестибюль в зал, когда распахнулась наружная дверь и вбежала красавица в шубе из белых песцов, накинута на снежные палиндромы плеч.

Но это была не Ирочка.

Однажды утром в начале июня раздался звонок. Я пошел открывать. На лестничной площадке около дверей моей коммунальной квартиры стояла Катерина. У ее ног громоздились сумки и чемоданы, а из-за спины выглядывал подросток, в котором я узнал сына Катерины — Борю, правда, сильно выросшего. Не задавая никаких вопросов и не спрашивая о цели приезда, я провел моих уральских знакомых в свою комнату и усадил за стол пить чай. Из разговора с Катериной и Борисом выяснилось, что, конечно, они приехали посмотреть столицу (Кремль, Мавзолей, Манеж, Всероссийский выставочный центр), походить по музеям и просто пошататься по Москве, но главной целью было поступление Бори в академическое медицинское училище, чтобы выучиться на фельдшера. Он и справку захватил из Сиаинской школы, что с отличием закончил восьмилетку. Оба они — Катерина и Борис — выглядели напористыми, целеустремленными, готовыми выпитывать и набирать в карманы и за пазуху московские впечатления — руками, легкими, кожей, глазами. Я убедил себя, что не буду задавать лишних вопросов: как там Клавдий Иванович? Павел Андреевич? Все наши — силинские сослуживцы и знакомые? Видел, что причина их внезапного нашествия скрывается в глубине бойкого рассказа о выборе профессии фельдшера, и еще

глубже — в семейных делах Катерины. Но я этого старался не касаться. Боря хотел поступать в медицинское училище при Академии медицинских наук, прием документов в которое начинался в середине июля. «Там и общежитие дают!» — с азартом заявил Боря. «Да ты не беспокойся насчет общежития. Если вначале примут без общежития, поживешь у меня». «Вы это серьезно, Даниил Петрович?» — встрепенулась Катерина. «Вполне! Боря мне нисколько не помешает. Веселее будет». «А для меня местечко найдется? Где-нибудь за шкафом, чтобы не мозолить глаза?» Я хотел ей ответить, что готов оставить ее и ее сына жить столько, сколько им захочется, хоть навсегда, так измотало меня одиночество. На мгновение я представил себе, как в моей пустующей комнате поселится красивая молодая женщина, восточная красавица, каждый шаг которой будет наполнен пространством нежной эротикой семьи, которой (семейной эротикой) мне всю жизнь не хватало, хотелось приобрести, но не получалось. Как нарочно, или от смущения, что открыла слова, приготовленные далеко на потом, Катерина встряхнула своими черными роскошными волосами, отвела их со лба и засмеялась смущенно, пожалуй что над своей мечтой, обнажившейся так преждевременно. До похода в медучилище с документами оставалось больше недели. Надо было развлекать гостей. Я заметил, что в провинциалах, приезжающих в столичные города, живет неукротимая жажда к познанию вновь открывшегося мира. Даже это не столько жажда, сколько ученическое желание поглощать впечатления. Провинциалы — вечные ученики в столичных городах. Вот мы мчимся на метро до Арбатской площади, шатаемся по улице Арбат, где я объясняю каждую мемориальную табличку, каждый памятник, включая романтическую бронзовую фигуру Окуджавы, которая напоминает мне юного Блока, вполне в соответствии с гипотезой всеведущего Дм. Быкова, увидевшего сходство между непохожими поэтами. Разве что в театральном отношении поэтов к революции и контрреволюции. Как декорация к уличному спектаклю: арбатская аптека, улица, фонарь. Вдруг из питейного заведения под боком у национально-монархического журнала «Москва», выкатив грудь, гордую красным бантом, с пальцем за жилеткой и в кепочке, выпячивается Ленин. И Боря вопит восторженно: «Ленин! Ленин! Ленин!», как будто бы не прошли давно разрушительные Ельцинские времена.

Несколько раз телефонировал Клавдий Иванович, причем, Катерина запиралась в ванной с переносной трубкой и беседовала с мужем, после чего он успокаивался на неделю-полторы.

Были и другие аттракционы, которые я показывал моим уральским гостям, войдя в раж гостеприимства, а из-за ража вообразив себя в роли папаша, обретшего блудного сына. Из-за ража я принял на себя свободное политическое образование Бори. Одним махом моим гостям были показаны зады Третьяковской галереи с моргом убиенных мраморных вождей: чаще всего Сталина и Дзержинского, и других, которые не хотели быть разбитыми бесславно в порошокобразную труху окиси кальция, что подтверждал их полномочный

посланник, покоящийся под сводами Мавзолея. Кстати сказать, если мраморные трупы огорчили Катерину и Борю, Ленин в Мавзолее вернул им доброе расположение духа. Наконец, мы втроем (не правда ли — невинный любовный треугольник как модель семьи?) отпра- вились отвозить документы в академическое медицинское училище.

День был солнечный, легкий, зелено-голубой. От Китай-города по улице Солянка повернули мы к нужному переулку, кончавшемуся Покровским бульваром, и нашли здание училища. Добродушная за- потевшая дама из приемной комиссии предложила Боре подать до- кументы на отделение медицинских лаборантов. Дело в том, что на фельдшерское отделение принимали только с дипломом средней школы. У Бори была окончена восьмилетка. «Соглашайся, Песков, сразу и оформим. Правда, у нас с общежитием трудновато. Придет- ся тебе, Песков, встать на очередь». «Насчет общежития не беспокой- тесь...», — поспешил я успокоить даму. «Алла Петровна! — подсказала она, продолжив. — Занятия, как по всей стране, с 1-го сентября. Но вот у нас еще одно правило. Необходимое условие, что ли». «Какое правило, Алла Петровна?» — насторожилась Катерина, до тех пор скромно стоявшая позади нас с Борей, изображавших послушного сына и любящего отца. Насторожилась Катерина, скромно ожидав- шая чуть в сторонке в своем летнем и праздничном шелковом пла- тье, раскрашенном желтыми и красными крупными цветами. Платье потрясающе гармонировало с ее цыганской гривой, переброшенной на спину, и статной фигурой. «Правило таково: всех учащихся, при- нятых без экзаменов, а у вашего сына отличный аттестат за восьми- летку, отправляем до конца летних каникул в подшефный колхоз», — разъяснила Алла Петровна и отхлебнула чай из толстой зеленой кружки, разрисованной цветами. Кружка была одновременно сим- волом молодости (абитуриенты) и солидности (академическое учи- лище). «Куда отправляете?» — переспросила Катерина. «В подшеф- ный колхоз, гражданка Пескова! Сначала силос закладывать, потом на строительство коровника, а под самый конец — на уборку кар- тошки. Бывает, что и часть сентября прихватить приходится». «Часть сентября?» — глухо переспросила несчастная Катерина, со- биравшаяся провести с сыном летние каникулы в Москве. Я мол- чал. Мне было жаль Борю и Катерину. Но что я мог поделать? И как всегда в неразрешимых, на первый взгляд, ситуациях, в глубине души засветилась успокаивающая мыслишка: «Зато останемся вдвоем!» «Так что поздравляю тебя, Песков, и родителей с поступ- лением в академическое медицинское училище. А завтра изволь приехать сюда к десяты утра. Тебе повезло! В колхоз идет грузовик с продуктами для наших студентов».

День прошел в сборах и покупках, как будто мы провожали нашего сына в армию или, по крайней мере, в дальнюю экспедицию. В магазине «Спорт. Охота. Рыболовство» был куплен рюкзак, а к нему кеды китайского производства, которые теперь дружно назывались кроссовками. Конечно же, рюкзак был мгновенно заполнен всякими, по мнению Бори и при поддержке Катерины, необходимыми веща- ми, за которые я платил все с большим и большим энтузиазмом. Что-

то нарождалось, проклевывалось внутри моей души зрелого и утвердившегося годами одиночества холостяка. Какое-то чуть ли не отцовское чувство, что ли? Мне было приятно ловить каждую вспышку благодарности матери и сына, когда я платил за очередную покупку. Заполнив рюкзак, мы отправились в гастроном на площади Восстания где, обойдя все отделы, накупили массу вкусных вещей: клубнику, черешню, помидоры, огурцы, колбасу, сыр, свежий хлеб, две бутылки «Мукузани», апельсиновый сок и лимонад. Со всеми этими покупками мы отправились ко мне (к нам!) домой на Патриаршие пруды.

Обремененные покупками, радостные, готовые праздновать поступление Бори в медучилище, мы поднялись по лестнице на третий этаж и замерли от неожиданности и ужаса. Под дверь моей квартиры, положив голову на портфель, а портфель — на коврик, спал замдиректора Силинской ветстанции, муж Катерины — Клавдий Иванович Песков. Необходимо отдать должное моим соседям по коммунальной квартире: они как будто не замечали моих уральских гостей. Впрочем, так же, как не замечали когда-то Настеньку и Ингу. После многих лет наблюдений за соседями по коммунальным квартирам (у себя или у моих знакомых) я заключил, что они делятся на три абсолютно разные и ничем не объяснимые (в своем отношении к среде коммунального обитания) категории. Я говорю о внешних проявлениях. Первая категория соседей испытывает абсолютное безразличие к остальным жильцам и их гостям. Вторая — излучает доброжелательность, граничащую с навязчивостью. Третьей присуща склонность и агрессивность. Мои соседи были абсолютно безразличны к моим гостям: заходили те на полчаса-час или оставались надолго. Это было благом! Мои соседи словно не замечали возни, которую мы подняли вокруг нового гостя. Осторожно растолкав Клавдия Ивановича, от которого несло алкоголем, как из пивной бочки, и оторвав от каменного пола лестницы, мы перевели его в мою комнату, где он продолжал спать до следующего полудня и даже пропустил Борин отъезд в колхоз, не попрощавшись со своим приемным сыном. К полудню, когда Боря давно трясся в грузовике среди коробок, бочек, мешков с пшеном, макаронами, сахарным песком и прочими упакованными продуктами, предназначенными для студенческой кухни, Клавдий Иванович проснулся. Не стану пересказывать в деталях момент его протрезвления, который так и не наступил окончательно. Ни я, ни Катерина не могли реконструировать картину дико-запоя, в который, как я предполагаю, впал Клавдий Иванович по пути из села Сила в Москву. То есть я могу вообразить, как он, многократно уговаривая Катерину по телефону вернуться домой в Силу и продолжить временно прерванную семейную жизнь, наткнулся на полный и окончательный отказ. Конечно, я не мог слышать слов, сказанных Клавдием Ивановичем, находившимся на переговорном пункте в далеком уральском селе. Наверняка, он старался убедить, заставить, утратить, прибегая к полному набору юридических терминов и простонародных угроз, потому что из-за ширмы, где поселилась моя желанная гостя и, одновременно, супруга Пескова, доносилось отчаянное: «Нет! Нет! Ни за что!»

Мой адрес Клавдий Иванович мог получить у Павла Андреевича Терехова — директора ветстанции. Или Катерина, уезжая из Силы, дала ему мои координаты, пойдя на простительную хитрость и пытаясь убедить мужа, что вся поездка совершенно невинна и организована ради Бори. Несомненно, она уверила мужа, что вернется не позднее, чем через две недели, как только будут устроены дела сына, и это было от начала до конца святой ложью. Но ведь гремучая смесь лжи и любовной жажды и является основой любой измены. Мы все сделали вид, что ничего особенного (ужасного) в приезде Клавдия Ивановича нет. Навещают же друг друга добрые друзья: вот Катерина с Борей сначала приехали. Теперь Клавдий Иванович пожаловал. Потом все само собой образуется. Не стоит только забегать вперед! Правда, *это делание вида* оказалось еще более искусственным и вызывающим еще большие подозрения, что у нас с Катериной и Борей образовалась чуть ли не семья.

Мы накрывали на стол, а мой гость отмокал в ванне. Почти протрезвев и согласившись пообедать с нами, Клавдий Иванович даже дошел до такого символа всеобщего примирения и надежды вернуть Катерину домой, что вытащил из чемодана флакон духов для жены, новый роман Дм. Быкова «ЖД» для Бори (с намеком на возможный интерес юноши к хазарам как генетическим предкам дедушки-караима) и бутылку коньяка для меня, которую я тут же выставил на стол. Катерина приготовила традиционный русский салат из помидоров/огурцов и заправила его сметаной, в то время как я компанейски разлил по граненым стаканчикам привезенный Клавдием Ивановичем коньяк. Оставалось, как говорится, поднять бокалы, содвинуть их разом и выпить по поводу нежданно-негаданного свидания. После третьего стаканчика коньяка (Катерина предпочитала портвейн) разговор перешел на описание дороги от Перми до Москвы. Причем, солировал Клавдий Иванович. Катерина с полным правом вставляла в разговор отдельные словечки, проделав с Борей тот же путь, незадолго до Клавдия Ивановича. «А буфеты стационарные как преобразились! Да просто рестораны! — восхищался Клавдий Иванович. — Бывало в иные времена — до тебя, Катерина, до тебя дело было! — даже в вагоне-ресторане было везением котлету урвать. Да и то, благодари Бога, если сальмонеллез не подхватишь!» Я кивнул утвердительно. Клавдий Иванович продолжал: «А на полустанках какую дрянь в прежние времена к поезду выносили: пирожки с тубухой, яйца вкрутую да огурцы малосольные. А теперь на каждом маломаальском вокзалишке тебе шампанское с икрой предлагают да пиво голландское с вареными раками! Свободная торговля. Ка-пи-га-лизм! Да что толку-то? Скоро опять все пойдет прахом». Катерина молчала, чтобы не зацепиться за привязчивые вздохи/словечки гостя: «Да что толку? Не в этом беда! Зачем все это!» Я же полураспался под влиянием коньячных паров и накалился от внутреннего раздражения, что нужно терпеть вторжение варвара, делать красивое лицо при плохом раскладе, и, прежде всего, ни на что не отвечать по существу. И как назло вяпался: «А какого толку вы ожидали, Клавдий Иванович?» Катерина незаметно прихлопнула

мое колено. Я сделал вид, что не понимаю ее предостережения, и повторил: «Надо ли во всем видеть особый смысл или, как вы сказали, особенный толк?» «Да, надо! Я утверждаю, что надо видеть порядок и смысл, а иначе, не успев выйти из застоя, все превратится в хаос и безобразие!» «То есть, изменения в стране, по-вашему — хаос и безобразие? А как же вагон-ресторан с разнообразным меню? И богатые привокзальные буфеты?» «Именно это я и утверждаю: сохранить нововведения может только сильная рука!» «Вроде обновленного Сталина?» «Скорее, вроде Пиночета или Хусейна!» «Вы еще царя-самодержца призовите!» — как мог, съязвил я. «Было бы очень кстати! Просвещенная и сильная власть — вот, что нужно русскому народу. А такие, как вы — разрушаете новый порядок!» «Такие, как я?» «Ясно, что не такие, как мы. Нам нужен свой порядок, вам — ваши хаос и безобразие! И уезжайте подобру-поздорову! Но не соблазняйте наших жен и оставьте в покое наших детей!» «Так уж ваших?!» Я больше не управлял собой. Если раньше в Силе, на ветстанции, я понимал Клавдия Ивановича как хитреца, интригана, ревнивца, завистника и т.д., то теперь в его портрете прорисовались черты национал-монархиста нового толка. Он был за обновленное общество со свободной торговлей и беспрепятственным обращением капитала под эгидой русского престола. Нечто вроде феодального капитализма. Это был полный бред, в котором все было сказано с абсолютной определенностью, присущей маньякам, не утратившим способности складывать кубики слов, в картинку, которую не всякий нормальный человек мог разгадать. Вмешалась Катерина: сбегала на кухню и положила каждому по четвертинке жареного цыпленка. Свою тарелку Клавдий Иванович решительно отодвинул, как генштабист убирает прежнюю карту разворачивающегося сражения и меняет на другую, только что обновленную. В подтверждение близкого боя Клавдий Иванович злобно повторил: «А иначе все превратится в хаос и безобразие!», опустошил стаканчик с коньяком и добавил: «Чтобы сохранить новый порядок, России нужна сильная и мудрая власть, которую такие, как вы, не смогут заменить на хаос и безобразие!» На этом мое терпение лопнуло. Я припомнил его мерзкие интриги в Силе, развязанные после моей совместной с Катериной поездки на дальнюю ферму, мой доклад о вакцине против листериоза и нескрываемое торжество моего соперника, когда оказалось, что я всего лишь повторил чье-то открытие. И самое отвратительное — феодальную — да! да! — именно феодальную женитьбу на Катерине. Но тогда (в Силе) я воспринимал провалы сквозь дымку мечты снова увидеть мою королеву — Ирочку Князеву. Теперь у меня не было ни Ирочки, ни мечты. Оставалась единственная надежда — удержать Катерину, которую этот раскормленный варвар хочет отнять. И все же, я нашел в себе силы открыть бутылку «Смирновской» (коньяк мы прикончили) и налить водку гостю и себе, а Катерине добавить портвейна. Я понимал, что тяжело пьянею. И следовал соответствующему правилу: старался оставаться гостеприимным хозяином и поэтому давал высказаться сопернику: «Вы что-то хотели добавить,



Клавдий Иванович?» «Да, Даниил Петрович, я хочу добавить. Ибо, если я не выскажу вам то, что я обдумывал все эти годы, с момента вашего появления в Силе, хаос и безобразия останутся навсегда и будут заражать все, что с ними (хаосом и безобразием) и вами (носителем хаоса и безобразия) соприкасается, подобно тому, как вы заразили хаосом и безобразием мою жену и моего сына Бориса». Катерина опять ушла из комнаты, где мы сидели за обеденным столом, на кухню. И правильно сделала, потому что Клавдий Иванович полностью потерял контроль над своими словами, повторяя между бессвязными фразами о сбежавших жене и сыне угрозы наказать обманщика и соблазнителя — то есть меня. Голос его гремел и разрывался на куски так, что невозможно было ухватить какую-нибудь последовательность в сказанном. Каждый период полубессвязного монолога завершался шрапнельными взрывами кулачных ударов по доскам стола и взвизгиваниями голосовых связок. Удары кулаков и дребезжание подсакаживающих тарелок, стаканов, вилок и ножей сопровождалось рефреном: «Хаос и безобразие!» При этом Клавдий Иванович, прокричав мне в лицо всяческие возможные и невозможные слова, физически не переступал черту, то есть, не переходил кулаками через условную границу на мою половину стола. Катерина несколько раз заглядывала в комнату, подходила к столу и повторяла в лицо Клавдию Ивановичу: «Угмонитесь, Клавдий Иванович! Я вам больше не жена и никогда не вернусь в Силу, в том числе к вам! Я намерена поселиться в Москве и выгнать Бору на доктора». «Поселиться с этим носителем хаоса и безобразия?» — вопрос был поставлен в лоб. Грубо, неосмотрительно (ведь Клавдий Иванович был у меня в гостях), но вполне откровенно. Если раньше в Силе, на ветстанции я воспринимал Клавдия Ивановича как хитреца, интригана, ревнивца, завистника и т.д., то теперь впервые он открылся как опасный и наглый противник, способный не только на отчаянные слова, но и на отчаянные поступки, если я, в свою очередь, не предприму чего-то запредельно дерзкого. Катерина пристально всматривалась в меня, словно впервые разглядывала мою сущность. Клавдий Иванович даже привстал, продолжая держать в руках вилку и нож. Словно подчиняясь не столько своей воле, сколько вопрошающим взглядам Катерины и Клавдия Ивановича, я тоже встал и произнес: «Я женюсь на Катерине и выполняю все обязательства в отношении Бори. А вы, Клавдий Иванович, подпишете документы о разводе и отказе от отцовства».

К вечеру Клавдий Иванович уехал, а через месяц Катерина получила от него подписанное согласие на развод и отказ от отцовства. Вскоре я стал мужем и отцом. Боря учился на медицинского лаборанта. Я продолжал коепечно сотрудничать с редакциями издательств и газет. На эти деньги втроем прожить было невозможно. Если бы не чаевые, которые зарабатывала Катерина, устроившись шофером в приватизированном таксомоторном парке, не знаю, как бы мы прожили эти первые наши семейные годы. К тому же, на скопленные гроши я ухитрился выпустить в одном смехотворно малом

издательстве книжку под названием «Апельсиновый юнга», которую я с гордостью раздаривал приятелям и коллегам по символическому цеху поэтов. Несколько раз Катерина возвращалась из таксомоторного парка с глазами, разбухшими от слез: «Я не могу больше шоферить! Этот хам... пристаёт... ухожу». Оказалось, что хозяин пытался выторговать благосклонность моей жены, обещая назначить больший процент от выручки, которую она сдавала после смены. Мы остались втроем на моих тощих литературных хлебах. Порой целую неделю сидели на хлебе, картошке, молоке и подсолнечном масле. Кроме того, надо было встречаться с приятелями, покупать книжки для нас всех, давать Боре хоть немного карманных денег на развлечения, а Катерине — на покупку парфюмерии и модных тряпок. Однажды Катерина показала мне письмо от тетки Эльмиры, родной сестры Катеринино отца-караима Бузува, которая когда-то жила в Бахчисарае. Тетка Эльмира разыскала Катерину еще в Силе. Они переписывались редко, но моя мудрая жена успела сообщить тетке свой московский адрес. И вот письмо из Америки! Тетка Эльмира со своим мужем Асафом, двумя замужними дочерьми, тремя внуками и двумя внучками поселилась в Бостоне, а точнее, в Бруклине, и вскоре открыла ресторан под названием «Караимские пирожки». «Работы здесь много, — убеждала тетка Эльмира. — И ты, и твой муж будете при деле. Боря продолжит учиться на врача. Вы спросите, откуда взять деньги на учебу? В университетах дают заем (loan). Отдавать (почти без процентов) придется, когда Боря начнет врачебную практику. А врачи здесь много зарабатывают. Почти, как адвокаты. Если захотите, на паях откроем еще один ресторан «Караимские пирожки» в другом месте. Скажем, в Ньютоне. Но это после, когда вы освоитесь. Первое время поживете у нас. Соглашайтесь, и я вышлю приглашение!»

Мы согласились не без сопротивления со стороны Бори: «Опять заводить новых друзей! Здесь я без пяти минут фельдшер-лаборант, а там — все сначала!» Я объяснял Боре, что все предметы, которые он изучал в медучилище, зачтутся в американском университете. Медучилище приравняют к колледжу, и он поступит в тамошний университет на медицинское отделение. Но мальчик не соглашался, а мы не хотели идти поперек его воли. Все решил случай. Однажды, это было ранним летом, Боря провожал после училища свою подружку до станции метро «Чистые пруды». Было то самое время года, первые дни июня, когда все в городе начинает затихать, словно люди, автомобили и трамваи приглушают свои голоса, вслушиваясь в поворот природы на лето. Девушку звали Наташа. Имя, почти символическое в русской литературе, да и в сочинениях современных писателей. Боря рассказывал Наташе об американском научно-фантастическом романе, который он прочитал недавно. Сюжет романа разворачивался в лаборатории, сотрудники которой занимались генотерапией. Поскольку гены контролируют все жизненные проявления организма, врачи-генетики лечили физические и психологические пороки, изымая патологические гены и заменяя их на участки ДНК, выращенные из доброкачественного наследственного

материала. «Знаешь, Наташа, я мечтаю закончить медучилище и пойти учиться на врача-генетика. А ты?» «Видно будет. Я слышала, что с нашим дипломом лучше всего устроиться работать в фармацевтической компании». «Неплохо для начала!» — рассмеялся Борис. Был такой легкий теплый полдень накануне экзаменов, когда знаешь, что еще немного — и начинается бесконечное лето, что сейчас не хочется загадывать далеко вперед, а хочется идти под цветущими липами, разговаривать, останавливаться и целоваться. Вот они миновали театр «Современник». Прошли еще немного и остановились над прудом. Где-то в отдалении, ближе к станции метро вокруг памятника Грибоедову молодые мамы катали свои коляски с младенцами, кто-то спешил нырнуть в метро, кто-то появлялся из огромных желтых деревянных дверей, запахивавшихся / распахивавшихся поминутно. Но все это было в отдалении, и Борис и Наташа, стоя над берегом пруда, видели станцию метро и движение людей вокруг, а сами были скрыты деревьями. «Наташа, ты мне очень нравишься!» — сказал Борис. «А что тебе больше всего во мне нравится, Боря?» «Твои волосы. Они цвета ржи. Знаешь, я родился в деревне, на Урале. Вокруг были поля ржи. Твои волосы такого же цвета, как спелая рожь». «А я тебе нравлюсь?» — спросил Борис. «Да, очень!» «Почему?» Это была риторика влюбленных, ничего не значащая по сказанным словам, и значащая так много по внутреннему смыслу. «Больше всего, Боря, мне нравятся твои горящие глаза». «А еще?» «Твои черные волнистые волосы!» «А еще?» «Ты так похож... ты так похож на Пушкина!» Они целовались и потому не заметили, как из-за деревьев, со стороны, противоположной метро, подошли трое. Они были одеты в кожаные куртки, кожаные брюки и наголо обриты. Один из них оторвал Наташу от Бориса, а двое других заломили ему руки за спину. «Что вы делаете? — закричала Наташа. — Отпустите! Вас в милицию заберут!» «Отпустим, если этот чернокопый пообещает больше не шиться с белыми девушками. Обещаешь?» — спросил тот, кто держал Наташу. «Отпустите ее, а со мной делайте, что хотите», — ответил Борис. Державший Наташу отпустил ее руки: «Канай отсюда и скажи большое спасибо, что тебя не тронули!» Наташа стояла в нерешительности. «Беги скорей, Наташа!» — крикнул Борис. Она не успела ответить Борису. Ноги уносили ее подальше от этих бандитов, по направлению к станции метро, где можно было отдышаться, позвать милицию, попытаться хоть чем-то помочь Борису. Но она, не останавливаясь, проскочила мимо контролера, прыгнула на эскалатор, добежала до платформы и юркнула в подоспевший вагон. Трое бритоголовых ударили Бориса несколько раз по лицу, дали ему пинка и скрылись в одном из соседних проходных дворов.

На этом сопротивление Бори было сломлено. Мы дождались, когда он сдаст последний экзамен, получит диплом фельдшера-лаборанта, и подали документы на выезд в Америку.

Мы поселились в Бостоне, вернее, в прилегающем городе Бруклин. На этом самом месте все мои рассказы о том, где мы поселились, натываются на полное противоречие с московскими или петер-

бургскими понятиями о городе и его районах. Скажем, Краснопресненский район города Москвы. Или Петроградский — в Петербурге. Никакой отдельной Москвы или Петербурга в дополнение к этим районам не требуется. В Америке оказалось иначе. По сути, Бруклин, примыкавший к собственно Бостону, был одним из его районов, а назывался городом. Дальше на запад к Бруклину примыкал город Ньютон. Бостон просто был самым главным равноправным городом нашего штата Массачусетс. Ко всему сказанному добавлю, что Бостон, Бруклин и Ньютон были нанизаны на самую длинную в штате улицу — Бикон стрит. Все эти города вместе с собственно Бостоном, где размещалась резиденция губернатора, сенат штата, Публичная библиотека и прочие учреждения, а также десяток других примыкающих городков, назывались Большим Бостоном. На противоположной от Бруклина стороне реки Чарльза, на острове высился город Кембридж с его Гарвардским университетом, куда приняли на третий курс колледжа нашего Боря. Мы подоспели в США вовремя, в конце августа, к началу нового учебного года.

Семейный ресторанчик «Караимские пирожки», которым владела тетка Эльмира, ее муж дядя Асаф, их дочери и зятя, располагался неподалеку от угла Бикон стрит и Гарвард стрит, который назывался Кулидж Корнер. Это пересечение известных всему городу улиц было готического стиля домом с высоченной, как в рыцарских замках, серой башней с флюгером. Под клоунской островерхой крышей башни тикали готические часы. На первом этаже островерхого дома с башней располагалась аптека, одна из трех в этом месте. Семья тетки Эльмиры, вернее, все три семьи, а включая нашу — четыре, жили несколькими кварталами дальше в сторону площади Вашингтона. Как раз на углу Бикон стрит и Саммит стрит, через дорогу от ресторанчика «Караимские пирожки». Ресторанчик, кроме того, снабжал бостонские русские магазины караимскими пирожками. Дом, который мы все снимали, был двоюродным братом того, что стоял на Кулидж Корнере: островерхие колпаки, готический стиль. То есть, архитектор в дополнение к главному дому на Кулидж Корнере, построил неподалеку деревянную дачу из трех строений-близнецов, соединенных на втором этаже галереями. Там росли цветы, паучь и даже виноград, черных и белых сортов. Две трети этого экзотического дома снимала у хозяина-адвоката наша многолюдная семья, а вернее, наши четыре семьи. Третью часть дома занимал хозяин, адвокат Стивен Мессер со своей семьей. На первом этаже, скорее, бельэтаже, находилась адвокатская/нотариальная контора нашего хозяина. Хозяин дома был необычным адвокатом (Public Attorney), то есть защищал неимущих или малоимущих клиентов, за что штат платил ему, правда, совсем немного. Да и частная практика давала ему не больше. Этим объясняется решение сдавать большую часть дома нашей многочисленной семье. Правда, тетка Эльмира чуть ли не каждый день приносила адвокату, его прикованной к инвалидному креслу жене и дочке по имени Абигал (Аби) поднос, наполненный аппетитными караимскими пирожками. Абигал тоже училась на доктора, правда, поступила она не в Гарвардский, как наш Боря, а в

Бостонский университет. Боря и Аби дружили. Оказывается, бабушка и дедушка Стивена Мессера (адвоката) приехали в Америку из белорусского местечка под названием Борисов, и это давало ему и Аби полное право называть себя русскими. Если по телевизору шла передача, связанная с Россией, Аби звала Борю к себе или прибегала к нам, и они вместе смотрели и обсуждали увиденное и услышанное.

Мы с Катериной купили потрепанный фордик-пикап и развозили подносы караимских пирожков по русским продуктовым магазинам, разбросанным в разных городках Большого Бостона. Конечно, я мечтал возвратиться в литературу, купил компьютер и начал завязывать отношения с нью-йоркскими русскоязычными еженедельниками. Но это пока не давало никаких заработков, и кормили нас в прямом и переносном смысле караимские пирожки. Дело и вправду шло бойко. Мы не успевали загрузить свою *тачку*, отвезти товар в один из магазинов и разгрузиться, как надо было мчаться к тетке Эльмире за новой партией слоеных караимских пирожков для другого русского магазина.

Однажды, по Бог знает кем ведомой случайности, часов в восемь вечера, мы с Катериной оказались дома как раз, когда началась передача вечерних новостей. Боря тоже пораньше освободился из университета. Так что мы сидели за поздним чаем и разговаривали о жизни, что нечасто удавалось сделать при нашей постоянной занятости. Сказать по правде, я не очень-то внимательно слушал ведущего, не особенно всматривался в картинки, которые иллюстрировали слова журналистов из разных точек мира, где происходили горящие события дня (*breaking news*). В это время в дверь постучали и в ответ на приглашение войти вбежала запыхавшаяся Аби. «Вы не слышали невероятную новость?» — показала Аби на экран телевизора. Мы прислушались и посмотрелись. Журналист рассказывал о том, что «...в США некоторое время назад началось следствие по делу арестованных русских агентов (*шпионов*) или, по-нашему, разведчиков, проживавших длительное время в разных городах страны и собиравших секретные сведения в пользу России. По данным следствия, арестованные лица чаще всего жили под видом супружеских пар. Предполагаемые *шпионы* в совершенстве знали английский язык, легко завязывали знакомства среди местного населения и в целом старались сойти за рядовых американцев...» Я слушал слова корреспондента с величайшим волнением, как будто ждал чего-то еще более ужасного. Конечно, сам факт обнаружения русских разведчиков в стране, куда я и моя семья, да и сотни тысяч граждан России фактически бежали в поисках справедливой и благополучной жизни, сам этот факт показался отвратительным. Но это было одинаковым позором для всех нас — выходцев из России. Я ждал чего-то более ужасного и отвратительного в отношении себя. Иногда в качестве иллюстрации показывали ту или иную супружескую пару, против которой американским судом велось следствие. Все они носили типично американские имена и фамилии. Корреспондент местного (Бостонского) телевидения продолжал: «Как следует из материалов дела, оказавшихся в распоряжении журналистов, основной задачей

арестованных в недавнее время разведчиков было налаживание связей среди влиятельных политиков США и вербовка потенциально полезных американцев, а также, наряду с другим, «отмывание незаконных денег» (money laundering) и др. По некоторым сведениям, за продолжительные сроки пребывания в США члены *шпионской* сети установили тесный контакт с несколькими видными деятелями США, среди которых оказались политик, финансист из Нью-Йорка, высокопоставленный правительственный чиновник, ученый-ядерщик и другие».

Еще через неделю-две в тех же самых поздних новостях был показан репортаж с аэродрома Кеннеди, в конце которого, видимо, для подхлестывания большего интереса к Бостонскому телевидению, корреспондент сообщил, что одна семейная пара секретных агентов проживала в Кембридже (штат Массачусетс) под именами Айрис Миллерс и Николас Миллерс. Корреспондент добавил, что все лица, находящиеся под следствием, признали себя виновными и подлежат немедленной депортации в Россию. Показали документальный кадр: среди других пассажиров у трапа самолета с аэрофлотовскими знаками стояла Ирочка рядом с капитаном Лебедевым. Моя возлюбленная все еще была безусловной красавицей: сероглазая, с короткой ультрамодной стрижкой волнистых каштановых волос, со спортивной посадкой головы на длинной шее, перетекающей в стремительную и стойкую грудь. Он был рыжеват, курнос, гладко выбрит, широкоплеч, резок и точен в движениях.

© David Shrayev-Petrov, 2012



## Сергей ПОПОВ

*/ Воронеж /*



\* \* \*

Лишь вскользь отразила витрина  
намеренно резкий прищур —  
весь облик остался внутри, но  
и этого мне чересчур.

Бестолшность рыбьего меха,  
короткий простуженный смех —  
лукавоголосое эхо  
сквозь неумолкающий снег.

Он валит отвесно и щедро,  
живую водой напоён...  
И мёртво смеркаются недра  
пронизанных светом времён.

\* \* \*

пиф-паф и дивизии крышка  
паршивая выпала фишка  
твоим закадычным воякам  
видать не в ладах с зодиаком

созвездья не те над прихожей  
над потной и цыпчатой кожей  
над вечной подначкою к бою  
над маминой минной любовью

над улицей чёрной с балкона  
во время вечернее оно  
где ловит оконная рама  
неброские краски вольфрама

где все полегли без остатка  
и мёртвым на коврике сладко  
и пылью и потом и тайной  
сквозит от картины батальной

и дым ненавистный и пресный  
несётся из кухни воскресной  
и нужно погибнуть с полками  
и нечего жить пустяками

воскреснет ли тот кто не умер  
войдёт ли красив и безумен  
в ожившие сны полковые  
как в омут созвездий впервые

\* \* \*

ох и жребий выпал из обоймы  
миру мира школы и двора  
ветерок забвения напой мне  
про необоримое вчера

жирной мойвы запах вездесущий  
свежей моды клёши и джерси  
танцплощадок ўрочные кущи  
заводное счастье на мази

телевизор полный звёздных башен  
календарь кругом из круглых дат  
и на круг никто вокруг не страшен  
и понятно кто тут виноват

в том ряду не латана прореха  
не видать безусого лица  
по ночам окатывает эхо  
сивого от времени слепца

он теперь шурует без опаски  
поутру нордически прозрев  
и народу впаривает сказки  
про долги дефолт и перегрев

всё олигархически красиво  
в новой объясняется беде  
только небо пасмурно и сиво  
и звезды не высмотреть нигде.

\* \* \*

Обменяет время на копейки,  
отсидев в отделе до пяти,  
и гужбанит с чувством на скамейке  
в конуру родную по пути.

И пока не выстоится сумрак  
до кровавой истовой луны,  
на безлюдье нежится рассудок  
и глаза забвением полны.



Торжество отчаянной свободы,  
волшебство уснувшего ума.  
И хотя не близко до субботы —  
предвоскресной кажется зима.

И пока мороз костей не ломит  
и позёмка душу не скребёт,  
огоньки неведомого ловит  
в темноте заядлый нищеброд.

То ли это блещут изумруды  
в позабытой сказке про царя,  
то ли взоры нового иуды  
по купцам шатаются зазря?

Или проступивши из эфира,  
застывает кровь небытия  
на разломах плавленного сыра,  
и соблазном светятся края?

\* \* \*

Пусть окрест пути-дороги замело,  
наглотавшись валидольных кругляшей,  
гнусным метеоусловиям назло  
старый путаник гуляет не пришей.

Он петляет среди мусорок и льдин,  
молча смотрит на прибрежные дымки.  
То над пивом пригорюнится один,  
то застрянет с рыбаками у реки.

Эта льдистая лукавая река —  
вся в промоинах и трещинах наскрозь —  
так и манит пешехода-ходока —  
оторви его, болезного, да брось.

Он, родной, поотрывался за троих,  
съехал с горки на растресканный ледок...  
А едва глаза прикроет — в тот же миг  
в чёрном омуте окажется ходок.

Там холодный ил времён непроходим,  
там имён непроворотная куга...  
«Покоптим, — пообещает, — покоптим.  
Эка невидаль — иные берега?»

\* \* \*

Виски тереть, во тьму смотреть  
глазами мёртвыми на треть  
от ротной ностальгии.

К утру морочить время вспять,  
ненужное, как буква «ять»,  
как, впрочем, и другие.

К чему она, вся эта речь,  
ведь кровь как прежде будет течь,  
не разомкнув закона.

Мои последние войска  
шумят как волны у виска  
ещё во время оно.

Тупых шеренг обратный ток  
ненаказуем и жесток  
на зорьке языкатой.

Ведь лишь одну команду «пай»  
они и выполнить смогли.  
И то ошиблись датой.

\* \* \*

### *В.Ш.*

на прежнюю пряжу надёжу  
себе не запишешь в зачёт  
сквозь полупрозрачную кожу  
прозрачное время течёт

и ток пробегающий тенью  
неверную кровь холодит  
и воздух подобен растению  
и тень по соцветьям летит

цветы колдовства и удачи  
и парок спокойная злость  
могло обернуться иначе  
но именно этак пришлось

единственно так оказалось  
озябнуть на здешнем ветру  
и самая малая жалость  
навечно забыть поутру

видений ночные громады  
могучую радугу слёз  
невьтертый след от помады  
и хвои венковый начёс

всю жизнь в заревом отпечатке  
на сизом оконном стекле  
небесную тень на сетчатке  
чудесные блики во мгле

## Инара ОЗЕРСКАЯ

*/ Писа /*



### Химеры

*Маие Эйнфелде*

Полдень, суббота, латунная солнечная пыльца на столиках уличного кафе, сиреневые тени зонтиков. Задержанная осень, парное молоко. Середина сентября, а лето длится и длится. Все размыто, неясно, неявно, как на картинах забытых мастеров. Образы призрачной мошкаррой роятся на оси взгляда, куда бы ни перевел глаза. Думаешь себе что-то...

Как двое в кафе думают, не замечая друг друга.

Старый лысоватый мужчина и Уна — блондинка с высоким хвостом вихреватых волос — сидят за соседними столиками. Но не глядят друг на друга.

Как всегда.

Они и вчера здесь сидели. И позавчера. За разными столиками, вполоборота друг к другу. И каждый из них — нечеток, словно смотришь на них издалека или в непогоду.

Химеры, как есть химеры! Свет брызнет из облаков — фигуры высветятся, облако нахмурится — они и погаснут.

Полноватый голубоглазый старик... размыт, рассеян. Подрагивает, сутулится над стаканом. Так и решишь: озноб его среди ясного дня одолеет. Стакан перед ним на столе, но старик не прикасается к стакану. Апельсиновый сок сегодня как-то не пьется.

Мужчина взглядом то вбок мазнет, то вдаль и вверх посмотрит. На небо...

Лето из календарной сетки рыбкой вывернулось, выскользнуло, угрелось здесь, — воображает старик. — Но заплутавший июль уже начал грезить об осенних туманах, и откуда-то из-под земли поднимается зябкая мгла. Невидимая пока, лениво щекочет подошвы.

А женщина вспоминает, как утром долго не вставала с постели. Медленно поднималась на поверхность: мыслей, яви, слов — от подводных течений, песчаных отмелей сна. Который непременно вспом-

нит... Вспомнит сейчас! Хотя бы потому, что именно этот полдень и снился ей три часа назад. Снился последним — в череде ночных волшебных сказок.

Теперь она здесь, не в постели. Но дрема стугутилась в мерцающем теплом асфальте. Расслабляет. И не собрать себя толком. И не хочется. И не надо.

Так легче думать о том, о чем не помнишь обычно: ты вдыхаешь все тот же воздух, что кажется прозрачным, как тонкий голубоватый фарфор у горизонта, тяжелеет лазурью в зените и слонится перелетными облаками вдали, — размышляет старик. — Небо начинается не над тобой, а здесь. Ты сидишь, стоишь или бродишь по дну неба. Ты дышишь им! Каждый день. А сегодня — в полдень, в субботу — ты всего лишь об этом вспомнил.

Но каждый остается собой. Всего лишь собой, никем больше. Вот, например, блондинка...

Чувствует себя здесь и сейчас — бездельницей, ровно настолько голой, что могла бы сказать: «Ты мне нравишься. Очень».

Могла бы, — подумала Уна, тряхнула легкими волосами, глянула куда-то вниз и вбок. — Могла бы, но не скажу. Он и так меня понимает. Всегда. И говорить нам не надо.

А лучше бы и сказала! — досадует голубоглазый старик. То прикасается к стакану, то отнимает руку. — Хотя... я и без того тебя слышу. Даже если молчишь, если язык твоих размышлений тише шороха крови. И ты... Ты тоже слышишь меня? Так скажи мне хоть что-нибудь!

Я в кафе не с любимым человеком, я в кафе со своим псом, — женщина быстро провела рукой по лицу, словно смахивала залетную осеннюю паутину. Встала. — Размяться нужно!

Лохматый черный пес ростом с овчарку посмотрел на нее удивленно и робко — снизу вверх, как на небо.

Я не пугаю тебя, малыш. Сбегать не собираюсь. Я сейчас вернусь, только кофе еще закажу, — думала хозяйка, глядя в миндалевидные карие глаза любимца. — Ты испугался?.. Посиди, подожди меня. Я быстро к стойке схожу, милый!

Как подумала, так и сделала. Взяла кошелек из сумки и поцокала тонкими каблучками во внутреннее кафе. И вправду... быстро! Сизое узкое платье мелькнуло предгрозовой тревогой в проеме.

Пес и не двинулся с места. Так и остался у столика, прынул ушами, покачал головой, но взгляда от дверей не отвел.

Умница ты у меня, — улыбнулась хозяйка, отсчитывая мелочь в полутьме у стойки.

Его ты и спиной чувствуешь, и за стеной понимаешь. Меня так нет! — Старик даже не глянул вслед женщине. Неторопливо приложился к стакану. — Я не помешаю тебе, ты же знаешь. Но псу ты доверять умеешь, а человеку?.. Нет. А отчего?

Да, странно.

Ведь старый мужчина и женщина оба, не стовариваясь, уже с месяц облюбовали это кафе. Дешевое и скверное, надо признать. Не зонтики, а россыпь бледных поганок под запоздалым летним солнцем.

Окраина города, нищета, запустение...

Неподалеку городская психиатрическая клиника. И народ в районе — как на подбор, ходячие иллюстрации к медицинским учебникам. Все в этом мире централизовано, сгруппировано, упорядоченно. Ближе к центру города — публика добротная, стерильная, несомненно нормальная. А объедки общества расплозуются в полную гнилю слякоть вдали от парадных улиц.

Уна медленно вышла наружу. Словно надеется удержать и прохладу, и сумрак, притишие за спиной. Глаза потупила, голову чуть отводит от настойчивого сентябрьского света.

Все ей не так! — обижается старик. — И погода-то — лучше некуда, и поговорить — не лишнее. А ей интересней странное да чепуховое. То телепатию животных ей подавай, то психологию протоплазмы, то болезни... дурные!

Вчера у реки я видела человека, идущего к берегу через пустырь. Долго и вдумчиво идущего, — непонятно к чему вспоминала Уна, под отвесными золотыми лучами продвигалась к столику. — Затрапезный человечек двигался, как в учебниках расписывают: три шага — остановка, два шага — пауза, быстро прошел метров десять — и замер. Зигзаг, еще зигзаг. Потом споткнулся обо что-то, но не упал, удержался на ногах. Нагнулся — серьезно и сосредоточенно, словно исполнял немислимой сложности балетное па, и... поднял моток цветной проволоки!

Мальчишки, наверное, играли в свои непонятные игры и обронили.

Человек пошел себе дальше, не выпуская находку из рук. Поднял, но вряд ли понял, что поднял. А уж зачем?.. Об этом и ясновидцу, найдись таковой, не догадаться.

Не знаю, есть ли ангелы в небе и черти в исподе мира, — Уна усмехнулась, — но и нижним и верхним не достало бы сметки прикинуть, на что старику моток занадобился.

Мм-да. Нейролептики штука сильная, как ни крути.

А зачем ему моток-то?.. — некстати подумал голубоглазый старик. И удивленно поднял брови, глядя в зыбкую пустоту.

Вот уж увольте! — блондинка поморщилась. — Единственное, что знаю наверняка: живет он в пятиэтажке неподалеку. Все мы человечность, как положено, соблюдаем. Потому его из больницы на прогулку и выпустили. Думается мне, месяца через два после начала очередного курса химической мозгодробилки. Он и пижамы не снял, только тапочки на кеды сменил, чтоб до любимой реченьки доластись.

Здесь, в хрущевках у Саркандаугавы, таких, как он — человек десять. У всех и диагноз на лбу написан, и побочные действия препаратов доплясывают свое в тряских руках и жеребячьей походке.

Отбросы.

Шизофреники разной тяжести и продолжительности заболевания.

«Необратимый процесс», как любил напоминать профессор, у которого мне на свою беду довелось лекции послушать. — Бездельница чуть поежилась от воспоминаний. И тепловатый кофе ей, как видно, не поможет. Не тот озноб у нее, чтоб горяченьким да сладеньким его лечить. — Студентам хорошо бы усвоить раз и навсегда: шизофрения — заболевание неизлечимое, бедные люди, конечно, но человек — если ему поставлен такой диагноз — конченный человек.

Надежды никакой, — вздохнул старик.

Потому родственников ни тяжесть последствий медикаментозного лечения пугать не должна, ни электрошок, если пациент доказался до подобных мер пресечения... безумия. Конечно, безумия! Индивидуального безумия, заметьте.

Занятно, об опасности общепринятых мифов тот профессор не рассуждал. Может, и он чего-то не знал?.. Бывает, — голубоглазый старик отхлебнул из стакана, и даже заметил, наверно, что руки у него сегодня слишком сильно дрожат. Не справиться с телом, не удержать себя...

И не надо.

А шизофреники больничной выделки — тема удобная и вполне обкатанная в приличном обществе. Интеллектуальные способности при данном заболевании утрачиваются неизбежно.

Вот о последнем профессор университетской выделки поминал, наверно, с отдельным тихим удовольствием. Ему самому за шестьдесят стукнуло, в его годы риск заболеть сводится практически к нулю. Если дотянул до пятидесяти пяти, то у тебя всего один процент вероятности оказаться посчитанным шизофреником. А дальше...

Разрешается жить без зазрения совести хоть до ста лет!

И рассуждать о болезни. Теперь наверняка — чужой болезни.

Как важна, оказывается, уверенность в нестигаемости собственной психики, — покачала головой Уна. — Не хуже индальгенции времен расцвета испанской инквизиции. Конечно, речь идет о самой дорогой индальгенции — в тридцать золотых! Покупали ее люди весомые и серьезные.

Билет на небо.

Пропуск в рай.

Но я не хочу ни ада, ни рая! Мне не туда суждено... Ты только признай: небо над нами — одно на двоих. Даже если я глотаю холодную ночную воду, а ты маешься от жары. Небо едино, разнятся лишь обороты Земли, да страны-классики, начертанные на карте, как на грязном асфальте. Впору прыгать! Ну почему ты молчишь?.. — голубоглазый старик загрусти.

Сегодня все как-то не так.

Возможно, Уна что-то и понимает. А может, и нет. Не до того ей сегодня. Да и всегда ей — не до фантазий!

Никто и не против, — подумал упрямый старик, хмыкнул и подтянул манжеты искренне белой рубашки. — *Пока* не против...

Итак, хвостатая симпатичная блондинка и длинношерстный эlegantный пес заказали чашку кофе и стакан воды. Как вчера. Как позавчера. И два пирожка с мясом. Заплатила, разумеется, она.

Вечно мне приходится за двоих отдуваться, — цокнула языком Уна. — Нечего было с таким связываться. Меня предупреждали. Проблем, мол, с ним невпроворот, лупает глазами, куда не нужно, на помойках его видят, сбегает порой...

Но ей с ним хорошо.

Мне всегда хорошо с тобой, милый, — подумала и погладила пса по крутолобой черной голове. — Ты-то не призрак и не химера. Я могу смотреть на тебя, я могу к тебе прикоснуться... Когда устаешь, и не по себе, и бессонница. Когда думать больно, а до рассвета еще плавать и плавать по холодной ночной воде.

Сам пес все больше молчит. Зато не мешает. Не то, что прочие. А прочие как раз объявились, — губы старика чуть дрогнули.

То ли усмехнуться решил, то ли сказать что-то надеялся. Но не произнес ни звука. И хорошо...

Мимо летнего кафе медленно прошествовал районная достопримечательность и несомненный красавчик в ковбойских туфлях. Покачиваясь прошел.

Везет же некоторым!

Уна, скорей всего, еще последние сны досматривала, когда *ковбоек* сегодня начал заспиртовываться. А теперь он затормозил, развернулся, снова потопал под выцветшие зонтики. Осмотрелся и явно прицелился сесть за столик блондинки.

Но кому-то незнакомец не слишком понравился...

Пес головой тряхнул, встал и продвинул гибкое, сильное тело между хозяйкой и чужаком. Помедлил, поразмыслил, еще раз тряхнул головой и воззрился на пришельца, как собаки не смотря — презрительно и серьезно. Не зарычал, не оскалился — ни к чему, недостожно.

Зато местный красавчик и сквозь хмель почуял, что...

А ну их к черту — и затрапезное кафе, и краля с ее кобелем! — мелькнуло у молодца. — Пошел я себе, пока чего не вышло...

И пошел.

Недоброе паренёк почуял. Совсем недоброе. Слово кто-то его по затылку треснул. Не сильно, нет. Но вроде как свысока.

*Ковбоек* глянул на небо. На всякий случай. И добавлять виски сегодня зарекся.

Стоило ему отойти подальше, у столика объявилась голодная шавка.

Принюхивается, виляет хвостом. Пока не прогнали. А прогнать придется, — Уна опустила глаза.

Все не так. Не совсем так. Почему ты всегда ждешь худшего?! — про себя негодует старик. — Мне, со стороны, виднее...

К столику подошла огнюдь не шавка, а вполне сносных кровей псина. Кобель, кстати говоря. Сейчас он ничей: тусклая шерсть, проплешины стриженного лишая на боках. Топчий, похож на помесь овчарки с борзой. Недели через две его подберут. И назовут Лордом. И — вылечат. Шерсть отрастет, тело отяжелеет, появится вполне законный ошейник с бляшками об уплаченном налоге и сделанных прививках. Тогда обожаемому хвостатому красавцу с ним играть станет не зазорно, а вполне позволительно.

К тому же, он и сам полукровка. Смесь ньюфаундленда и колли, если пять лет назад новоиспеченную хозяйку на рынке не обманули.

Голубоглазый старик повернул голову, задумчиво посмотрел на женщину, чуть улыбнулся. Но снова ничего не сказал, даже не подумал...

Не смог, наверное.

А бездельнице неожиданно взвить захотелось! Правда, не от жалости к бездомному псу...

Ей вспомнилось: недавно сама ни слова не сумела сказать. После концерта. В церкви.

Ничего не смогла сказать человеку, сидящему рядом с ней.

Хотя должна бы... Но тогда показалось: словам здесь не место.

И места им не нашлось.

Литургия в соборе тасовала воздух как колоду карт: выгнула, пролистнула, подбросила, расстелила над церковной скамьей. Подбросила снова! Картинки замелькали — неясные, неявные, как шепот на рассвете, когда боишься разбудить чужих, а своих нужно поднять с постели.

И различила ты дверные проемы — замысловатые, манящие. И вошла... — опять принялся фантазировать старик.

Уна нахмурилась.

Двери выстраивались друг за другом, ты проходила по анфиладам, где на стенах картины. Ты что-то узнала, почти поняла, но... проскользнула мимо! Слишком быстро все в этом мире, — размеренно воображал себе старик. — Я-то знаю — даже оглянуться нельзя: а вдруг не картины на стенах, а зеркала? И ты ли в них отразился или то, что любил, потерял, хотел вернуть? Хотя бы уцепиться взглядом за воспоминание!

Похоже, вечерний сквозняк в соборе слишком силен тогда оказался, и Уну несло себе дальше.

Стая птиц взлетает, но медлит, и сердце болит...

Центральный неф церкви исчез, стена схлынула, распятие распорилось в сумраке — кусочек сахара в темном горячем чае. А сам ты — пропала.

Даже дышать страшно, — вспомнила Уна. — Страшно вспугнуть!

Что вспугнуть?.. — недоумевал старик.

Все, что до меня, наконец, дотянулось, — блондинка закрыла глаза.



Такое с тобой и раньше случалось?.. Случалось! — неожиданно понял старик.

Голубоглазый бездельник в искренне белой рубашке на сей раз не смог усидеть на месте. Встал, передвинул стакан с недопитым соком, прищурился, и принялся прохаживаться меж столиков: от соседки — назад, к собственному стулу — и опять...

Неумолимый маятник — в наш век — от Эдгара По.

А вот Уна... как не видела соседа прежде, так и сейчас — в упор не видит! Хотя глаза открыла давно.

Зато пес на старика посмотрел, поразмыслил и решил прилечь между ним и хозяйкой — на всякий случай. Голову на лапы положил и глядит на беспокойного ходока — снизу-вверх: задумчиво, насмешливо и устало.

Пожалуй, на небо так не глядят!

Похоже, мы видим разные сны, милый, — подумала Уна и налила псу в блюдце воды. — Но ты не бойся... Только сон разума порождает чудовищ. А ты — умница у меня, даже когда мерещится тебе пустое. Ну, не с рогами, не с клыками же химера? И ростом — не в полнеба? Так что... можно и потерпеть!

А старик все ходил между столиками да припоминал...

Пять лет назад тебе захотелось взять у женщины-композитора интервью. Ты приятеля-музыковеда попросила вас познакомить. Если не в труд.

Помнится, ты уселась на скамье в Домском соборе, музыковед наклонился и заговорщицки так добавил, что познакомит после концерта, а покуда...

— О-о! Она рядом с вами сидит!

Изумился, да, но голоса не повысил. Наверное, самому забавно стало, как симметрично и аккуратно все складывается.

И ты пользуешься своим выгодным положением: вы еще не представлены друг другу, ты невидима для нее. Ведь композитору сейчас определено не до соседей по скамье, как и не до всего прочего.

Но ты держала соседку в ловчей сети бокового зрения. Словно не все рассмотрела...

А ведь не так все!

Пожалуй, ты даже поняла, что произойдет иное, только не знала, что именно.

Произойдет...

Женщина рядом с Уной протянула руку и взяла у соседки справа — родственницы или подруги — конфету.

Понятно, еще бы не понять!

Но когда зазвучала музыка, Уна поняла, что оказалась не там и не тогда.

А давным-давно в березовой роще на окраине города. Ей лет десять, не больше...

И роща небольшая.

Так, полупрозрачная вуаль из старых берез. Непонятно, как вообще сохранилась, с тех пор, как ее надвое перерезало шоссе. Но всегда, пожалуй, здесь высился забор — решетка, за ней сад. А в глублине — интернат, музыкальный интернат для детей из провинции.

Детки в клетке.

Им даже окраинные оборвыши сочувствовали. Те, которые коктейль из ацетона и черничного варенья, стыренного в чужих подвалах, оценить могут, а вот штудии редких зверенышей за зеленым забором — нет.

Зато я могла, — блондинка в затрапезном кафе сейчас не сомневалась. — Почти... могла.

Музыка — тайна, изнанка речи. Сон вровень с явью, перелетная паутина. Не схватывается, не вмещается в укороченные одежды слов. Пусть уж летает себе без цели, без особых на то причин, — голубоглазый мужчина задумчиво качал головой на ходу. — Музыка — дается. Где-то обочь тебя, над тобой, в тебе самом. Необязательная, тише шороха крови.

Уна в детстве подошла от нечего делать к забору и всмотрелась вглубь сада. Исключительно ради собственного удовольствия рассматривала кусты, несколько отбившихся от рощи берез, яблони... темные, с гладкими зелеными яблоками, которые, кажется, никогда не созреют.

Просто так — яблоки, несъедобные даже на вид.

А потом девочка поняла, что замечталась вконец. И не заметила: кто-то наблюдает за ней, глядящей в сад. Кто-то, стоящий в тени деревьев.

Облако проплыло мимо солнца, лучи высветили сад, нанизали его на широкие плоские струны...

Уна вдохнуть от изумления не успела!

И я теперь вижу: тебя — десятилетнюю в драных кедах — по одну сторону забора, и твою чистенькую худышку-ровесницу — по другую, — старик прищурился. — Банально все, классики на асфальте. Пора прыгать! Все предсказуемо... Тебе придется отступить от забора, как и любому наблюдателю, застигнутому врасплох. Нечего глядеть на чужую жизнь! Как, впрочем, и мне — нечего листать чужие воспоминания. Но так уж вышло...

А девочка с Уны глаз не сводила.

Ты не знала, как поступить. Действительно... Не стоять же у забора! Глупо, — старик едва не рассмеялся вслух, но сдержался. — Никогда прежде ты не смотрелась в такое лицо — бледное, с полупрозрачной кожей, словно подсвеченное изнутри. Волшебный фонарик в ненужном саду, под бессмысленными яблонями, рядом с отсыревшим каменным монстром.

Полубезумный маятник в летнем кафе прав, конечно...

Интернат из детства Уны походил на брошенную великаном ковригу, несъедобную ни для людей, ни для богов. Если боги сюда все же наведаются.

А почему бы и нет?.. — вскинул голову неутомонный ходок.

Но не тогда.

Тогда наступил твой черед сглупить, — догадался мужчина, искося глянул на блондинку, но не на пса, хотя последний смотрел на него неодобрительно, не отрываясь. — Все же — сглупить, иначе не скажешь.

Но нельзя повернуться и просто уйти! — Уна в рассеянности требила рыхую салфетку. — От таких лиц не бегут, они хуже зеркал, кажется, солнечный лучик переломился в глубине, скакнул на тебя... Щуришься, а закрыть глаза не можешь! И смешно немного. И вспоминаешь, что в правом кармане у тебя конфета.

Некстати вспомнилось: конфета.

Уже два дня в кармане, а ей удалось уцелеть. Редкость!

И девочка не придумала ничего лучше, вытащила конфету из кармана и протянула руку между решеткой и железным столбом — на ту сторону забора? — в сад, незнакомке.

А яблочный эльф из интерната взгляд от моего лица отвела, на руку посмотрела, потом снова на лицо, и опять — на руку. Вверх — вниз, вверх — вниз, все шире распахивая глаза. И понятно уже: испугалась. И совсем непонятно... чего испугалась? — Уна прикусила губу. — Испугаалась... Конфеты? Незнакомой девчонки? Старых с травяной прозеленью брюк? Потертого рюкзака?

И не хочется вспоминать, а придется! Ты протянула конфету, а она убежала, — торжествовал в душе старик. — Вот и все!

Нет, не все! — разозлилась Уна. — И потом — непонятно и больно... ночами, когда считаешь баранов в бессонницу, а это не помогает. И все думаешь: чем я не хороша для девочки за забором?..

А чем я не хорош для тебя?.. Ты ерунду вспоминаешь сегодня! А мои разговоры — не про тебя? — Старик решил на что-то. Застыл неподалеку от столика блондинки и вперился тяжелым взглядом ей в переносицу.

Уна вскочила.

А ну его... и затрапезное кафе, и скверный кофе.

Мальчик мой, пойдём-ка мы домой, — непреклонно решила блондинка и торопливо сдернула сумочку со спинки стула.

На красавца-друга ей и смотреть не стоило, понятно: пес тоже вскочил, отряхнулся, разувлибался во всю пасть и несомненно намерен... домой! Домой! Домой!

Мимо старика Уна процокала быстро, ладно, не поворачивая головы.

Зато пес — добежал до голубоглазого зануды, поднял голову, принялся... и ступил как раз туда, где ему нечто надоедливое — на его, собачий, взгляд — мерещилось. Здесь пес замер, упрямо почесал себя за ухом, и даже чихнул — для полной ясности!

А после догнал проворную хозяйку в два прыжка.  
 Дальше они двинулись вдвоем — прочь от кафе, петляя по парку, не оборачиваясь, не оглядываясь — еще чего!  
 Да и незачем вроде...

Любой теперь разглядит: выцветшее кафе, никого здесь — ни псов, ни умниц, ни химер.  
 День кренится к вечеру. Окраина города. Нищета, запустение.  
 И городская клиника...  
 Вдалеке.

А районный красавчик хотя и не приложился больше к спиртному, но так вовек и не вспомнит: что же с ним такое приключилось после полудня? Воды, вроде, газированной купил, захотелось. И долго на стеллажах магазинных что-то еще искал... Вот! Нашлось! То же — купил. И после куда-то брел себе с плоской цветастой коробкой. И хлопнул он дверью подъезда, в котором не жил никогда. Задержался в подъезде недолго. Сделал там что-то и... вон!

Вон! — приказал голубоглазый старик. И где-то в невыносимой дали — поджал губы.

А ковбоек сумел дойти лишь до далекой старой шашлычной, поискал забор попристойней и улегся под ним... До утра.

До тоскливого злого похмелья.  
 До бисерного дождя.

Уна с ним не столкнулась больше.  
 Разумеется! — старик улыбнулся.

Блондинка вошла в подъезд, вытащила ключи, первым делом, по привычке отперла почтовый ящик... И длинная блестящая коробка конфет выскользнула под ноги.

Пес посмотрел на хозяйку чуть иронично и затрусил поскорее по лестнице вверх, домой. Пусть уж сама разбирается!

Целой коробки конфет мне многовато, — подумала Уна. — А впрочем...

Стоит ее поднять, дойти до своей квартиры и приготовиться к тому, что и сегодня не получится заснуть.

Мне ведь не пятьдесят пять, не шестьдесят и не семьдесят... А мне придется думать о том, что понять невозможно! — Блондинка положила конфеты на стол и едва не заплакала.

Не иначе, опять вспомнила ходока с мотком проволоки у речки. А может, и смутную говорливую химеру в кафе вспомнила?..

Да нет же, нет! — Уна скинула туфельки, прошла босиком.  
 Жизнь разграфлена на классики, впору прыгать.

Здесь каждому — свой шесток. Кому-то — преуспевать в пятом ряду мужского хора преклонного возраста. Кому-то — пожизненно не доверять здравости собственного рассудка в убежденно безумном мире.

Слез не удержать.  
 И часы здесь безбожно врут...

Да, часы здесь безбожно врут. И — слезы... — Голубоглазый старик потер глаза, прошелся по ночной комнате. Не загрустил, но призадумался. — У нас достаточно причин, чтоб заметить: океан воздуха, на дне — ты сам, люди, собаки, дожди, книги. И музыкальные фразы, и тени деревьев. Коридоры памяти, песочные замки и собор Парижской Богоматери. У нас на двоих: и запах сирени — у меня под окном, и разбитое соседским мальчишкой — твоё окно.

Уна поняла старика. Конечно. Не могла не понять.

То ли слова ввечеру яснее, чем в полдень в кафе, то ли коробка конфет утешает...

Нет, не утешает, — тряхнула головой блондинка и едва не зарычала. — Мы делаем всего шаг вперед от непросыхающего *ковбойца* с пьяными снами и от омылка человека на пустыре. Так чем же мы лучше?!

Да ничем, — пожал плечами старик, поднял голову и посмотрел на смурное предрассветное небо за своим окном. — Нам тесно в мире. Один размывает стены спиртным, другой — кислотным дождиком бреда. А мы... делая шаг, миновали страны, моря, лживое время. Да можно и мир натянуть, как перчатку! У меня получилось, не так ли? Так! И конфеты сегодня ты все же взяла. Ты смелее девочки за забором!

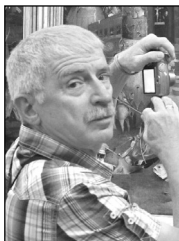
Не утешают, нет, не утешают конфеты. — Уна сама внезапно уподобилась безумному маятнику и принялась расхаживать по комнате из угла в угол, как заведенная. — Мы сами — бред и химеры!

Права блондинка. Права, несомненно. И ошибается... наверняка.

Старик засмеялся.

Пес потянулся в дреме.

Тишина...



## Рафаэль ШУСТЕРОВИЧ

*/ Римон-ле-Цион /*

### Скажи «невозможное»

\* \* \*

Не правда ли — там мадонна,  
А за плечом — Тоскана?  
Не правда ли — монотонно  
Кисть порхает, лаская

Пейзаж и просцениум, зная,  
Что там, за плечом, Тоскана —  
Холмистая, полевая,  
Ни божия, ни мирская?

Тоскана, плечо мадонны,  
Окно, скала, Тразимено,  
И мимо движутся, конны  
И пеши, и неизменно

Тоскана, вино и небо,  
Скала, и башня, и речка,  
И все эти пере- и недо-,  
И два небольших человечка

То в ссоре, то в поцелуе,  
И всё за плечом мадонны,  
И в речке прозрачные струи,  
И в виноградниках склоны.

### Неожиданный гром

неожиданный гром  
на небе втором  
неожиданный слом  
на небе седьмом

облака повышенной жирности  
 есть и ещё неожиданности  
 и вообще наверху  
 затевают уху  
 неведомые рыбаки  
 у неведомой верхней реки

## Ненависть

И ненависть — мелодия. Её  
 выводит голос заунывный  
 с метафизических высот:  
 он пробует крещендо,  
 потом снижается почти до шипа —  
 и снова набирает высоту,  
 окрестностью овладевая,  
 расходится жиреющей волной,  
 подобно опьянённому цунами  
 и всплеску взрыва, он уходит  
 за горизонт — и возвращается оттуда,  
 набравшись новых, небывалых соков  
 в безвестных даях. Слушайте, внимайте.

## Иллюзии

### три стихотворения

|

Вечность — псевдоним  
 Зависти к камню, к породе  
 Излившейся. Рядом с ним  
 Оказываешься пародией —  
 Мягкими тканями, остовом,  
 Как положено — островом  
 (Обладающим остротой восприятия).  
 Безнадёжное предприятие  
 Эта зависть: к базальтам, гранитам, известнякам,  
 Однолетним сухим колоскам,  
 Папоротникам, разворачивающимся из-под капюшона,  
 Голосемянно глядящим, отрешённо  
 На всё произошедшее со времени их «В начале».

||

Восстания масс недобитый ропот  
 Высокую ноту берёт.  
 Дистанционно движимый робот  
 Вползает в недобрый дот.  
 Здесь рифму «Бродский — бомбардировщик»  
 Подправят решительно: «беспилотник».  
 Пускай на закат убегает плотник,  
 Но плотник своё возьмёт.

## III

Я смотрю на творимое — и не пойму:  
 Брат ли я сторожу моему,  
 Или мы разных таксонометрий,  
 Несовместимых бессмертий?

**Жабры**

Лосось осёдлый бесконечно рад  
 Цедить метафизический субстрат  
 Из пряной переменной воды,  
 Где, что ни вечер, близко до беды.  
 И каждый вдох — удача, торжество...  
 Но сколько грязи в жабрах у него.

**Ил**

Бюст Цезаря везут по реке на барже.  
 Цезаря нет среди живых уже,  
 Но бюст по реке везут:  
 Обычный для бюстов зуд

Экспансии. Весть не дошла пока;  
 Тянется мраморная рука  
 К дальним портам на краю земли,  
 Там, куда бюст везли.

Цезаря, ведомо, предали друзья.  
 Их имена поминать нельзя  
 Сопровождающим казённый бюст.  
 Туман по-над Роной густ,

Густ и мутен придонный ил,  
 Где мрамор свой пыл остудил.

**С новогреческого**

Падение всесильного министра  
 не обошлось без предзнаменований,  
 хотя они героя не смущали:  
 он был несуетен и циничен.

Король списал долги, и даже прибыль  
 учёл, министру тайно дали смьгься  
 за тридевять земель, поскольку рук  
 поганить суверенам не пристало.

Министр, отвечая на вопросы  
 досузей прессы Тридевятьземелья,



с усмешкой молвил, что задумал мемуары,  
которые напишет на том свете,  
едва освоится. Пускай теперь и пишет:  
читатели их, несомненно, ждут.

## Отговор

Благодетель дел, не знающий  
Ни зла и ни добра,  
Не смей меня выламывать  
Из этого ребра.

Тебе приходят в голову  
Дурные чудеса,  
А голова моя ещё  
От помыслов чиста.

Твоя работа сделана,  
Тебе к другим пора —  
Не смей меня выламывать  
Из этого ребра.

## Сиреневый сад

Ночные сады, где царит Рио-Рита,  
Черновики недалекого рая,  
Где кружится юная, юная свита,  
Пеаны и лины свои распевая.

Сады сиреневого тумана,  
Сады черёмухи и жасмина,  
Где турман рад нырнуть для тирана,  
Из тьмы выбирая юные спины.

Всё меньше, меньше, всё дальше, дальше  
Садово-парковая архитектура  
Эстрад дощатых, оркестров фальши,  
Повязок с надписью «комендатура».

Толпой у парков, толпой у трона,  
Кто выжил — преданные награде,  
И вам стоять спиной к Ахерону,  
Обороняя последние пяди.

## Game room

В болотах у нас затевается что-то,  
где ряска, частуха, камыш и анр.  
Пора выбираться гуськом из болота  
в заветную комнату, комнату игр.

Не то чтобы просто стрелялки-бродилки,  
хотя не без этого, не без того.  
Ура, в голове набухают опилки,  
а это и ценится прежде всего.

Зови же Гефеста, зови же Фальстафа,  
над бездной лихой распевай йо-хо-хо,  
играй в бильбоке головой Голиафа  
и складывай легио из глыб Йерихо.

Цепные разматывай головоломки,  
дерзая по краю плясать налегке,  
как предки играли, как будут потомки —  
чужой головой на лулу в бильбоке.

Приходят горой в многоцветной коробке  
и чем ни новей, тем верней на ура.  
Как нынче легко нажимаются кнопки.  
Ура, увлекательна эта игра.

## Неведение

мы хотим пребывать в неведении  
о неведении противоречивы сведения  
то доносят там облака и кущи  
где намного лучше  
а не то лютый холод не то лютый жар  
то оно плесневелый подвал то шар  
о четырёх осях вращения  
мы в неведение  
мы за столбы просвещения  
хотим организовать посещение  
мы в неведение  
на черта нам сведения

## Infinitive

Скажи «невозможное». И повтори: «невозможное».  
Скажи «неизбежное». И повтори: «неизбежное».  
Вот видишь, мой друг: предприятие это несложное.  
Но ясно уже — не такое оно безмятежное.

Скажи, о скажи. То, что сказано, не повторяется,  
Порхнуло — и нет, ведь ему так немного отводится.  
Побудь... — ускользает, бежит, пропадает, теряется.  
Но где-то, но где-то оно пребывает, находится.

# Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

*/ Кёльн /*



## Трапезы теней

*На кухне вымыты тарелки.  
Никто не помнит ничего.*

Б. Пастернак

### **Часть I. Путешествие вокруг Африки на трамвае «А»**

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Живу в отчаянии.

Хочется писать.

О чем писать, пока не знаю.

Как писать, тоже пока не знаю.

О чем хотел, уже писал.

Как хотел, тоже уже писал.

Тот, кто пишет, всегда тоскует, если хочется и не пишется.

Пушкин тосковал. Лев Толстой.

Женя Малахов, приятель Володи Наумца, писал книгу о том, как не пишется книга.

Не написал.

Володя Наумец, хороший художник, говорит: нужны высшие помощники. Если помогут, напишется; без них — хотеть мало.

На бытовом уровне ожидание «помощников» словесно обозначается парадоксом: *книга пишется сама, когда ее не пишут.*

Отчаиваюсь, оттого что не пишу книгу, которую, может быть, пишу.

2

Лев Толстой говорил: чтобы начать молот, мельница должна набрать воды.

После «Войны и мира» он долго и основательно собирал материал для романа о Петре Великом. Но однажды, вроде бы случайно, заглянул в прозу Пушкина — и принялся за «Анну Каренину». Оказалось, мельница набирала воду для другого хлеба.

Это про своеволие «помощников».

3

Главный русский роман о Петре написал другой Толстой.

Интересно, взялся бы «третий Толстой», как именовали этого другого, за своего Петра, если бы до него написал «первый»?

«Войной и миром» Лев Николаевич сильно притормозил появление позднейших романов о 1812-м годе.

4

«Ах — нет Пушкина! Как бы он был весел, как бы он был счастлив, и как бы стал потирать себе руки...» Это, читая «Войну и мир», пишет автору Михаил Петрович Погодин, писатель и историк, знакомый и Толстого, и Пушкина.

Пишет через сорок лет после смерти поэта.

Но кто его знает, стал бы Пушкин руки потирать или нет.

У Пушкина, в отличие от Толстого, свой — *дотолстовский* — Двенадцатый год.

Вот ведь и князь Петр Андреевич Вяземский, в позднюю пушкинскую пору коривший и «царапавший» друга-поэта слева, сорок лет спустя не принял «Войну и мир» справа: обиделся за «олимпийцев 12-го года» (сам некогда участвовал в Бородинском сражении), увидал в книге Льва Толстого «школу отрицания и унижения истории».

Пушкин остро чувствовал, вокруг и в себе, деятельную силу Времени:

Уж десять лет ушло с тех пор — и много  
Переменилось в жизни для меня,  
И сам, покорный общему закону,  
Переменился я...

Да и Погодин, девяти месяцев не ушло, перебежав от восторженного письма к газетной статье, соглашается с Вяземским, пеняет Толстому за «опрометчивость и самонадеянность, непростительную и великому таланту».

5

Пушкин часто повторял: «Всё перемелется — мука будет».

6

Набирая в мельницу воду, Толстой выписывал пословицы из Сборника Даля.

Первая пословица, своеобразно сверкнувшая в «Войне и мире», — про искусника и бережливаца, который на обушке рожь обмолотит и зерна не обронит.

У Гоголя была любимая пословица — на ту же тему: «Каков искусник! На говне вошь убьет и рук не замарает».

## ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Так вот — про Африку.

2

Про Африку хорошо пишет мой друг Алеша Букалов, журналист-международник и пушкинист.

Его книга «Пушкинская Африка» начинается так:

«В один из февральских дней 1974 года наш маленький автомобильный «караван» медленно продвигался всё дальше и дальше на север Эфиопии. Судя по карте, мы уже пересекли пятнадцатую параллель, и, стало быть, еле заметный ручей под мостом — река Марреб. Остановились у большой акации на развилке дорог. Было тихо, солнце клонилось к закату, тени стали длиннее, и высокие горы на горизонте покрылись легкой дымкой. Позади осталась бывшая эфиопская столица Гондар, с круглыми башнями средневекового замка императоров из династии Фасилидэсов. Здесь, на границе с Эритреей, воздух тоже, казалось, был пропитан не пылью, а самой историей».

В отличие от большинства исследователей биографии Пушкина мой друг Алексей Букалов имел возможность посмотреть на материал исследования с моста через реку Марреб.

3

Сам Пушкин, как и большинство его биографов, полагал, что его черный прадед Ганнибал родом из Абиссинии, по-нынешнему Эфиопии.

Но вот, совсем недавно, появилась иная — сенсационная — версия, согласно которой родина предка — Камерун.

Версию выдвинул и обосновал бенинский ученый Дьедонне Гнамманку.

(Владимир Набоков задолго до того искал на карте Африки для Ганнибала другую родину.)

Камерунская версия смотрится убедительно и манит к себе всё больше сторонников.

Эфиопам это, понятно, не нравится. Они привыкли гордиться родством с великим русским поэтом.

4

Африканские земли спорят, чей Пушкин; в России пушкинские земли распродают. Распродают земли вокруг Святых Гор, несколько десятилетий именовавшихся Пушкинскими (в обиходной речи — Пушгоры) и от этого еще более святых. Таня Никологорская, поэт и очеркист, неусыпный и безуспешный (а какой еще может быть) борец за красоту, духовную и земную, которая (еще надеемся) спасет мир, рассказывает в журнальной статье про расставленные по святым пушкинским местам дощечки с надписью «Продается земля». Кольшки с дощечками крепко забиты в пушкинскую землю перед въездом в Бугрово по дороге из Святых Гор в Михайловское, и возле городища

Воронича, где Пушкин трудился над трагедией о царе Борисе, и в Петровском, куда поэт наезжал к двоюродному деду («деду-негру»), сыну царского арапа. С толстым кошельком отчего не пристроиться соседом к Пушкину? С *Онегинской* скамьи сможем любоваться, пожалуй, выросшими по обе стороны *ветхой лачужки* поэта, неприметно укрытой в *глуши лесов сосновых*, могучими крепостными резиденциями какого-нибудь газо-нефтяного трубача и водкогонного магната.

«Дикий капитализм» — одним словом, но с разными интонациями, объясняют происходящее веселые находчивые и унылые нерасторопные.

## 5

Чеховский «Вишневый сад», кажется, вырос на полутора страницах «Анны Карениной». Эти полторы страницы притаились в главе о губернских дворянских выборах и подчас не слишком приметны для свежего читателя, торопящегося за развитием сюжета. На выборах Левин встречает знакомого помещика. Беседуют об оскудении дворянства. Многие помещики продают родовую землю купцам; купцы вырубают вековые рощи и сады «на лубы и струбы», сдают землю в аренду, ставят на ней дачи. «Но почему же мы не делаем, как купцы? На лубок не срубаем сад?» — спрашивает Левин. «Да вот, как вы сказали, огонь блюсти. А то не дворянское дело...»

Про *огонь* Левин сказал раньше, противопоставляя себя и собеседника расторопным предпринимателям: «Так мы без расчета и живем, точно приставлены мы, как вестаалки древние, блюсти огонь какой-то».

В общем-то, в этом суть: *огонь блюсти*.

## 6

С легендарным Семеном Степановичем Гейченко я встретился однажды в отдалении от его михайловских сосен — в губернии Нижегородской, в прославленном великой творческой осенью пушкинском Болдине.

На улице, в нескольких шагах от пушкинского двора, Гейченко увидел, гуляючи, старое дерево, не захваченное на дворовую территорию штакетным забором.

«Как же так! — расстроился и рассердился Гейченко. — Дерево-то, поди, Пушкина помнит. Потом вырубят, скажут — *незаповедное*».

У Толстого в главе, о которой веду речь, помещик, знакомый Левина, говорит:

«Хороши мы, нет ли, мы тысячу лет росли. Знаете, придется если вам перед домом разводить садик, планировать, и растет у вас на этом месте столетнее дерево... Его в год не вырастишь...»

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

## 1

Презентация книги Алексея Букалова «Пушкинская Африка» состоялась в кафе Греко.

Это — Рим.

Кафе размещается на улице Кондотти — недалеко от ее устья: еще несколько домов — и улица вливается в площадь Испании. В створе улицы видны уже маячащие белокаменные каскады лестницы на противоположной стороне площади; устремившись к ним, можно проскочить, не приметить скромно прижавшееся по левую руку прославленное кафе.

## 2

Царский арап, возможно, и правда, родился в Камеруне, но вот кофе — неоспоримо эфиопское изобретение.

В справочниках и поныне находим легендарную историю, или историческую легенду, об эфиопском пастухе, заметившем, что козы, когда наедаются листьев и плодов с определенного кустарника, становятся особенно энергичными.

Кофе долго был напитком Востока, прежде чем быстро и решительно завоевать Европу.

В крупных городах Европы появились кофейни.

В 2010 году кафе Греко отметило свое 250-летие.

## 3

Русские художники, которых с конца восемнадцатого столетия посылали в Италию совершенствоваться в искусстве, к кофе приучались быстро. Некоторые, впрочем, еще дома, пусть по-русски, без премудростей знатоков, освоили кофепитие.

Петр Великий, путешествуя по Европе, пристрастился к кофе и, по обыкновению, принялся насаждать его в отеческих пределах. Сто лет спустя, после Отечественной войны, когда в заграничных походах понагляделись на иноземные обычаи, кофе сделался частью будней.

«Нос» Гоголя начинается с того, что цирюльник Иван Яковлевич, проснувшись довольно рано, говорит жене: «Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофию, а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком».

## 4

Гоголь, живя в Риме, был постоянным гостем кафе Греко.

Там и сегодня обозначено место, по преданию ему принадлежавшее.

Опять же согласно преданию, в кафе Гоголь писал «Мертвые души».

На стене в одной из комнат кафе помещен (в копии, конечно) автограф его письма к доброму приятелю, литератору Петру Александровичу Плетневу: «...О России я могу писать только в Риме. Только там она предстает мне вся, во всей своей громаде».

## 5

Впервые я оказался в кафе Греко тридцать лет назад.

Был октябрьский вечер. Темно.

Via Condotti, не слишком широкая и не слишком освещенная, была заполнена туристами. Они спешили, шагали, плелись по ней, вверх и вниз, толпой, группами, в одиночку, и словно раскачивали улицу. Я плывал тогда в круизе по Средиземному морю и как раз на пути в Италию извела такую продольную, с носа на корму и обратно, качку, — кажется, она называется *килевой*.

Кафе Греко не приманивает прохожих ни яркой вывеской, ни сияющими витринами.

Здесь приманкой — слава.

В Лувре тихая «Мона Лиза» соседствует (сосуществовала, когда я там бывал) с громадным, мощным по живописи полотном Веронезе. Люди приходят в Лувр и спешат к «Моне Лизе».

Я не сравниваю Леонардо и Веронезе — это другая тема. Я — о славе.

## 6

«Люди верят только славе».

Пушкин записал это не как счастливо пришедшее в голову отвлеченное положение. Разговор ведется совершенно конкретный: речь о Грибоедове, ни на каком из своих поприщ не успевшем вкушать прижизненной славы.

«Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда им случалось говорить о нем как о человеке необыкновенном»...

## 7

Плоскости стен в комнатах кафе Греко сплошь завешаны картинами, рисунками, фотографиями, автографами писем и документов — метки одаренных славой гостей и друзей, своим пребыванием в этих стенах свидетельствовавших о славе кафе и ее укреплявших.

Не стану называть имена. Называть много — скучно. Выбирать? Но: вспомнишь Гете — чего доброго, позабудешь Байрона. Или Стендаля. Вспомнишь Россини. Позабудешь Листа. Или Вагнера.

Лучше заглянуть в путеводитель.

Можно бы сказать для красного словца, что римское Греко вполне осиливает соперничество с парижской Ротондой.

Да «два века ссорить не хочу» (цитата).

Каждому — свое.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Незадолго до моего первого приезда в Рим (годом, двумя раньше) какой-то безумец раздробил Пьетру Микеланджело в Соборе святого Петра. Когда наша туристская группа вступила в Собор, скульптура была уже склеена умелыми мастерами и помещена за прочным стеклом.



Нашим гидом в Риме была отлично говорившая по-русски итальянка, Анна, маленькая, тонкая, как трость, с красивым, четко вырезанным смугло-желтым лицом и коротко подстриженными волосами. Хриплым голосом, то и дело покашливая, она сообщала нам всё, что полагалось сообщить, и, в отличие от других гидов, не вспоминала смешных историй, не шутила, даже не улыбалась. В ее черных глазах светилась заметно обжигавшая ее неприязнь к окружающему миру.

Возле реанимированной Пьеты сердобольные россияне начали, понятное дело, скорбеть, убиваться, но вместе с тем гневно возмущаться чудовищным актом вандализма.

Анна обожгла нас взглядом (будто дверцу топки приотворила), сказала сердито: «Если бы я могла, я бы всё тут взорвала, всю эту красоту!»

Она обвела рукой в воздухе полукруг, будто предъявляя нам красоту, которую хотела бы взорвать. Точно таким жестом она приглашала нас полюбоваться колоннами и куполами, скульптурами, мозаикой, картинами.

«Всё бы взорвала и построила новый город, — сказала Анна. — Нельзя жить в музее, в прошлом. Надо жить в настоящем. В стенах прошлого не вырастут новые свободные люди. Для новых людей нужно новое пространство».

Похоже, она была то ли запутавшаяся анархистка, то ли несостоявшаяся террористка, то ли очень уж безнадёжная левая.

Советские туристы испуганно молчали.

Был особенный советский страх, оттого что все видят, что я это слышу.

«Но для ваших внуков построенный вами город будет уже прошлым, музеем», — возразил я осторожно.

«Пусть взрывают, — не задержалась Анна. — Взрывать — и строить. Это — движение. Главное — не жить в старом»...

Когда мы поднимались по лестнице ватиканского дворца, она всё покашливала. Я шел рядом. Она повернулась ко мне, вдруг жалобно сказала: «Никак курить не могу бросить. Врач говорит: будешь курить — заболешь».

«Бедная ты моя подрывательница...» — подумал я...

## 2

Чашечка кофе в кафе Греко, если взять в прихожей у стойки, обходится раз в пять дешевле, чем за столиком в глубинных мемориальных комнатах.

Это объяснила мне Анна, когда я поделился с ней заветной мечтой: выпучи в Риме, непременно выпить эту самую чашечку.

Совет был как нельзя кстати.

В неведении я, конечно бы, полез за столик, в какой-нибудь уютный уголок, приятно возомнив, что именно здесь, на этом месте, сидела некогда Кара Брюллов, в ту пору мне особенно близкий, или его соратник в искусстве и соперник по жизни и посмертной судьбе

Александр Иванов, или даже, может быть, сам Николай Васильевич Гоголь (напомню к слову: прекрасно написавший и о том, и о другом)...

Между тем, родное государство, снизойдя отпустить нас за рубеж, на валюту не расщедрилось. На месяц плавания по морям и океанам каждому туристу было выдано полсотни долларов. Правда, обменивали по официальному советскому курсу, а по этому курсу — что называется, хочешь верь, хочешь нет, — доллар числился дешевле рубля: эти самые пятьдесят долларов давали за сорок пять, кажется, рублей. (Так что наш брат, простой советский человек, по обыкновению, оказался в выигрыше.)

## 3

Двенадцать долларов у меня были отложены на джинсы (сведущие люди еще до отплытия дали знать, что именно столько стоят вошедшие в нашу жизнь первейшей необходимостью ковбойские штаны в портовых лавчонках на Канарах, где отовариваются экипажи советской китобойной флотилии и туристы советских средиземноморских круизов), остальное я предполагал потратить на сувениры и на эту самую чашечку кофе в кафе Греко.

Чашечка кофе в кафе Греко к сувенирам не относилась. Это было нечто иное.

## 4

Это было что-то вроде причастия.

«...Общника мя быти святынь Твоих сподобил еси...»

Какого-то особенного приобщения к дорогим мне героям моих трудов.

Тем многим из них, кто побывал в этих стенах за минувшие два столетия.

А через них и к тем, кто не побывал.

Все они связаны в пространстве («по горизонтали») и во времени («по вертикали») через одно, два, три (четыре — уже много) *рукопожатия* — принятое ныне обозначение.

Кажется, оно пошло с *легкой руки* Натана Эйдельмана.

У Натана, при его габаритах и энергии, рукопожатие было удивительно легкое и теплое.

## 5

С темной улицы я шагнул в ярко освещенную прихожую кафе. Здесь у прилавков, кофейного и кондитерского, весьма густо толпились люди с заветной (для меня) чашечкой в руке. Они потягивали черную жижицу, совершенно очевидно не предполагаая совершаемого ими священнодействия. Глядя на них, я с мазохистской сладостью оценил и трудную досягаемость поездки за рубеж, и редкостную возможность ощущать в кармане изрядно потертую на просторах мирового рынка долларовую бумажку, и пьянящее ощущение свобо-

ды оттого, что не с группой из двадцати пяти соотечественников то-ропишься по назначенному маршруту, боясь упустить из виду Анну, решительно шагающую впереди с желтым бумажным флажком в поднятой руке, а сам по себе гуляешь по улицам и площадям Рима (по вечерам, прежде чем возвратиться на корабль, отпускали пройтись без вожакого, — конечно, по двое, по трое)...

## 6

Рим, как известно, город не портовый.  
Наш корабль стоял в Чивитавеккья.  
Город-порт на Тирренском море.  
В Чивитавеккья мы простояли четыре дня.  
Точнее — четыре ночи.  
Были и не были.

Рано утром нас отвозили на автобусах в Рим, к полуночи, иногда и за полночь, возвращали обратно.

Город лежал рядом, почти вокруг нашего корабля, утром просыпался, шевелился, разминал ноги, не спеша принимался за дела, ночью, пусть не сверкал, но светился огнями, шлялся по улицам, пел, танцевал, сидел за бутылкой вина, — город дышал вокруг, недостижимый Чивитавеккья: пройтись по его камням не было нам дано ни времени, ни разрешения. Восемь раз — четырежды рано утром, на пути в Рим, и столько же поздно вечером, на обратном пути, в порт — промелькнула за окнами автобуса одна и та же улица, маленький, с ладонь, сквер, статуя мадонны, держащей в руке кораблик, еще какие-то статуи (императоры, святые, мореходы? — поди разбери из окна автобуса), желтая стена старинной крепости (позже узнаю, что тут Микеланджело руку приложил), клуб, полицейский участок, перекресток, за которым вдали открывались широкими пространствами стекла новые кварталы... У самого порта, всякое утро и вечер, отмечая (для меня) начало и конец нашего «автопробега» и вместе уже столетиями отмечая начало и окончание дальних и долгих плаваний, подчас исполненных драматических и даже исторических происшествий, стоял высокий строгий крест, лучше видный с моря, чем с земли...

## 7

Во мне давно, с детства почти, памятью воображения, может быть, даже мечтой, живет этот город с птичьим странным именем (мой друг Юлия Добровольская, замечательный итальянист, объяснила мне, что *Чивитавеккья* напрямую не переводится, но этимологически значит «старый город», одним словом — *Старгород*).

Не исключаю (сейчас не имею возможности перечитать, проверить), что город впервые маняще укоренился в моем воображении при знакомстве с романом Анатолия Виноградова «Три цвета времени».

«Три цвета времени» — роман о Стендале.

Я прочитал его подростком, раньше, чем прочитал самого Стендаля.

Роман был в ту пору необыкновенно популярен.

Книгу передавали из рук в руки.

Анатолий Виноградов числился (и по заслугам) одним из лучших биографических романистов. Так — по понятным обстоятельствам, десятилетия спустя — читали и почитали у нас Андре Моруа или Ирвинга Стоуна.

Столь же известным, как «Три цвета времени», был роман Анатолия Виноградова «Осуждение Паганини».

Третий роман «Черный консул» — о политическом вожде Гаити Туссене Лювертьюре — уступал первым двум по вниманию читателей.

Романы Анатолия Виноградова не были *беллетристической* в том расхожем, несколько свысока, употреблении этого слова, обозначающем легкое, на потребу не слишком искушенному вкусу чтение. Это была серьезная литература.

И автор был человеком серьезным — выпускник философского факультета Московского университета (ему принадлежит, между прочим, интересное исследование «Мериме в письмах к Соболевскому»).

## 8

Анатолий Виноградов жил в Москве неподалеку от моей школы.

Его сын учился у нас в школе, двумя классами младше.

Несколько раз Анатолий Виноградов приходил к нам на занятия литературного кружка. Мы смотрели на него и внимали ему восторженно: шутка ли, настоящий (!), известный (!) писатель!

Красивый седой мужчина — мужское начало во внешности, в поведении было очень явным. И в речи тоже: точная, четкая, убедительная и убеждающая.

Он носил форму полковника авиации: шла война, многие писатели работали в военных газетах. Но Анатолий Виноградов не только носил мундир: еще до войны, ему было под пятьдесят, он окончил летную школу.

Анатолий Виноградов рассказывал нам о литературе — рассказывал как литератор, как человек пишущий: он вводил нас, школяров, самоуверенно полагавших, будто кое-что уже разумеют, в литературу с другого входа.

Не помню точно, о чем говорил писатель, но то, что он говорил, входило в мой состав как важный опыт жизни.

Однажды мы узнали, что Анатолий Виноградов застрелил из пистолета жену, сына и себя самого. Это тоже вошло жизненным опытом в мой состав.

## 9

Чивитавеккья была точкой на ярко освещенной карте Средиземноморья, повешенной на пути в корабельный ночной бар — четверо суток в эту точку была воткнута булавка значка с изображением нашего судна.

Город остался для нас единственной улицей, нам предъявленной, с мадонной, сквером, куском крепостной стены и вывеской харчевни каких-нибудь трех пескарей. Я и огорчаюсь неадекватности, не позволившей мне ничего более узнать о нем, и радуюсь тому, что новые стеклянно-бетонные кварталы, желанные, должно быть, нашему итальянскому гиду, этой маленькой подрывательнице музеев, даже слегка не поколебали моего — *музейного* — Чивитавеккья, с отроческих лет и поныне живущего в моем воображении.

Из этого порта банкирские дома Торлони и Десантиса отправляли морским путем в Санкт-Петербург картины обитавших в Риме русских художников.

Сюда Карл Брюллов наведывался. Александр Иванов.

Дорогие мне люди.

Сюда (сотня верст в карете по каменистой пыльной дороге — не легкий путь) Александр Иванович Тургенев поспешил встречать дорогого друга Василия Андреевича Жуковского. Пока судно, около часа назад появившееся на горизонте, выполняло свои эволюции, медленно двигаясь к берегу, Александр Иванович нетерпеливо, туда и обратно прохаживался по причалу, то и дело поглядывая на сверкающий росток белого паруса, который с каждой минутой все выше поднимался над синей водой. Ветер гнал над заливом редкие облачка, тень их легко скользила по песку и камням, водоросли, выброшенные морем на берег, в тени становились серыми. Общество Александра Ивановича составлял краснолицый господин в синем мундире, шитом широким золотым галуном, с треуголкой, украшенной белым плюмажем, под мышкой — Анри Бейль, французский консул в Чивитавеккья. Несколько лет назад Анри Бейль, как всегда под именем Стендаля, издал книгу «Прогулки по Риму». В книге рассказал между прочим про русского художника Брюллова, который не устранился копировать громадную ватиканскую станцу Рафаэля «Афинская школа»...

...И что мне за дело до торчавшего все четыре дня перед иллюминаторами по правому борту нашего корабля запыленного с ног до головы сухогруза, из утробы которого желтый портовый кран знай себе таскал и таскал цемент и пересыпал его в подъезжающие желтые грузовики...

10

Книга отступлений.

Но что поделаешь, если я с самого начала дал полную волю тексту и только поспеваю за ним, не желая вмешиваться, боясь помешать.

Всё никак не дойду до того тупикового помещения в кафе Греко, куда привело меня какое-то шестое чувство, побудив не задержаться ни в прихожей, ни в расположенных короткой анфиладой мемориальных комнатах, стены которых, увешенные, как было сказано, от потолка и едва не до пола картинами, рисунками, фотографиями, документами, просто за рукава хватали, зазывая остановиться, подступить, рассмотреть. Стараясь не оглядываться (еще и учтивый офици-

ант мерещился: против воли, а не откажешься, усадит за столик, где глоток кофе, пусть и заветного, обойдется мне в пару ковбойских штанов), опасливо втянув голову в плечи, пробежал анфиладу и уперся в стеклянную перегородку. За стеклом перегородки была темнота, но то же шестое чувство нашептывало мне, что там, в темноте этой, самое главное. Свет, проникавший снаружи, из прилегающего помещения, слегка намечал в глубине темноты полированный край стойки, позолоту мебели, застекленные дверцы шкафа, но мне куда как довольно было — «воображенье в минуту дорисует остальное»...

Когда-то сюда, в кафе, доставляли почту для русских художников, да и не для них только, для многих россиян, обитавших в Риме. То ли поэтому кафе Греко было в те давние годы облюбовано нашими соотечественниками, то ли потому и доставляли сюда почту, что было облюбовано. Я стоял, почти прижавшись лицом к стеклу, угадывал упрятанный в темноту интерьер, видел лица, подчас до малой подробности знакомые мне по портретам и автопортретам. (Однажды со скульптором Олегом Комовым рассматривали карандашный портрет Александра Иванова; Олег сказал: «Он был рыжеват, у него должны были быть белесые, прямые, направленные вниз ресницы».) Я знал сюртуки, плащи, рубахи, блузы собравшихся в комнате людей, мои пальцы полнились прикосновением к ткани, сквозь стекло до меня доносились запахи абиссинского кофе, красного вина, свечного нагара и пряных трубочных табаков, я слышал шуршание газет и почтовой бумаги, различал голоса — мои добрые приятели горячо обсуждали устаревшие новости, в далеком отечестве давно пережитые, отпразднованные и оплаканные...

## 11

Чудо ожидаемое таит в себе бессчетность возможностей.

Чудо совершившееся являет одну осуществленную возможность.

Четверть века спустя именно в этом мемориальнейшем из мемориальных помещений кафе, замыкающем анфиладу, отмечалось появление книги Алексея Букалова «Пушкинская Африка».

Вспыхнул яркий свет и осветил небольшой зал: старинные бордовые обои, золоченая резьба столов и кресел, такие же золоченые рамы картин на стенах, старинный фарфор, шкафы красного дерева, и на полках шкафа, того, что возле стойки, за спиной хозяина, одетые в черную кожу толстые книги — записи посетителей кафе за два столетия, веселье, красивые лица сегодняшних гостей...

Как в театре.

Темнота — и вдруг яркий свет. И — краски, звуки, движение.

Как волшебный театр, счастливо венчающий историю смышленного востроногого деревянного человечка, судьба которого вместе с журналистикой и пушкинистскими исследованиями составляет главный интерес творческой жизни Алексея Букалова.

А темнота — космос, в беспределности которого плавают звезды, созвездия, планеты — миры! — и нужно слово, заветный сезам, чтобы вызвать оттуда то или другое...

12

Официант действительно появился. Но не для того, чтобы пригласить меня за столик. Он остановился справа, в двух шагах, и, не таясь, наблюдал за мной. На его лице прямо-таки было написано, что он напряженно вычисляет, с кем имеет дело: неумелым вором, плохо воспитанным посетителем или душевнобольным (даже на Пьету Микеланджело поднялась у такого рука). Теперь бы, конечно, прежде всего подумали о террористе.

Я повернулся и неторопливо последовал обратно, старательно схватывая взглядом разбросанные по стенам реликвии. Хотелось увидеть и запомнить побольше. За рубеж нас выпускали редко, я в силу разных обстоятельств почти вовсе не ездил, предположить, что я когда-нибудь снова сюда попаду, было такой же нелепостью или даже безумием, как разбить молотком стеклянную перегородку. Официант, держась в сторонке, безмолвно сопровождал меня, пока я не вышел в прихожую.

13

Постояв в очереди, я дождался своей чашки кофе. Она обошлась мне, как я и запланировал, в один доллар. У нас в корабельном баре кофе был куда лучше. Каждый день под вечер я пил его с лимонным ликером.

14

Хорошенькая девочка-барменша однажды сказала мне с приятным одесским акцентом:

«Ой, вы бы знали, сколько на нашем шарике городов красивых! Но жить я, между прочим, согласна только в трех. В Одессе, конечно, в Мельбурне и в Барселоне»...

Барселона ждала нас впереди.

В Мельбурне побывать так и не пришлось.

В Одессе жила наездами и до средиземноморского путешествия, и после.

Но...

15

...*Мессир, мне больше нравится Рим...*

## ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Всё-таки, про Африку...

2

По выходным мы с папой иногда ходили в кинотеатр «Хроника». Было это почти восемьдесят лет назад.

Выходные были не по воскресеньям. Воскресенья в календаре не значилось. Соответственно и субботы. После революции сперва учредили пятидневную неделю, потом шестидневную.

Вспоминаю телесно, почти ощущаю, как моя маленькая рука приятно тонет в теплой, сухой папиной ладони.

Мы идем вдоль Чистопрудного, потом вдоль Сретенского бульвара.

Кинотеатр «Хроника» помещался в угловом доме, там, где улица Сретенка пересекает Бульварное кольцо.

По Бульварному кольцу ходили трамваи.

Таких трамваев давно нет. Ярко-красные высокие вагоны, моторный и прицеп, передняя и задняя площадки с почти постоянно — из-за обилия пассажиров — отворенной дверью, высокие подножки, на которых гроздь висели пассажиры, не сумевшие протесниться в вагон.

## 3

Еще цитата:

«...Странный кот подошел к подножке моторного вагона «А», нагло отсадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень и даже сделал попытку всучить кондукторше гривенник через открытое по случаю духоты окно...

Та, лишь только увидела кота, лезущего в трамвай, со злобой, от которой даже тряслась, закричала:

— Котам нельзя!..

...Кондукторша рванула веревку, и трамвай тронулся...

## 4

У Осипа Манделштама: «Хорошо в грозу, в трамвае А, промчаться зеленым поясом Москвы, догоняя грозовую тучу...» (см. «Холодное лето»).

## 5

«Трамвай «А» — или ласково: *Аннушка* — совершал долгий путь по тогдашней Москве.

Бульварное кольцо, именуемое еще и *Кольцом «А»*, составляли десять бульваров, разделенных площадями. Кольцо, впрочем, кольцо не было: оно не смыкалось.

Трамвай «А» пересекал центральные площади Москвы, следовал мимо нарядных домов, магазинов, театров. «За открытыми окнами вагонов линии «А» шумели листвою бульвары. Вагон медленно кружился по Москве — мимо усталого Гоголя, спокойного Пушкина, мимо Трубного рынка, где никогда не умолкала птичий свист, мимо кремлевских башен, златоглавой громады Храма Христа Спасителя и горбатых мостов через обмелевшую Москву-реку». По примечательностям маршрута и достатку пассажиров (по звонкой монете в их карманах и портмоне) линию «А» кондукторы называли «серебряной», в отличие от «медной линии» — *Кольца «Б»*, Садового кольца».



Это вспоминает Константин Георгиевич Паустовский. Будущий писатель до революции, в студенческие годы служил кондуктором московского трамвая.

6

То ли еще до войны, то ли уже в послевоенные сороковые годы всюду распевали веселую песенку-фокстрот:

Вечерний город весь в электросвете,  
Звенят трамваи марки «А» и «Б»,  
А на прицепе в синеньком берете  
Кондуктор Валя с сумкой на ремне...

(Песенка родом, впрочем, похоже, не московская — питерская. В Питере вместо «номер трамвая» говорили — *марка*: «Какой марки вагон?»)

Что там, в песенке, дальше случилось с милым кондуктором Вале́й, хоть убей, не припомню.

7

Трамвайный кондуктор был лицом весьма значимым.

Форменная тужурка, сумка с деньгами, служебными квитанциями и карточками через плечо, поверх сумки несколько рулонов с билетами разной стоимости — в зависимости от того, далеко ли едешь.

Обязанность кондуктора — высмотреть в вагонной толчее каждого пассажира, продать нужный билет, уследить, чтобы не проехал лишнее. Для этого введено было правило — входить в вагон с задней площадки, а выходить через переднюю. Приходилось (чтобы не расплатиться штрафом) протискиваться, не жалея боков и пуговиц, сквозь неподатливую, всегда тобой недовольную толпу. (Сочинили шутку: казах в своей степи заплатил штраф за то, что влез на верблюда с переднего горба.) Но в особо людные часы и на площадках задерживались, и, как сказано, на подножках висели. Кондуктор (в мое время обычно женского пола), сам прижатый (не вздохнуть) в отведенном ему уголке, должен был руководить этим движением, при этом объявлять остановки, дергать за веревку, протянутую под потолком к звонку в кабине водителя, давая сигнал к отправлению или — в неотложном случае — «стоп», не обсчитывать пассажиров и сам не обсчитываться, посылая билеты и монетки сдачи по рукам туда и сюда через весь вагон, прекращать раздоры горлопанов и неврасеников и самому ругаться во всё горло со всякого рода нарушителями порядка.

8

Первая моя книжка была — о трамвайном кондукторе. Не помню, как она называлась.

Впрочем, мое имя на обложке не значилось.

В начале пятидесятых я подрядился, за отсутствием чего-нибудь иного, писать для издательства коммунального хозяйства брошюры от имени передовиков производства. А трамвай был по ведомству Минкомхоза.

В трамвайном парке меня познакомили с автором книги, которую мне предстояло написать.

Это был не Паустовский. Паустовский в системе Мострамвая уже не служил.

Моим будущим автором оказалась немолодая веселая женщина с энергичными движениями и энергичной громкой речью.

Звали ее Анна Алексеевна. Фамилию опять же позабыл.

Когда я вытащил из кармана свой блокнот, она махнула рукой: «Чего рассказывать-то — соловья баснями кормить? Покатайся со мной неделю по маршруту — сам всё увидишь». Она засмеялась: «Не обедняешь. Зайцем буду возить».

Работала Анна Алексеевна на маршруте «А».

Я и в самом деле катался с ней целую неделю, и в ранние утренние часы, и в ночные, и в тяжелые часы «пик», — и в каждую такую смену население вагона являло собой иной облик Москвы: лишь в совокупности можно было представить себе многоликий образ Города.

Всякий день мы несколько раз проезжали вдоль Чистопрудного и Сретенского бульвара, и я вспоминал те далекие дни моего детства, когда мы с папой шествовали здесь, вот по этому тротуару, в кинотеатр «Хроника».

## 9

Прежде чем повернуть, наконец, к Африке, прибавлю только (ничего не могу поделать, говорил уже: даю волю тексту и, не споря, следую за ним), прибавлю, что в ту счастливую и невозвратимую пору детства у нас во дворе была группа, три мальчика и две девочки, которую родители доверили воспитательнице (тогда любил именовать по-старинному: *бонна*), почтенной пожилой даме, возвратившейся из швейцарской эмиграции. Звали даму тоже Анна Алексеевна. Мне много раз хотелось о ней написать, но сделал это я только лет десять назад, когда вдруг понял, что наша Анна Алексеевна была (упоминаемая в романе) дочь Анны Карениной (от Вронского).

## 10

В кинотеатре «Хроника» показывали только документальные фильмы.

В ту пору они, кажется, так и назывались: *хроника* или *журнал*.

Папа водил меня в «Хронику», заботясь о моем общем развитии. Но сам, помню, смотрел журналы с не меньшим интересом, даже восторгом, чем я. Его до старости переполняла радость узнавания нового.

Из того, что мы видели, мне всего больше запомнились две ленты: «Путешествие по Африке» и «Путешествие по Индии».

Африку и Индию я знал по картинкам в книжках.

Но картинки в книжках были неподвижны и немы. На небольшом, в два окна размером, экране кинотеатра Индия и Африка двигались и даже звучали.

Они были живые. Экран был не плоскостью картинки — окном.

Цветное кино еще не появилось, но некоторые кадры, каким-то тогдашним способом окрашенные, ошеломляли цветом.

...По желтой высокой траве бескрайней саванны шествует стадо слонов; могучие фигуры животных черным силуэтом высятся над горизонтом на фоне ярко-красного закатного неба...

## 11

По Индии я путешествовал еще до того, как папа начал водить меня в «Хронику».

Я побывал там вместе с героями книжки «Приключения Мурзилки и его друзей», которую очень любил.

Я рано научился читать, но эту книжку — так уж у нас повелось — папа всегда читал мне вслух. Не исключая, что его самого сильно занимали приключения крошечных лесных человечков, эльфов.

Лесные человечки всевозможным образом (между прочим, и на ките плавали, и на ласточках летали) добирались до Северного Ледовитого океана и до жаркой Индии, оказывались в Италии и Голландии, в Германии и Швейцарии, в Париже, Лондоне, Вене и Варшаве.

Это были замечательные ребята, не похожие один на другого ни внешне, ни характером. Среди прочих действовали в книге Знайка и Незнайка, Дедко Бородач, Скок, Чумилка, Доктор Мазь-Перемазь, Читайка, Китаец, Шиворот Навыворот и главным героем Мурзилка (совсем не похожий на подобие мягкой игрушки, каким он обернулся позже в советских детских изданиях) — бездельник, болтун и хвастун в цилиндре, фраке и с моноклем в глазу.

В книжке было много черно-белых гравированных картинок; каждый человек тщательно вырисован. Чтобы в толпе эльфов тотчас найти Мурзилку, кто-то из прежних читателей на всех картинках подкрасил стеклышко его монокля голубым карандашом.

## 12

Книжка была и по тем временам старинная — дореволюционная: добыть ее было не просто.

Папа приносил ее на время от своего знакомого, старого московского профессора.

Книга принадлежала внуку профессора, которого профессор усыновил.

Почему это произошло, я никогда не спрашивал. Не спрашивать лишнего я был выучен еще до того, как выучился читать. (При-

бавлю: в те годы не стоило большого труда назвать несколько очевидных, прямо-таки на ладони лежащих причин того, каким образом ребенок мог вдруг оказаться без родителей.)

Профессор в своем внуке-сыне души не чаял.

Мальчика звали Игорь, ласково, по-домашнему — Гуля.

Несколько раз, когда папа брал меня к профессору, я встречался с Гулей. Он был лет на шесть-семь старше меня — высокий красивый мальчик с шелковистыми каштановыми волосами, в заграничном клетчатом джемпере. Гуля был со мной замечательно вежлив и внимателен. Он показывал мне гербарий, который собрал, когда отдыхал с дедом где-то на Кавказе, альбом с марками, где на отдельном листе была помещена крохотная марка острова Виктории, кажется, мечта коллекционеров, и старинный глобус (после я такие только в музеях видел), стоявший на тумбочке в углу обширной столовой.

Потом Гулю убили на войне.

Когда в первый или второй послевоенный год я по какому-то папиному поручению заглянул к доживавшему свой долгий век профессору, глобуса на тумбочке не было. Вместо него там стоял серебряный поднос, на нем выложенная из мха могильная горка и сверху фотография Гули, такого, каким я его запомнил — шелковистые волосы, клетчатый джемпер...

### 13

Годы, десятилетия теплилось во мне неиссякаемое желание вновь взять в руки когда-то любимую книжку. Не попадалась. А я и автора не знал.

Как-то спросил всеведущего Шкловского.

Он тотчас отреагировал: «Печаталось в *Задушевном слове*».

Но с именем автора... Потер ладонью крутой затылок — и задержался. Мы уже распрощались, у него высветилось в памяти: «Хвольсон. Анна Хвольсон».

Я попробовал пошутить: «Про физика Хвольсона слышал, а вот про Анну...» «Эмигрировала», — коротко объяснил Виктор Борисович.

### 14

Заглянул в Интернет: на книжных страницах бесчисленно объявлений о новых изданиях и о продаже «Приключений Мурзилки».

Милые, наивные фантазии отживавшего девятнадцатого столетия, которыми наших мам в детстве потчевали, вдруг оказались нужны жесткому всезнающему двадцать первому.

Выброшенные за устарелостью и совершенной непригодностью идейно-утилитарной эпохе на «свалку истории», они вновь выхвачены оттуда руками сегодняшних детей, привыкшими к пультам компьютеров. Почти вымершие, подобно обреченным животным, на пыльных полках древних профессорских квартир, они возрождены, размножены и брошены в могучий поток нынешнего книжного рынка.

Могло ли в голову прийти простодушной Анне Хвольсон, когда она сочиняла своих Мурзилок, Незнаек и Скоков, что под ее пером возникает своего рода бестселлер начала третьего тысячелетия?

Не Гарри Поттер, конечно, но всё же, всё же...

15

А вот по Африке Мурзилка и его друзья не путешествовали.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

В Рабате на автобусной станции среди добега запыленных автобусов — один, совсем старенький, неказистый, видно по всему отслуживший уже долгие годы. На борту цветастый знак туристской фирмы. Ниже адрес: *Танжер, улица Льва Толстого, 2.*

Вдурно сделалось хорошо на душе.

2

Лев Толстой начал было писать для своей «Азбуки» рассказ про Африку.

«В Африке есть такие земли, где никогда не бывает зимы. В этих землях никогда не бывает снега, вода никогда не мерзнет и дождика никогда не бывает. В этих землях так сухо и жарко, что ничего не растет: ни травы, ни деревьев. А везде только один песок. Жить там можно только подле рек. Подле рек бывает трава и деревья. И деревья эти круглый год бывают зеленые.

В этих землях живут люди черные. Их называют неграми. Люди ходят всегда голые и живут без домов, в шалашах. Шалаши они делают из веток и листьев. Едят они плоды с деревьев и сырое мясо зверей...»

Замечательно представить себе, как читают такой текст крестьянские ребятишки в заснеженной тогдашней Ясной Поляне, того больше — где-нибудь в Архангельской губернии или в Сибири.

3

Много лет назад я назвал в своей статье детей — *ребятами*.

Тотчас нашелся доброхот, благодетель нравственности, который пожаловался на меня начальству: *ребятами* в царское время офицеры презрительно называли солдат.

Начальство какое-никакое понимало однако, что жалобщик дурак, но по правилам того времени потребовало от меня оправданий.

Я отговорился: конечно, *ребятами* в то ужасное время называли солдат, например, «Ребята, не Москва ль за нами?», но вот Лев Толстой взял да и озаглавил статью: «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят».

Лев Толстой, работая над рассказами «Азбуки» (он часто говорил: *пиши*), учился у крестьянских ребят.

4

Город Рабат, столица Марокко, стоит на берегу Атлантического океана.

Марокко, конечно, Африка, но — Северная.

Не та, где чернокожие охотники с луками и копьями преследуют льва, где гориллы и злые-презлые крокодилы, где царство Бармаля, про которое «не ходите дети в Африку гулять».

Хотя в наши дни гулять в Северной Африке детям, как и взрослым, куда опасней, чем в тропических лесных зарослях.

Арабы именуют Марокко страной самого дальнего Запада.

Когда Земля считалась плоской, а про Америку никто не слышал, страна, упиравшаяся в океан, была концом света.

Рабат находится уже за утесами Гибралтара.

5

Про Марокко Лев Толстой узнал от Александра Дюма.

Будучи в армии на Кавказе он читал очерки Дюма о путешествии по странам Северной Африки.

Очерки печатались в «Отечественных записках».

В молодости Толстой увлекался романами прославленного француза.

Часто вспоминал, как укоротил и оживил долгий путь в Казань, в университет, запасшись на дорогу восемью томиками «Графа Монтекристо».

Странно, что и в поздние годы он не разочаровался в романе.

«Монтекристо», по существу, сочинение самое антитолстовское: апология мести, беспощадного ответа на зло злом.

6

Александр Дюма писал: «В слове *Африка* есть какое-то откровение, которое влечет нас к ней больше, чем к другим частям света».

Стоя на берегу Средиземного моря, он, по его словам, чувствовал, как одна и та же греза соединяет в его душе и воображении Африку и Европу.

Пушкин на берегу другого моря, Черного, грезил о воле, манила ветрила кораблей:

Пора покинуть скучный брег  
Мне неприязненной стихии,  
И средь полуденных зыбей,  
Под небом Африки моей,  
Вздыхать о сумрачной России,  
Где я страдал, где я любил,  
Где сердце я похоронил.

Страдал, любил, сердце похоронил, но Африка — моя!..

7

Африканцы.  
Александр Пушкин — по прадеду.  
Александр Дюма — по бабке.

8

Подходя к деревне Овсянниково, неподалеку от своей Ясной Поляны, Лев Толстой засмотрелся на солнечный закат. «В нагроможденных облаках просвет, и там, как красный неправильный уголь солнце. Всё это над лесом, рожью. Радостно. И подумал: нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем».

9

Домашние Льва Николаевича придумали страшного африканца *Зулу*, этакого Бармалея, который однажды ворвется в Ясную Поляну и начнет терзать, бить и обижать (а то и слопает — людоед!) ее несчастных обитателей.

Домашние изводили Льва Николаевича вопросом: можно ли отвечать такому злему *Зулу* насилием.

Толстой в то, что из Африки в Ясную забредет страшный *Зулу*, не верил.

В целях охраны имения от своих яснополянских и иных окрестных *зулу* Софья Андреевна в беспокойном 905-м году завела вооруженных стражников-черкесов.

Для Льва Николаевича это было терзание непереносимое, покрепче всяких бармалейских ужасов.

В статьях Толстой обличал разбой колонизаторов.

Кто-то из знакомых нахвалялся за чаем удобство колясок на резиновых шинах.

«Еще тысячи негров убьют на каучуковых плантациях», — мрачно отозвался Толстой.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

В Рабате ходят по улицам высокие статные мужчины с кожей очень темной, почти черной.

Их называют *берберами*.

Берберы — коренные жители Марокко. Но сейчас они в меньшинстве: большинство населения — арабы.

Мужчины-берберы, о которых я пишу, носят цветастые восточные одежды. На груди — большой меховой мешок.

Я поначалу, когда увидел такого издали, решил, что это у него собака или ягненок.

На шею, как колокольцы, нанизанные на цепочку жарко золоченые чашки-пиалы.

Это водоносы.

Туристы редко рискуют отведать воду, которой наполнен меховой мешок водоносов, но охотно фотографируют их и фотографируются с ними.

## 2

В нашей группе был московский профессор, большой любитель кино- и фотосъемок. С головы до ног увешенный кино- и фототехникой, он на всё, что попадалось на пути, смотрел сквозь объективы своих аппаратов. Один красавец-водонос особенно ему приглянулся. Профессор запечатлевал его так, и этак, и как-то совсем по-особому. Водонос в надежде заработать монетку от него не отставал и охотно становился в разные, очевидно давно им заученные позы. Наконец настала минута прощания. Профессор знаками и улыбкой благодарил водоноса и давал ему понять, что очень доволен его помощью. Но корыстолюбивому водоносу этого показалось мало. Созерцая профессора с тревожным изумлением, он протянул к нему темную руку и коротко потребовал: «Мани!» Марокко был конечным пунктом нашего круиза. Из пожалованных нам пятидесяти долларов мало у кого оставался один-два. А если и оставался, то, как известно, последний доллар из пятидесяти не менее трудно тратить, нежели первый. Профессор сокрушенно развел руками, всем своим видом сообщая, что наличных «мани» у него не имеется. На лице собеседника выразилось возмущение; продолжая протягивать руку, он почти жалобно попросил: «Сигаретт!». Но профессор опять же улыбками и жестами изобразил, что и сигарет нет и что он вообще не курит. Упавшим голосом, но всё ещё не теряя остатки надежды, водонос произнес: «Сувенир...» Профессор засмеялся и радостно выхватил из кармана значок, что-то вроде октябрятской звездочки (*когда был Ленин маленький, с кудрявой головой*); но тут абориген проворно убрал руку, гремя позолоченными чашками, отскочил назад, обвел презрительным взглядом увешанную аппаратурой фигуру профессора и произнес по-русски чисто и выразительно, вкладывая в каждое слово всю меру своего презрения: «Ёб твою мать!»... Стало очевидно, что до нас в Рабате наши соотечественники уже побывали.

«Между прочим, наименование *бербер* произведено от слова *варвар*», — разъяснил профессор, припадая лицом к одному из своих аппаратов.

## 3

С *магрибинцем* я впервые встретился в сказках «Тысяча и одной ночи».



Там действует злой волшебник, магрибинец: в отрочестве я долго так и предполагал, что магрибинцами на Востоке именуют злых волшебников.

Тот *магрибинец*, помнится, был черный. Наверно — бербер.

У меня имелось красивое детское издание сказок: густо-синий, как южная ночь, усыпанный золотыми звездами переплет, старинные гравированные иллюстрации.

Может быть, некоторые из них (если не все) принадлежали Гюставу Доре. Не помню. За несколько творческих десятилетий великий иллюстратор дополнил рисунками едва не все великие творения мировой литературы, начиная с Библии. Похоже, среди созданных им 80 тысяч графических листов есть иллюстрации и к «Тысяча и одной ночи».

Магрибинец на картинке был таинственный: коварный и красивый. Художник передал его изящное, крадущееся и вместе с тем уверенное движение.

## 4

Позже мне попался заграничный альбом фотографий (по тем временам — редкость!) — «Магриб». Так я узнал, что *Магриб* в переводе с арабского — Запад. Обитатели лежащего восточнее Арабского полуострова называли Магрибом страны Северной Африки, а жителей их, соответственно, магрибинцами.

В альбоме имелась фотография — возможно, она была даже помещена на обложке: останки разрушенного прошлого — посреди бескрайней пустыни негнущийся строй будто выбирающихся из-под песка и вскоре снова в него уходящих прекрасных, хотя и сильно потраченных временем белых колонн. Из ниоткуда в никуда...

Река времен в своем стремленьи  
Уносит все дела людей  
И топит в пропасти забвенья  
Народы, царства и царей.  
А если что и остается  
Чрез звуки лиры и трубы,  
То вечности жерлом пожрется  
И общей не уйдет судьбы!

Мощная символика фотографии совершенно меня очаровала.

По натуре я не путешественник, но мне до сладостной боли захотелось непременно добраться (в те-то годы!) до этих песков, до этого мраморного иероглифа, до этого сказочного Магриба.

На фотографии, меня заворожившей, запечатлен обломок Карфагена — нынешний Тунис.

Когда проклюнулся круиз по Средиземному морю (всё тот же, других у меня не было), желанный Тунис значился в программе.

Я, конечно, понимал, что вряд ли нас повезут в пустыню, чтобы предъявить строй вынырнувших из песка и вновь в нем утонувших колонн.

Но мечта оставляет нас еще позже надежды.

В последний момент выяснилось, что Туниса не будет: его заменили на Марокко.

Тоже Магриб.

Но — другой.

## 5

В Рабате нас повели смотреть королевский выезд.

Мы долго стояли в густой толпе на площади перед дворцом.

В отдалении происходило колоритное действо — будто наяву разворачивались кадры фильма-сказки на темы той же «Тысяча и одной ночи».

Золотые кареты. Кони невиданной красоты — таких, кажется, на самом деле и не бывает. Сверкающая золотом и самоцветами упряжь. Придворные в ярких, похожих на балетные, восточных одеждах, так же вдоволь оснащенных ювелирным товаром. Даже скороходы в чалмах и туфлях с загнутыми носами...

Мы совсем было разомлели от экзотики, но тут, откуда ни возьмись, выросли вокруг огромные, все как на подбор, двухметровые мужики в черных кожаных комбинезонах с современными автоматами на груди. Решительно и умело они начали отодвигать толпу подальше от дворца, пока любопытствующие туристы и аборигены не оказались запечатаны в дальних углах площади, откуда и видно ничего не было. И тогда вместо золотых карет, окруженных скороходами (всё это у меня на открытке, тут же в толпе купленной у юркого разносчика), от дворца наискось через площадь пронеслись три или четыре тяжелых черных лимузина, сопровождаемые вооруженным мотоциклетным эскортом.

## 6

Королем Марокко был тогда Хасан Второй.

На воду он дул недаром: ему уже пришлось обжигаться на молоке.

Он пережил два покушения.

Однажды сам посадил самолет, который пытались сбить заговорщики.

Поневоле окружишь себя могучими спецназовцами в черных комбинезонах, которым, что особенно тягостно, тоже нельзя доверять.

После того, как мы увидели королевский выезд, нам показали мавзолей, который король строил себе при жизни.

Хасан Второй был хороший администратор, знал: сам не сделаешь, оставишь на потом, другим, — всё построят не по-задуманному, еще и разворуют половину назначенных денег и всякого строительного добра.

Мавзолей получался очень красивый и своеобразный; говорили, будто архитектором приглашен какой-то замечательно одаренный вьетнамец.

Хасану Второму оставалось жить еще семнадцать лет (времени довольно, чтобы завершить строительство), но этого, конечно, не знали ни вьетнамец-архитектор, ни мы, ни сам Хасан Второй.

## 7

Неподалеку от того места, где возводился новый мавзолей, стоял еще один, уже (позволю себе сказать) *действующий*, — тоже очень красивый, но не такой своеобразный. Это усыпальница предыдущего монарха, Мохаммеда Пятого, отца Хасана.

Посетителей пускали на балкон, окаймляющий ничем не заполненное прямоугольное помещение, прекрасное камнем стен и пола и самими своими пропорциями.

В немецком городе Трире имеется так называемая Базилика Константина — огромный зал, совершенно пустой, пропорции которого настолько совершенны, что, оказавшись в нем, через несколько минут погружаешься в состояние гармонии, покоя и душевного освобождения.

В мавзолее Мохаммеда некоторые из наших были разочарованы, не обнаружив привычно сопрягаемого со словом *мавзолей* стеклянного саркофага с телом усопшего. Тем более что по пути в Марокко, на каком-то острове нам показали в соборе как местную достопримечательность нетленное тело тамошнего епископа, усопшего несколько десятилетий назад. Епископ, по какой-то причине не погребенный, в полном облачении покоился в стеклянном ящике, как новенький. Наши туристы, особенно почему-то женщины, склоняясь к самому стеклу, очень старательно рассматривали тело и позволяли себе осторожные сравнения не в пользу своего домашнего экспоната, хранимого на Красной площади.

Но королевский прах, как и положено, предан земле.

С балкона видишь гладкое пространство пола и склонившегося у низенького аналая седого старика, читающего Коран.

## 8

В Касабланке — таков был план круиза — нас выгрузили с корабля, чтобы доставить в Москву самолетом.

Самолет, который должен был прислать за нами из Москвы «Аэрофлот», задерживался на пятнадцать часов.

Мы уже прошли паспортный контроль и не могли возвратиться в город.

Здание аэропорта, во всяком случае, та его часть, где находилась наша группа, было почему-то совершенно пусто — ни других пассажиров, ни персонала, ни, тем более, буфета, ни малейшего движения, обозначающего привычную для глаза деятельность авиационных служб.

Представитель «Аэрофлота», доброжелательный плотный мужчина, пообещал раздобыть для нас питье, возможно даже покормить, пока же раздал каждому красивый цветной буклет «Певчие птицы России».

Внимательно изучив портреты дрозда, зяблика, синицы, я отправился бродить по застекленным коридорам, пустынным, как во сне или остросюжетном фильме,

Неожиданно сквозь толстое стекло я увидел боковой подъезд здания, возле которого стояли черные бронированные ящики лимузинов и суетились громадные охранники в черных комбинезонах. Из их толпы вдруг появился и быстро прошел мимо меня, совсем рядом (если б не стекло, я мог бы до него дотронуться) невысокий красивый человек в белом костюме. Почти не повернув головы, он коснулся меня быстрым удивленным взглядом. Это был король Хасан Второй, отбывающий куда-то с визитом.

## 9

Летом 1999 года я узнал из «Последних известий», что Хасан Второй умер.

Сообщение меня опечалило: это был мой единственный *знакомый король*.

Мавзолей к этому времени уже достроили.

## 10

Между прочим, когда мы, прощаясь с Марокко, проходили последний паспортный контроль, чиновник приказал всем, имеющим отношение к прессе, зарегистрироваться у особого окошка. Нам объяснили, что спецслужбы следят за тем, что и как каждый из побывавших в Марокко потом написал о стране. Тот, кто напишет что-нибудь худое, визы на въезд больше не получит.

Я впервые пишу о Марокко.

Кажется, ничего плохого не написал.

Впрочем, за давностью лет я в их списках, наверно, уже не числюсь.

Не говоря о том, что до Магриба мне теперь не добраться.

Да и охота прошла.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### 1

Заканчиваю про Касабланку.

Быстро, по-южному, стемнело.

В застекленном пространстве аэропорта зажегся холодный белесый свет, от которого оно стало казаться еще более пустынным.

Ожидание сделалось совсем томительным.

Те, у кого уцелели темы для разговора и желание слушать, тихо беседовали.

Кто умел, задремывал.

Я занимал себя своей любимой игрой: мысленно из букв одного слова собирал новые слова.

Дилетанты в этой игре выбирают в качестве исходного несусветно длинное слово (вроде «виноградосоковыжимательница») и радуются обилию производных. Профессионалы, к которым я себя отношу, наоборот, берут слово короткое, с неходовыми буквами — и напряженной мыслительной работой стараются выжать из него всё возможное.

Так я обрабатывал два-три слова, после чего позволял себе взглянуть на часы.

И всякий раз до вылета оставалось еще бессчетно времени.

## 2

Вдруг в отведенной нашей группе, обособленной, как карантин, *зоне* возник человек.

Именно — *возник*.

Кажется, никто не заметил, как он появился у входа, как прошел между жесткими пластмассовыми диванами, на которых спали, дремали, лениво беседовали истомленные ожиданием туристы.

Просто: не было, и вот он — тут.

Стоит и осматривается, выбирая местечко по душе.

## 3

Одно время у нас в литературе *возникла* мода на это слово — *возник*.

Оно сделалось синонимом таких глаголов, как «пришел», «вошел», «показался» и проч.

Оно стало обозначать всякое *появление*, утрачивало таящийся в нем момент внезапности и даже таинственности появления. Вот это: не было — и есть.

В прежних, привычных мне постановках оперы «Фауст» (в нынешних иначе, наверно: давно не был в опере) Мефистофеля выталкивали сквозь люк из-под сцены, дьявол был как бы обитателем подвала.

У Гете, который в этих делах (как и во всех остальных) хорошо разбирался, сначала Дух возникает из пламени, затем Мефистофель появляется в обличии черного пуделя, чтобы в решающий момент возникнуть из тумана.

Прекрасно у Булгакова: «знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида».

## 4

Вообще обозначать Мефистофеля жителем подвала, подземелья несколько наивно.

«Верх», «низ» — представления нашего земного мироустройства.

Рай и ад являются верхом и низом в духовном смысле, находясь в едином пространстве.

Нищий Лазарь в раю и богач в аду после смерти так же рядом, как были на земле, когда в раю был богач, а в аду нищий. Но между ними «утверждена великая пропасть», которую невозможно перейти.

Впрочем, и в земной жизни было так же.

Люди, мечтающие построить рай на земле, стараются, чтобы уничтожить пропасть.

Сатана приходит к Богу не из подземелья: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу: я ходил по земле и обошел ее»...

## 5

Юрий Давыдов, проницательнейший человек и писатель (не всегда совпадает), в годы войны служивший на флоте, рассказывал: когда к нам прибыли английские моряки, он впервые увидел походку свободного человека.

Человек, возникший посреди стеклянной зоны, в которой мы (наша группа) оказались заточены, был человек *штучный*.

Он был — он.

А мы (*группа*) были — мы.

Он стоял перед нами, как стоит свободный человек.

Выражение его лица, покрытого крепким красноватым загаром, его движения передавали внутреннюю независимость.

На нем была солдатская камуфлированная куртка, шорты и высокие, до колен, ботинки на шнурках.

Он показался мне похожим на Джека Николсона.

Может быть, оттого, что, увидев его, я вспомнил мой любимый фильм «Профессия — репортер».

Желание вдруг самому, по собственной воле назначить себе иную судьбу, привычно обожгло меня.

Человек еще раз оглянулся, выбрал меня взглядом и приветливо мне кивнул.

Он подошел к моему дивану, сбросил с плеч по-военному аккуратно собранный рюкзак и сел рядом со мной.

Руководитель нашей группы, в миру сотрудник горкома партии, сидевший неподалеку, выразительно на меня посмотрел. Я едва заметно ему кивнул, подавая знак, что моя бдительность на должном уровне.

## 6

Приветливое лицо незнакомца являло охоту общаться, но по моему виду, должно быть, он как-то сразу сообразил, что серьезного вербального разговора со мной завести не удастся.

Из глубокого кармана куртки он извлек сложенную в несколько раз (штамп требует здесь: *потертую на сгибах*), возможно, потертую на сгибах большую карту Африки и разложил ее передо мной на диване. В середине континента, от неопознанного мною пункта *А* до также неопознанного пункта *В* жирным красным фломастером была проложена пересекающая экватор причудливая кривая линия.

Незнакомец, внимательно повторяя все изгибы, провел по ней крепким тяжелым пальцем. Потом тем же пальцем ткнул себя в грудь.

Наверно, так объяснялся он с готтентотами и пигмеями, которых встречал на своем долгом пути. А, может быть, пигмеи, получившись в своих лесных школах, умели говорить по-английски, при этом, по простоте своей, не стеснялись и не опасались подтвердить это.

Незнакомец (или уже — знакомый?) начал показывать фотографии. Он добывал их одну за другой, без порядка, какая попадетсЯ, из пластикового мешка.

Фотографии были обыкновенные, любительские.

О таких говорят, что их не снимают, а *щелкают*.

Я, слава Богу, видал и получше. У меня в книжном шкафу стояли три тома «Африки грез и действительности» Ганзелки и Зигмунда, очаровательных чешских путешественников, в которых мы были влюблены в 1950-х и от которых нас отлучили в конце 1960-х, когда в Чехословакию вкатились советские танки. Смелые путешественники не захотели отказаться от грез, обещанных Пражской весной, и согласиться с действительностью, принесенной на броне танков.

Но Африка книг Ганзелки и Зигмунда, повторенная ими на телеэкране, была для меня (в ту пору, во всяком случае) *Африка где-то*, Африка недосыгаемая, Африка печатных и устных рассказов, легенд и слухов, Африка детской мечты и кинотеатра «Хроника». А здесь, на этих простеньких фотографиях, *фотках*, которые держал в крепких тяжелых пальцах человек, похожий на Джека Николсона, до Африки было рукой подать, она начиналась за стеной аэропорта, в котором мы оказались заперты, сидела рядом — я вдыхал запах ее пота и пыли...

7

На одной из фотографий мой новый знакомый был запечатлен с большой обезьяной, шимпанзе. Они расположились на стволе поваленного дерева и дружески беседовали.

Давно минувшее ярко обожгло мою память.

Я указал пальцем на обезьяну и произнес наконец нечто вслух.

«Чита?» — спросил я.

Человек указал на себя и ответил:

«Тарзан»...

Мы радостно посмотрели друг другу в глаза — и рассмеялись.

8

Американец Эдгар Берроуз — один из самых читаемых в мире авторов.

В Советском Союзе его читали мало.

Не переводили. Не печатали.

А он себе писал.

Берроуз придумал своего Маугли — Тарзана. Сына лорда, украденного обезьянами и ставшего их повелителем.

О Тарзане Берроуз сочинил двадцать шесть романов.

По ним, перевирая их, во множестве снимали фильмы.

Самым знаменитым Тарзаном в кино стал Джонни Вайсмюллер, голливудский киноартист и олимпийский чемпион по плаванию.

С этими фильмами всемирно известный, уже легендарный, Тарзан был доставлен к нам в отечество.

## 9

После войны наш кинопрокат был наводнен зарубежными лентами, которые открывались титрами: «Этот фильм взят в качестве трофея...»

Фильмы показывали, конечно, с высочайшего разрешения и благословения.

Кино, как известно, являлось «важнейшим из искусств» (лозунг).

Нужно было заполнить пустоту на экране и пустоты в послевоенной жизни, в которой не хватало всего необходимого для удовлетворения человеческих потребностей.

Вслед за «Падением Берлина» и «Молодой гвардией» киномеханик привозил в дальнее алтайское село «Индийскую гробницу», вестерн или «Багдадского вора».

Так началось триумфальное шествие Тарзана по городам и весям нашего отечества.

## 10

Красавец Тарзан (имя на обезьяньем языке означает бледнокожий) с лицом, обеспечивающим мгновенный успех у масс, и завидной мускулатурой чемпиона-олимпийца не страшился самых опасных приключений. Он был смел и благороден, был всегда прав и всегда побеждал. Его верный друг, обезьяна Чита всюду ему сопутствовала, выручая из положений, казавшихся безнадежными. Перелетая с одного дерева на другое, Тарзан оглашал лес особым, ни с каким иным не сопоставимым криком, который освоили и повторяли мальчишки всего мира. Это был торжествующий победный крик.

## 11

Часть моей армейской службы проходила в небольшом заполярном городе.

По воскресеньям утром нас иногда водили строем в кино.

Вообще-то фильмы пускали в части по вечерам. Лишь некоторые — их, наверно, не было в армейском прокате — мы смотрели в кинотеатре.

Почему нашему начальству пришло в голову показать нам серии «Тарзана» (разве что кто-то свыше надоумил — тоже почему?), для меня поныне остается тайной.



Возможно, фильм содержал в себе непостижимые моему цивилизованному уму качества, способствовавшие успехам боевой и политической подготовки.

Как бы там ни было, остаюсь навсегда благодарен за это нашим командирам.

## 12

Колонной по четыре мы весело шагали по главной улице (Ленина, наверно) к главной площади (впрочем, может быть, это она — Ленина?), где находился кинотеатр.

Предвкушая марочный крик Тарзана, мы, не жалея глоток, исполняли приказ «Запевай!». Нашими главными — парадными — песнями были «Москва — Пекин» («Сталин и Мао слушают нас...») и «Марш энтузиастов» («Славься, страна героев, страна мечтателей, страна ученых...» — так, кажется?).

Дружный шаг колонны звучал приглушенно: за ночь насыпало свежего снега.

По случаю воскресного утра на главной улице было заметно больше народа.

Город, как выше сказано, небольшой, — все доступные девушки были солдатам знакомы. Девушки смотрели с тротуара на проходящую колонну, выкрикивали имена и отпускали шутки, в то наивное время казавшиеся непристойными.

## 13

Зал, сплошь заполненный солдатами, являет собой особое состояние.

От края до края одинаковое серое сукно шинелей, наголо подстриженные головы, трудно различимые лица, сливающиеся в общий гул голоса, густой воздух, пропитанный запахом мужского тела, сильного, как бы слившегося в одно, общее, дыхания, табачного перегара, солидола...

## 14

У Льва Толстого — описание купающихся солдат: «Небольшой мутный с зеленью пруд... был полон человеческими, солдатскими, голыми барахтавшимися в нем белыми телами с кирпично-красными руками, лицами и шеями. Всё это голое, белое человеческое мясо с хохотом и гиком барахталось в этой грязной луже... Весельем отзывалось это барахтанье, и оттого оно особенно было грустно».

## 15

В зале гас свет. В будке механика пулеметом тархтел проектор. Тропический лес вставал на ярко осветившемся экране. Сме-

лый и благородный Тарзан, сопровождаемый верной Читой, появлялся из своих чертогов в ветвях огромного дерева, взмывал ввысь (и Чита с ним), — его радостный победный крик метался над солдатскими головами.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Которая продолжает, точнее — заканчивает, предыдущую.  
Наверно, даже всю первую часть.  
Речь в ней пойдет о песне.  
Песня такая:

2

День, ночь, день, ночь  
Мы идем по Африке.  
День, ночь, день, ночь  
Всё по той же Африке.  
Только пыль, пыль, пыль  
От шагающих сапог.  
Отпуска нет на войне  
Солдату...

3

Слова Киплинга.  
Киплинг считался *певцом империализма*.  
В строю песню, конечно, не пели.  
Но официально она запрещена не была.  
Ее пели на вечеринках, пели в турпоходах.  
Говорили, будто она пришла к нам из какого-то заграничного кинофильма. Но подозреваю, кто-то из наших сам перевел стихи, положил на музыку. К Киплингу даже присочинили несколько куплетов про нашу войну, отечественную.

Песня мне нравилась. Она передавала и тяготы войны, и состояние солдата на войне, и нескончаемый зной африканской пустыни.

Ты, ты, ты, ты, —  
Попробуй думать о другом.  
Чуть сон взял верх —  
Задние тебя сомнут.  
Пыль, пыль, пыль, пыль... и т.д.

4

В армии мне эту песню пел Боря Симбург. На гражданке он подрабатывал аккордеонистом в ресторане; у нас служил в муззвезде. Боря с тонким лицом и миндалевидными глазами был похож на красавиц персидских миниатюр. Его голос был слишком высок и

звучен для этой песни — тут нужен хриловатый, прокуренный баритон. Впрочем, Боря пел очень хорошо. Я подпевал ему молча, про себя. Певец я никудышный, поэтому пою большей частью наедине с собой. Зато наедине с собой пою охотно и много.

## 5

В один из субботних вечеров я получил увольнение.

Увольнение — вещь серьезная. Если не устроишь всё обдуманно, три-четыре часа нечасто даруемой воли упустишь между пальцами, как, рассеявшись, пригоршню воды.

Мой первый комбат (еще в Литве), подполковник Григорьев, маленький, проворный и решительный (кличка — *Суворов*), говорил: «У солдата личное время — лишнее время. Пустое. Чего с увольнительной в зубах по городу шастать? Поди подтянись раз шестьдесят на перекладине, пробегу километра три с препятствиями — и про баб забудешь, и выпить не захочешь».

Увольнение и в самом деле часто оборачивается пустотой: бессмысленным (в одиночку или со случайным сослуживцем) шастаньем по улицам, ста граммами опаской и украдкой, идиотической беседой где-нибудь на бульваре, где потемнее, с подвернувшейся покладистой девицей, а потом, по возвращении в казарму, хвастливым враньем (в которое сам веришь) о каких-то необыкновенных приключениях и подвигах. Это недостойно дарованного глотка воли.

Там, в Литве, если удавалось вместе выбраться в увольнение, мы с Эдиком Смирновым, втайне запасшись заранее бутылкой, банкой консервов и буханкой серого, попросту уходили в лес, чтобы разлечься вольно на мягком ковре травы и прошлогодней хвои и потолковать о том, что казалось нам очень существенным. О чем в неволе, в расписанном по минутам дне, тем более под казарменной кровлей, не потолкуешь.

Изначальный смысл слова «увольнение» — обретение воли — освобождение.

## 6

Увольнение с самого начала не задалось.

Память скребли мрачные заветы подполковника Григорьева.

Среди солдат и сержантов, получивших увольнение, я не увидел никого, с кем хотел бы провести вечер.

Солдаты и сержанты, с начищенными до блеска сапогами и пуговицами, выстроились на утоптанной площадке перед штабом. Дежурный по части капитан Рябчук неторопливо прохаживался вдоль строя, внимательно изучая, точно ли расположены по центру звездочки на наших шапках и пряжки ремней.

Капитан Рябчук был известен в полку афоризмом: «Женщины бывают или утки, или гагары». Афоризм нравился, его охотно повторяли.

Малознакомый сержант-артиллерист предложил мне пойти вместе к девчатам в общежитие швейной фабрики. Я отказался.

Я не навещал доступных девушек, потому что в то наивное время доступных девушек было неизмеримо меньше, чем солдат: девушки еще мечтали о суженых.

## 7

На городской площади прохаживался патруль под начальством старшего лейтенанта Подопригоры.

Старший лейтенант Подопригора подзывал каждого появившегося в поле его зрения военнослужащего рядового и сержантского состава, проверял увольнительное удостоверение и вновь исследовал точность местоположения звездочки и пряжки. Во взгляде старшего лейтенанта таилось подозрение, ноздри его нервно шевелились.

У Куприна рассказывается про бывшего офицера, который по запаху дыхания проходившего мимо юнкера определял название принятого напитка.

Учитывая ассортимент винного киоска, тускло светившегося неподалеку, на боковой улочке, задача старшего лейтенанта Подопригоры была стократ проще.

Кроме водки в розлив и бочкового пива в киоске имелся только — для слабаков и эстетов — густой темно-янтарного цвета ликер, именовавшийся то ли «Северное», то ли «Полярное сияние».

## 8

Хочется написать что-нибудь *художественное*.

Например: что падал снег и крупные хлопья медленно пролетали мимо желтых фонарей.

Но снег — не падал. Это я точно помню.

## 9

У дверей кинотеатра стояла очередь в кассу.

Показывали какую-то серию «Тарзана».

Неделю или две назад нас уже приводили ее смотреть. Конечно, на утренний сеанс.

По обе стороны входа висели огромные, почти на всю высоту фасада рекламные щиты, окаймленные гирляндами лампочек. Тарзан, больше похожий на известного нашего артиста Николая Крюкова, чем на Джонни Вайсмюллера, зато, как положено, почти обнаженный, стоял, будто в чаше, на раскидистой вершине пальмы; стремительной птицей пролетал над африканским лесом. Его олимпийские мускулы, повторенные кистью местного живописца, напоминали перетянутые швами тугие пробковые пояса. Обезьяна Чита, много более чем Тарзан соответствующая подлиннику, на щитах тоже присутствовала.

10

Я решил отправиться в библиотеку.

Она помещалась на первом этаже четырехэтажного жилого дома, стоявшего тут же на площади, напротив кинотеатра. Дом был сложен из скучного серого силикатного кирпича. В нем жили ответственные люди города.

В библиотеке хозяйничала строгая старушка Анна Спиридоновна, постоянно ворчавшая на юных читателей (их — школьников — было обычно больше, чем каких-либо других) за не отрясенные валенки, грязные руки, грубое слово, не в меру громкий разговор. Была она маленькая, сухонькая и для жительницы Заполярья поразительно смуглая. У меня с Анной Спиридоновной сразу завязалась дружба: я получил разрешение заходить в хранилище и сам высматривать на полках желанную книгу.

Среди привычного набора — классики, русские и (меньше) зарубежные, подписные издания, творения советских авторов — в потоке наизусть известных корешков оказались две заветных полки. Давний дар или след экспроприации: редкие в ту пору дореволюционные издания, между ними розановские «Опавшие листья», с которыми я тогда впервые и познакомился.

11

...Библиотека в тот вечер оказалась закрыта в связи с ремонтом отопления...

12

Делать было нечего.

Нечего было делать.

Я стоял у запертой двери библиотеки.

Кругом была бескрайняя полярная ночь.

13

Меня заметила проходившая мимо телефонистка Лида с городской телефонной станции.

Лида засмеялась и сказала: «Замерз, бедный!». То ли про меня, то ли про обнаженного Тарзана на рекламном щите.

Художник не поскупился на яркие краски — синяя, зеленая, солнечно-желтая...

Озаренные лампочками, африканские краски маняще светились в темноте Заполярья.

Такие краски были на картинках в книге африканских сказок, которую я читал в детстве.

«Может, в кино сходим?» — предложил я.

«Пошли», — согласилась Лида.

Лида была не доступная девушка. Однажды мы уже ходили вместе в кино. Мы сидели в темноте и держали друг друга за руки. Руки у Лиды были мягкие, теплые, чуть влажные. Потом я проводил ее до дома. Она жила далеко, на краю города, в одном из стоявших у подножья сопки деревянных барачных зданий. К себе Лида меня не позвала. Одна комната, мать, младшая сестренка. «А отец погиб».

«На фронте?».

«На руднике».

#### 14

Мы пристроились к очереди в кассу. Сеанс только что начался, билеты продавали уже на следующий. Перед кино можно было часок погулять по бульвару. Я подумал, что непременно поцелую Лиду.

На площади снова появился исчезнувший было патруль.

Старший лейтенант Подопригора тотчас высмотрел меня.

У него был легкий, чуть пружинящий шаг.

Он снова проверил мои документы.

«О чем думаете, сержант? — сказал он, возвращая удостоверение. — Увольнительная у вас до двадцати двух тридцати, а сеанс кончается в двадцать два сорок пять». «Я раньше уйду», — пообещала я. «Не уходите. Разомлеете в тепле — и не уходите. Вот и девушка подтвердит».

Старший лейтенант Подопригора неприятно усмехнулся.

«Ты иди», — Лида дотронулась до рукава моей шинели.

«А ты?».

«Я постою еще. Скучно дома».

#### 15

Ликер назывался «Северное сияние». Может быть — «Полярное».

На черной этикетке был изображен серебристый полярный медведь, окруженный расходящимися серебристыми лучами полярного (северного) сияния.

Когда продавщица в солдатском бушлате и толстых шерстяных перчатках наливала ликер в стакан, он казался густым и горячим, как расплавленный янтарь.

Я выпил всё разом, жар бросился мне в лицо, мигом разбежался по телу; даже концы пальцев наполнились этим сладким пьянящим жаром.

Страх ушел из меня — и тотчас распались привычные путающие связи с окружающим миром.

Я, не опасаясь, вышел из переулочка на площадь навстречу неизбежному патрулю.

Но пьяному часто везет, так же, как новичку на бегах.

Старший лейтенант Подопригора со своей командой рыскал где-то в окрестных улицах.

В темноте на рекламных щитах ярко сияла Африка — синяя, зеленая, солнечно-желтая.

Народа у кассы уже не было. Я постоял в коротком раздумье на опустевшей площади и, радостно поддавшись внутреннему зову, свернул направо, на бульвар.

Крепко ступая по притоптанному на дорожке снегу, я весело шагал сам не зная куда — куда-то на окраину, где темная сопка темнеда на фоне темного неба.

Я был одинок и свободен, как (мне еще не знакомый) путешественник по Африке.

Под покровом полярной ночи я пересекал другой континент.

Я чувствовал, как раскручивается Земля у меня под ногами.

Я шагал и пел.

Как многие люди, не одаренные способностью петь, я пою в одиночку.

Точнее: в одиночку — я пою.

Я пел, что иду по Африке, пел про пыль от шагающих сапог, пел о том, что нельзя останавливаться.

Надо мной по темному небу вселенской кардиограммой бежали, метались из конца в конец небесного простора малахитово-зеленые полосы полярного сияния.

*(Продолжение следует)*



## Валерий ЮХИМОВ

*/ Киев /*

\* \* \*

душные ночи июльской кабирин,  
(нет, не читал федерико кибирова),  
дикого лоха серебряный звон  
дышит польнью, до самой киммерии  
берег полог, словно пляж ланжерон.

да, ланжерон — пограничный прожектор  
шарит песок как кишечник прозектор,  
выше по склону подняться в кусты —  
шарят менты (затаился ли лектер) —  
вязкого воздуха листья густы

и не услышать глотков ркацители,  
так тягуче и долго в обнимку сидели,  
а струя из бутылки тягуче и долго текла,  
пока время не вышло, что волны успели  
обкатать нас, как мутный осколок стекла.

\* \* \*

ночь, полная борща, разлита сельдереем  
из звездного ковша. ночные существа  
дуреют, а лоза — наполнена луной, вот-вот созреет,  
как девка на гормонах. два прыща

свидетельство тому, как два цветка горошка  
валторнами ведут охотничий загон,  
вульгарный языкан и однодневка-мошка —  
в тарелках фарисейства исполнится закон.

ночных гостей петух разгонит стуком  
двери в сарай и пьяный абрикос янтарную слезу  
уронит с поцелуем, по науке  
караваджо, на спящую в неведеньи лозу.



\* \* \*

ужинали в хорошей компании,  
судачили о политике, бабах и о футболе,  
вышивали за встречу,  
надо же, чтоб собрание нарекли вечерей,  
тайной, тем более,  
в гефсимании.

расходясь лобызались тщательно,  
как покойный генсек с товарищем хонеккером,  
троекратно у трапа,  
и был им сигнал снизу, что, дескать, грядет утрата,  
и подпись иконовера,  
оплачено.

это что ж такое творится, товарищи,  
морду бить, так все, а после в кусты попрятались,  
нет на вас ирода,  
а ведь кушали в хорошей компании, выпивали не мимо рта,  
и такое состряпали  
показаньище.

и в тираж его пустили кабатчики,  
операторов-маляров созвали, блогеров-шмогеров,  
чтоб куражились,  
а всего то и было — бревно на сцене, да и то не заряжено,  
понесли пошморгивая  
в шабатничек.

\* \* \*

дождь разворачивался в роман,  
идя третий день кряду.  
греки намокли, охрип тимпан,  
приказав трое осаду.  
обложило. читать — не спать,  
страницы пухнут от влаги в трюме конском,  
слепому бояну псалом слагать —  
как у стен илионских...

дождь даждь нам днесь, джошуа, море слез  
хлещет волнами в танце иродиады  
так, что голову потерять, как сказал бы делез,  
в симулякре этой аркады.  
день восьмой, дождь стоит стеной —  
что он делал восьмого дня?  
курва-девка сидит за стеной  
и никак не разжечь огня.

нет позвонить марие, и все дела,  
скажет — в четыре, в десять — паром одесский,  
что ему дождь, потому как идут дела

на ришельевской.  
 аве, мария, салют, мария, шолом,  
 как хороши папиросы попова salve,  
 ночь впереди, утром уходит паром,  
 и пишет дождь о доблести и славе...

\* \* \*

всего лишь комок биомассы,  
 выросшей на хилых костях,  
 что выполз на берег талассы  
 и там засиделся в гостях  
 отмеренный датами прочерк  
 с короткою тенью на юг,  
 неотличимый от прочих  
 тире и дефисов вокруг.

продукт языка, воплощенный  
 цепочкой обрывистых слов,  
 к нему возвращается черным  
 штрихом, как в щеколду засов,  
 как лязгает в раме затворной  
 серифом засечковый шрифт —  
 сизифа коринфского ордер  
 и старого замка лафит.

что камень заталкивать в гору,  
 что воду таскать в решете  
 учения анаксагора  
 о первопричинной тщете —  
 пустое, как множество смыслов,  
 как чаша, которая на  
 другой стороне коромысла  
 уравновесит меня.

\* \* \*

где пращур пещерный жирафа чертил утонченно  
 рубилом по камню в окрестностях чада,  
 чтоб каменной лодкой отплыть со своим зоосадам —  
 ты спишь и не слышишь, вода прибывает. под черной

завесой чачвана над черной водой, в промежутке,  
 костра проступало мазком светотени на стенах  
 письмо и сплетаясь с корнями растений,  
 казалось арабскою вязью, когда бы не жуткий

славянский акцент в синодальном прочтении касры.  
 ты спишь и не слышишь, вода подступает в тумане,  
 по сходням торопятся львы — не москва ли за нами,  
 и smoke on the water три раза взрезается красным.

вода прибывает и дождь расцветает над молом  
эзоповой фразой и взгляд карантина в наркозе,  
как дождь, близорук, и надрывно кричит парходик —  
ты спишь и не слышишь, и кофе паршиво помолот.

\*\*\*

начало положил водопровод. покуда  
боги оставались на местах, кто стал бы замечать,  
что варварам назначена вульгата и ссуда  
на устройство водовода, и пенсии орлиная печать  
за высугу аттилле. vox populi,  
избравшего варраву как предтечу рыжебородого,

достиг и наших во поле  
краев с березою, что некому суродовать.  
они уже расселись за столом,  
и дом не твой и речи безобразны,  
их собственных певцов стремительный надлом,  
стремительный, и оттого — заразный.

\*\*\*

мокрое место осталось от бывшей республики,  
ночью ненастной торговка бормочет про бублики,  
спит буцентавр на дне с головою отрубленной.

сваи гниют не так быстро, прикрытые масками,  
где фуражом по декрету совета, обласкана,  
топчется стая тиффози на площади марко ван бастена.

своеобразно устроена здешняя канализация,  
тонкостей всех и не ведал горацио,  
сработана еще мынерабами — gzaie.

собственным именем наделена штукатурка. согласно либретто,  
шпагой пронзенная, плесень таится за нею, и это  
запечатлел на холсте объектив каналетто.

мокро. сирокко сгоняет волну, как рабсилу в каналы,  
кровь приливает и ей отворяют анналы,  
чтоб утолить пролетарский фонтан арсенала.

\*\*\*

в накинутах тюле в окне голосила ущербная,  
словно признала жильца в воскресенье вербное,  
ночь на излете дорожкой по водам затихшим  
водит иглой затупившейся слишком  
в правописании, шорох и плеск — откровение книги морфея,  
море приходит за податью, нам оставляя морфемы,  
словно расписки, на мокром песке в воскресенье.  
тюлевый занавес тронул сквозняк светотенью.

## Михаил Окунь

*/ Аален /*



### Клоны

#### **Клоны**

В аэропорту Штутгарта прибытие всех рейсов задерживалось от пятнадцати минут до часа. Москва, Цюрих, Вена, Лондон... В итоге на выдаче багажа все пассажиры смешались и выталкивались к встречающим через две двери беспорядочными сгустками или поодиночке.

В один момент обе двери автоматически раздвинулись, и в них одновременно появились два человека. Они были совершенно одинаковыми: плотное телосложение, квадратная голова, рыжий ёжик, тяжелые очки. Возраст — примерно тридцать. Одеты в одинаковые темно-зеленые куртки и коричневые брюки. В левой руке они держали одинаковые кейсы.

Было лишь одно существенное отличие: один был на голову ниже другого, уменьшенная копия. Но точнейшая.

Оба пошли к выходу из аэропорта. Я посмотрел им вслед — одинаковой походкой они удалялись в разные стороны, даже не посмотрев друг на друга. Чтобы уже никогда в этой жизни не соприкоснуться.

#### **Из детства: английский язык, «Сайгон»...**

Ехал остановку по Владимирскому до Невского, пересаживался на 5-й или 7-й троллейбус, ехал до Дворцовой площади. Дальше шел пешком по набережной до Дома ученых, на занятия английским.

Заниматься начал классе в третьем, еще до того, как иностранный язык пошел в школьной программе (тогда — с пятого класса).

Занятия вела Эмилия Федоровна Калаушина. Сын ее был довольно известным ленинградским художником, дочь — театральным режиссером, а муж — ученым, и потому жили они неподалеку, на Халтурина, в известном доме Академии наук.

Как-то раз мы проводили там репетицию, так как учебный год всегда заканчивался постановкой отрывка из английской классики, скажем, «Джейн Эйр». Дочь помогала ставить как режиссёр.

Другой такой квартиры повидать не довелось. По периметру большой комнаты шел встроенный двухэтажный стеллаж красного дерева. В одной стене — ниша с огромным зеркалом и полукруглым диванчиком. А поверху, сплошной лентой, — акварели в рамках, подлинники, в том числе Куинджи.

Когда учился уже в седьмом классе, на углу Невского и Владимирского открылась безымянная кафешка, позже ставшая знаменитым «Сайгоном». И повадился я туда на пересадке заглядывать. Хотелось чего-нибудь сладенького — например, «языка» из слоёного теста, посыпанного сахарным песком.

Народ там бывал самый обычный — зайдут, выпьют кофе и уйдут. Но уже начали кучковаться и некие богемные личности. Среди которых, не побоюсь дурных слов, встречались и козлы поганые, причем, весьма приставучие. Побаивался их. Клянчили у школьника мелочь — со скрытой угрозой, естественно.

Позже бывал там не раз, но первые впечатления остались самыми сильными. А воспоминаниями о более поздних временах «Сайгона» не отметились лишь самые ленивые.

### ***Мистическое***

На Серафимовском кладбище в Петербурге, над могилой, где лежат моя бабушка и ее средняя дочь, моя тётя, которую я не знал (она умерла в 1946 году, в двадцать лет, от туберкулёза), с годами всё опаснее клонился огромный старый тополь. Целил он одновременно и на соседний участок, где в ограде было несколько могил.

Однажды на Пасху мама встретила компанию, пришедшую на соседние могилы, и хотела было договориться с ними о совместном обращении в администрацию кладбища, чтобы дерево спилили.

Но один из молодых людей вызвался самостоятельно ликвидировать угрозу: возьму бензопилу и «кошки», приедем с ребятами, сделаем. И оставил телефон.

Через год поехали на Серафимовское. Смотрю: от тополя остался только высокий пенёк, металлическая ограда соседнего участка в двух местах всмятку, а на самом участке добавилась свежая могила.

Мама говорит: вот этот самый парень, что в ней лежит, и обещал спилить дерево. Позвонила ему осенью, чтобы узнать, как и что, а его мать отвечает: поехал на лето в деревню, там внезапно умер.

Похоронили здесь. А вскоре и тополь рухнул, смял ограду, чуть его могилу не задел. А наш участок совсем не пострадал.

Распиливали ствол на части и вывозили уже кладбищенские рабочие.

### ***Два деда***

Мой дед по отцу был старше деда по матери на 23 года (1876 и 1899 гг. рождения), это были люди разных поколений. Примерно в

одном возрасте — немногим более сорока лет — они встретили: первый — октябрьский переворот, второй — Великую Отечественную. Младший дед встретил ее уже в лагерях — его посадили в сорочковом — там и умер еще до окончания войны. Старший дед благополучно пережил тридцатые, бомбёжки Ленинграда (в их дом №13 по Большой Московской попала бомба, была разрушена лестница, их с верхнего, пятого этажа снимали пожарные), эвакуацию. По возрасту в армию его, понятно, уже не призвали. Умер в 1971 году в возрасте 95 лет.

Оба были приезжие. Младший — из Тверской губернии, его отдали в «мальчики» в магазин еще до 1917 года. Старший — из Перми, переехал с семьей в Петроград вскоре после 1917 года. У обоих родилось по четверо детей.

Знакомы они, конечно же, не были, но больше двадцати лет ходили одними петроградскими-ленинградскими улицами...

## ***Ленинградские типажи***

### **1. Математик Ваня**

Он жил в большой квартире на улице Достоевского, у Кузнечно-го рынка. Этот старый петербургский дом прежде, чем стать доходным, был публичным. На полу при входе в вестибюль наличествовал мозаичный фривольный девиз на латыни, заимствованный, вероятно, из лексикона древнеримских лупанариев. На фасаде красовалась мемориальная доска — мол, в этом доме в таких-то годах на партийных сходках бывал В.И. Ульянов (Ленин).

С Ваней нас познакомил писатель Слава Пьецух. Он иногда останавливался у Вани, когда приезжал в Ленинград. Хотя уюта там, естественно, не было.

У Вани была жена, совсем ему не подходящая — светская де-вushка, работавшая, вроде, на телевидении. В недавнем прошлом — приезжий акулёнок в погоне за пропиской и жилплощадью. Дома она появлялась, как я понял, эпизодически.

Внешность Ваня имел типичную для математика: борода, не-прибранность в одежде. Ваня был безработным и запойным.

Впрочем, безобразно пьяным, несущим околесицу, я его нико-гда не видел. Похоже, с гостями он пил в меру, а запивать по-настоящему предпочитал в одиночку.

И безработным называть Ваню, всё же, было бы несправедливо. Иногда он писал статьи по теоретической математике. Пару специ-альных журналов на серой газетной бумаге он мне показывал. Ста-тьи его состояли из нескольких страниц многоэтажных формул, со-единенных связками «таким образом», «разумеется», «а именно». К какой области математики всё это относилось, я так и не постиг.

Предки у Вани были знаменитые. По одной линии — хирург Греков, представленный портретом на стене. По другой — известный художник, чуть ли не Куинджи, представленный на другой стенке своими работами.

Ваня утверждал, что на их квартире в подпольные годы бывал Коба — за медицинскими консультациями у сочувствующего большевикам Грекова. Не здесь ли и Старик (партийная кличка Ильича) проводил свои сходки?

Показывал Ваня и записную книжку в сафьяновом переплёте, где черными чернилами стояло отточенное восьмистрочное стихотворение. Ахматова. И почерк, и подпись...

Времена моего знакомства с Ваней относились к концу 80-х — самому началу 90-х годов. Что с ним случилось дальше, не знаю — уж больно лакомым куском была его большая квартира в центре города. Возможно, он и выжил, потому что всегда был осторожен и настрожен. А возможно, акулёнок всё-таки его съел.

## 2. Эдуард Леонидович Роот

Небольшого роста, сухого телосложения, всегда коротко стриженный. Из немцев. На несколько лет старше меня. Поборник здорового образа жизни. Советовал непременно по утрам пить натощак экстракт подорожника — плантаглоцид.

С детства жил в коммуналке, в известном П-образном доме на Пестеля. Рассказывал, что после войны с ребятами копались в свалках у Михайловского замка, находящегося неподалёку. Из самого интересного — однажды нашел там старинный палаш. После смерти родителей так и жил один в той же коммуналке. На всё лето непременно снимал дачу где-нибудь у залива. Тогда это было доступно. Оттуда и на работу ездил, там и отпуск проводил.

Когда коммуналки стали откупать и расселять, без сожалений переехал в однокомнатную квартиру куда-то на окраину. Парк рядом, воздух, соседей нет... Был явно из тех людей, которым лучше в одиночестве.

Будучи инженером, подрабатывал настройкой роялей и пианино. Однажды я попросил его посмотреть пианино одной знакомой. Он потом рассказывал — какой-то неизвестной марки оно оказалось, впервые с такой столкнулся. А когда залез внутрь, обнаружил медную табличку с надписью «Root». Встретил однофамильца...

## *Две женские военные истории*

В женском подразделении, где во время войны служила поэтесса Надежда Михайловна Полякова (1923 — 2007), одну девушку «взял» себе капитан, но потом ее у него отобрал полковник. Покатился скандал. В итоге дело закончилось выездным трибуналом. Девушку за моральное разложение командного состава — то есть, это она их «морально разложила» — приговорили к расстрелу и расстреляли перед строем. Ей было двадцать лет.

Вторая история не столь трагична. Поэтесса Наталия Иосифовна Грудинина (1918 — 1999) в последние месяцы войны служила на Таллинской военно-морской базе. Там же служил ее первый муж. Это была единственная семейная пара в подразделении, а потому каж-

дый вечер к ним заваливалась компания офицеров. Война укатилась уже далеко. Спирта было в достатке, а единственным, что можно было приготовить на закуску для ежедневных застолий, была рыба. В изобилии. И каждый вечер Грудинина ее чистила, чистила, чистила...

Потом всю жизнь на рыбу смотреть не могла. Из-за нее, говорила, и с первым мужем развелась.

### **Крематорий**

Когда в начале семидесятых годов в Ленинграде у Пискаревки строили городской крематорий, для монтажа печей сначала хотели пригласить немцев. Но потом решили, что как-то это, в историческом плане, не того... И заключили контракт с англичанами.

Один «фирмач», как тогда выражались, находился в Ленинграде постоянно. Для удобства ему оборудовали вагончик рядом с местом работы. Часто он в нем и ночевал, не уезжая в гостиницу.

Быстро поняв, что полноценной ночной жизни в Ленинграде нет, он стал ежедневно бухать в этом вагончике с одним подручным работягой. Тот потом ругался: я с утра никакой, а у иностранца похмелье по нулям. Потом выяснилось, что, как у правильного европейского алкоголика, у того был с собой большой запас таблеток от похмелья. У нас тогда обо всех этих алказельцерах и слыхом не слыхивали.

Сжечь человека весьма непросто. При определённой температуре кости как бы стекленеют и в «прах», удобный для помещения в урну, не превращаются. В другом случае можно сжечь так, что праха вообще не будет, покойник вылетит дымом в трубу. Такой режим для неопознанных трупов иеется, называется «беспраховый».

На открытии крематория, говорят, произошел казус. В присутствии высокой комиссии загрузили пробный неопознанный труп и стали сжигать его в этом самом беспраховом режиме. Почему-то не оказалось тяги (может, англичанин слишком уж накануне перебрал), и дым пошёл на членов комиссии. Потом всё наладили, и крематорий бесперебойно дымит по сию пору.

### **Африканские студенты в Ленинграде 70-х годов**

Двое заметно подспившихся, с красными белками, вместе с толстой расхристанной девахой — в винном отделе гастронома на углу Литейного и Петра Лаврова. Один крупный, второй щуплый. Вся троица — явно с сильного похмелья.

Здоровый полез за бутылкой без очереди, мужики закричали. Чуть не возникла драка. Девка орала: «Джонни, не надо!..»

\*\*\*

Тихий, спившийся, замотанный в шарф, в ушанке с опущенными ушами при несильном морозце — в пивной палатке на Петроградской, на Максима Горького. Тёрся там постоянно, пил пиво с подогревом. Для местных мужиков был своим.



\* \* \*

По рассказу приятеля — сидел один с ними на ул. Каляева, где пятнадцатисуточников держали. «Мы ему показали, что такое советский застенок!..»

\* \* \*

Парочка — толстый и тощий — в доме отдыха под Зеленогорском. Сначала в столовой питались вдвоем, потом вместо тощего стала ходить девица, которую толстый где-то подцепил. А второй перешел на подножный корм.

Позже кто-то рассказал, что толстый — сын африканского племенного царька, посланный учиться в Ленинград. А тощий как бы тоже студент, но на самом деле сауга толстого, для того и командирован. И тогда в истории с отстранением от питания всё встало на свои места.

### ***Памалайка***

Эту историю рассказали в Институте нейрохирургии им. Поленова, где в середине 80-х годов мы проводили клинические испытания нашего прибора для ангиографических исследований.

Пациенту сделали операцию на головном мозге. Вторжения в мозг всегда чреваты неожиданными последствиями, однако в данном случае всё прошло вроде бы нормально.

Через несколько дней забирать прооперированного приехала жена. Собираются. Он говорит:

— Не забудь взять мою памалайку.

— ???

— Что тут непонятного? Памалайку!

Выяснили — «памалайкой» оказалась зубная щетка. У пациента, вроде, в голове порядок, но что-то малость закоротило, и родилась эта самая памалайка.

Мораль: человек искренне сказал «новое слово» — его не поняли, а он в толк не возьмет, почему. И в том его коренное отличие от некоторых писателей, которые (хотя и не будучи прооперированными) говорят «новое слово» именно в расчете на непонимание.

### ***Речка***

Одна моя знакомая, жившая в 90-х годах в районе метро «Ладожская», ежедневно с ужасом наблюдала, что к ее пятиэтажке со скоростью десять метров в месяц движется вещевой рынок. Одно ее как-то укрепляло духом — это речка, неглубокая и неширокая, протекавшая метрах в двадцати под ее окнами.

Но, тем не менее, сомнения закрадывались серьезные: вот уже они на тот бережок гордо выходят помочиться в воду. По окончании рабочего дня — компании, шашлыки. Мусор — в речку. Вот уже пару-тройку утопленников выловили после неизбежных торговых раз-

борок. Вот ниже этажом поселился некий повар — готовит плов в промышленных масштабах, ставит зимой на саночки гигантский алюминиевый бак, прёт его на рынок — кормить своих горячей пищей. В окнах клубится жирный пар круглосуточный, снизу по стене легионы тараканов карабкаются, штурмуют обречённый Карфаген.

Казалось, еще чуть-чуть, и речку форсируют без понтонных переправ, просто завалят хламом. Но нет, не сдалась речка! А позже и рынок упразднили.

Как в шахматах — даже безнадежную партию иногда можно выиграть.

### **Тост**

На одной свадьбе полковник из почетных гостей произнес прочувствованный тост, обращенный к новобрачным — о вреде алкоголя. Закончил он следующей максимой: «Алкоголь разрушает семью!» (именно так: в первом слове ударение на первый слог, в последнем — на последний).

Однако спустя часа полтора армеец вопреки своему тосту первым из присутствующих уже пребывал физиономией в селедке под шубой.

### **Конфетка с ромом**

Эту историю мне когда-то рассказали как реально произошедшую.

Один человек был запойным алкоголиком. Завязал, начал лечиться, исцелился. Бросил работу в кочегарке, поступил токарем на завод, стал передовиком, занимался общественной деятельностью, вступил в партию, стал депутатом райсовета и, наконец, получил героя соцтруда. На этот славный путь у него ушло около двадцати лет.

На банкете, посвященном этому событию, он по ошибке съел конфетку с ромом. После чего обнаружил себя наутро в каком-то угольном подвале — грязным, с ободранными руками и, естественно, без геройской звезды. Ничего не помнил.

Позже выяснилось, что после роковой конфетки он стал хлестать всё подряд, с банкета пропал. Его понесло в ту кочегарку, где он работал двадцать лет назад. Какой-то генной памятью алкоголика он вспомнил, что там у него с тех еще времен была запрятана маленькая, о которой он обычной неалкогольной памятью давно забыл. И стал рыть уголь голыми руками, пытаясь добраться до нужного места и добыть заветный малёк...

### **Чайковский и Бродский**

*(материал для школьной хрестоматии XXII века)*

Известно, что поэт Бродский не любил музыку композитора Чайковского. Как-то раз устроители его чествования в США, не знаящие этого, исполнили фрагменты из «Лебединого озера», желая сделать Бродскому приятное. Бродский встал и молча покинул зал.

Однако не все знают, что и Чайковский не любил стихи Бродского. Однажды ему предложили длинное стихотворение Бродского в качестве либретто оперы. Чайковский решительно отверг предложение: либретто напишет мой брат Модест — пусть и не в стихах. Эти слова передали Бродскому. Так возникла неприязнь двух великих людей.

### ***Спокойная жизнь***

За два дня до опубликования списка нобелевских лауреатов 1986 года Бродский разослал своим друзьям и знакомым телеграмму следующего содержания: «Через два дня спокойная жизнь закончится! Видимо, поэт был уверен, что вот-вот начнется другая жизнь — хлопотная «представительская» жизнь нобелиата.

Список опубликовали — Бродского там не оказалось (нобелевку он получил в следующем, 1987 году). Одна нью-йоркская знакомая Бродского рассказывала, что с трудом удержалась от отправки ответной телеграммы: «Поздравляю с продолжением спокойной жизни!»

### ***Об одиночестве поэта***

Читаю в статье о «молодой поэзии» следующее:

«Их жизнь сегодня бесконечно одинока, точнее, они бесконечно одиноки в своем одиноком ремесле». А речь идет об именах, которые на слуху — с публикациями в «толстяках», изданными книгами.

Этакое удобное, культивируемое «одиночество»: участие в многочисленных конкурсах и фестивалях, публикации, книги, собственная, уже практически обслуживающая критика... Тут можно, конечно, вернуть про «внутреннее одиночество», но это уже будет общим местом.

Леонид Аронзон (1939 — 1970), Александр Морев (1934 — 1979), можно назвать другие имена — этих талантливых поэтов действительно не замечали, чем, в принципе, доводили до самоубийства. Их одиночество было окончательным, обжалованию не подлежащим.

### ***Кого выбрали?!***

На очередную конференцию молодых литераторов Северо-Запада 1987 года Лениздат «щедро» выделил в своем плане следующего года две позиции для издания лучших рукописей — одну по поэзии, другую по прозе. Первую позицию неожиданно для себя занял я, и в следующем году вышла моя первая книга стихов «Обращение к дереву». Вторую позицию, по прозе, занял Сергей Янсон, ныне покойный.

Влиятельный писатель Евгений Кутузов, «дядя Женя», инициировавший впоследствии раскол ленинградской писательской организации с целью отделиться от «русскоязычных», как мне потом рассказывали, долго смотрел на фамилии двух счастливых и сокрушенно качал головой: мол, что за фамилии? — Окунь, Янсон... Кого выбрали?!

## **Литературные штампы**

Проямляя что-то о литературных штампах, по поводу при- сланных на прочтение стихов, в которых зацепиться было не за что. И получил следующий ответ:

«Как появляются штампы? Это же словосочетания, которые используют многие поэты, то есть затертые из-за частого применения? Тогда получается, что разным поэтам раньше можно было использовать эти словосочетания, причем настолько часто, что это стало штампом, а новым поэтам этого делать нельзя и они должны выдумать что-то свое. Очень несправедливый подход. Ведь во все времена описываются одни и те же чувства и то, что это делается у разных людей одними и теми же словами — в этом нет ничего странного».

Пушкин, Бенедиктов и Кукольник жили в одно время, писали на одном языке и использовали примерно одни и те же «штампы». Причем двое последних были в какие-то периоды даже популярнее у современников, чем Пушкин. Но Пушкин остался Пушкиным, Бенедиктов — поэтом, у которого можно найти замечательные строки (если бы не его словесные «водопады!»), Кукольник — автором текстов двух-трех до сих пор исполняемых романсов на музыку Глинки (что тоже отнюдь неплохо). Так что дело, наверное, не в штампах...

## **Книге — бой!**

В середине 90-х годов в одной из аудиторий Петербургского университета проходила презентация очередного выпуска литературного альманаха «URBI».

Выступление известной авангардистки Н.-Т. состояло из следующей инсталляции. Она принесла с собой какую-то книжку в мягком переплёте (это был, естественно, не презентуемый выпуск — издатель, думаю, обиделся бы, — просто некая безликая «КНИГА»). Эту обреченную книжку перед нею в раскрытом виде держал на вытянутых руках ассистент, а Н.-Т. наносила по ней удары кулаком с целью порвать. Зрелище было странноватое: пожилая дама, типа домохозяйки...

Победить печатное слово авангардистке удалось лишь с третьей попытки. Но виновата была не она — ассистент держал жертву некрепко, и та дважды вырывалась из его рук. Сам же он всё время был начеку и заметно нервничал — как бы и ему не перепало...

Наградой победительнице стали аплодисменты.

## **Творческий кризис**

Когда в 90-х годах еще под руководством М.М. Чулаки (1941 — 2002) Союз писателей Санкт-Петербурга стал коллективным членом ассоциации писательских союзов стран Прибалтики (нынче употребляют слово «Балтия», но мне оно режет слух), петербургским писателям открылась дорога в международный дом творчества на шведском острове Готланд. Многие успели этим воспользоваться, и не по разу.

По моим наблюдениям, на Готланде писателей нашего города настигала непонятная эпидемия — внезапный творческий кризис. Дело доходило до весьма острых случаев. Например, один автор детективов, бывший труженик таможни, с кем-то там что-то не поделивший, уволенный и ставший с горя писателем, пробыл в этом несчастливом месте всего три дня. Получив от Союза писателей Швеции положенное денежное довольствие на месячное пребывание в доме творчества и компенсацию стоимости билетов, он немедленно вернулся в Петербург.

Впрочем, детективщика могла сразить и внезапная тоска по родине. В таком случае, выдержанные им три дня можно считать подвигом, а полученную тысячу баксов — совершенно ничтожной компенсацией за это.

### **«Мастер»**

Этот человек ведет в Петербурге лито для молодых писателей. По роду деятельности ему, вероятно, приходится читать книги по теории стихотворения, в коем он, принципиальный недоучка, числит себя докой.

Как-то раз он безапелляционно написал мне, что я понимаю только в бедных классических рифмах (sic!), а к рифме «враль-февраль» из одного моего стихотворения наугаил несколько тысяч словосочетаний-аналогов в подтверждение ее расхожести.

Я, честно говоря, не могу взять в толк, почему это его так волнует. Но для интереса раскрыл петербургскую поэтическую антологию «Формация» на его стихотворениях (дай, думаю, взгляну, что же там за откровения), и увидел следующее (выписаны рифмы из двенадцатистрочного стихотворения): *живу//дело//наяву//тело; жилье//глазами//мое//годами; пружин//приспособлен//обособлен//жизнь.*

Тут и обсуждать нечего. Разве что добывает «приспособлен-обособлен» — думаю, рифма «ботинки-полуботинки» побогаче будет.

Я знаю, какая беда произошла когда-то с этим человеком. Один известный ленинградский критик, которого он усиленно поил в буфете Дома писателя, назвал его в предисловии первой книжки «мастером». И вскоре погиб под колесами общественного транспорта, не успев взять свои слова обратно. Вот с тех пор он и находится в святом заблуждении, что и действительно является «мастером».

### **Белла Улановская**

Несколько лет назад в редакции «Звезды» мне сказали, что автор, вычитывающий сейчас материал — муж писательницы Беллы Улановской, а сам материал посвящен ее памяти. Так я узнал о смерти Беллы.

Мы познакомились в 1986-м во время совместной «литературной» поездки в Пустошку, райцентр Псковской области — она, я и писатель Николай Коняев, возглавлявший нашу «делегацию». «Изучали» одну из перестроечных сельскохозяйственных затей — создание

агрокомплексов. Из той поездки запомнились безнадежные попытки достать хоть какой-нибудь алкоголь да странная фамилия директора местного совхоза — Поплеухов.

Белла работала научным сотрудником в музее-квартире Достоевского. А специалистом была по Ф.Сологубу. Именно она открыла мне его прозу.

Белла была прекрасным стилистом. А потому проза ее вызывала пристальный интерес одной московской писательницы, с первой книги объявленной живым классиком. Блещет она и по сию пору — больше, правда, в различных телевизионных шоу. А интерес был пристальным настолько, что Белла как-то раз показала мне некоторые прямые заимствования из ее текстов у этой писательницы. Но кто и что пойдет доказывать? С одной стороны, столичная знаменитость, с другой — малоизвестный представитель ленинградского андеграунда.

Помню, как посмеивалась Белла над стихами другого классика, закончившего одно «перестроечное» стихотворение строкой: «Так ты и с политикой дружен? — и с нею!» Мол, как мужички, когда подвыпьют в компании — обязательно надо «за политику» потолковать.

### ***По мотивам братьев Гримм***

В последний раз на общем собрании Союза писателей Санкт-Петербурга довелось побывать в 2004 году.

На сцену Дома журналиста, где проходило собрание, для выступления вышел критик В.Т. Он был в каком-то неимоверном пуховом свитере чуть ли не по колено, светло-кремовых нежных тонов. В сочетании с длинными седыми волосами и бородой критика это создавало странный эффект.

Ехидный писатель Б., сидевший рядом, шепнул мне на ухо: «Похож на Белоснежку и гнома одновременно...»

### ***«Блажен, кто смолоду был молод...»***

Вот иные пииты — за сорок, а то и за пятьдесят, а всё тинэйджерский сленг, на себе — фенечки, в стихах — мулечки. Эпатажат, но острожненько, с оглядкой. Бьлые запои охотно вспоминают, грозят миру уходом в новые. Но не уходят, а продолжают тяжкие труды по самопиару. Одна, но пламенная страсть: мелькать, мелькать, мелькать...

### ***В редакции***

- Мне бы редактора Датова...
- Они тут все датые. Кого конкретно?

### ***Безмозгис***

Редактриса одного крупного столичного издательства написала в своем живом журнале, что ей предложили прочесть на предмет из-

дания рукопись канадского русскоязычного автора по фамилии Безмозгис. На что некий блогер в своих комментариях резонно заметил, что с такой фамилией в современной российской литературе этот автор обречен на успех.

### ***Поэт Николай Оцун***

Странно видеть даты его жизни. Слева — 1894 — что-то безнадежно давнее, восьмёрка, девятка, позапрошлый век... Государь император, десять лет до Русско-японской войны, двадцать — до Первой мировой... Справа — 1958 — опять девятка, восьмёрка, — но это как вчера: вот пошел в первый класс, в новое здание серого кирпича, стоящее в проходном дворе между улицей Правды и Разъезжей. А между этими двумя датами — всего лишь неполных 64 года.

Твёрже по мертвым листьям,  
по савану первого снега,  
Солоноватый привкус поздних осенних дней,  
С гиком по звонким камням летит шальная телега,  
Трижды прекрасна жизнь в жестокой правде своей.

Это написал молодой человек, двадцати шести лет от роду.

### ***Анаис Нин***

Самое верное дело для прозаика — пожизненно вести дневники. Имею в виду, разумеется, писателей, которые «питаются» собственной жизнью, а не тех, кто своими сочинениями никакого отношения к личной судьбе не имеют.

Самый убедительный пример — Анаис Нин. Сто пятьдесят томов (так пишут в биографиях — но, конечно, тетрадей) дневников. На склоне бурных лет старушке оставалось только снять тетрадочку с полки — а там и Генри Миллер, и Джун, и черт в ступе, и белка в колесе — эротический рассказ готов!

### ***Вопросы похмелья***

За всю жизнь я знал лишь одного человека, которому чувство похмелья было совсем неведомо. Это был актер Всеволод Ларионов (1928–2000). Свою первую главную роль он сыграл еще подростком в фильме «Пятнадцатилетний капитан».

В фильме «Очи черные» у него была длительная сцена с Марчелло Мастоинни — на палубе парохода. Сева вспоминал: «Я его размазал! Его не было видно». Свидетельствую — мировая знаменитость на фоне Ларионова абсолютно потерялась.

Сева действительно был замечательным, но недооцененным актером. А в плане похмелья — просто счастливым человеком.

## **Две встречи**

В 2007 году, в одном и том же летнем месяце, на одной и той же улице Рубинштейна в Петербурге, я случайно встретился с двумя актерами.

Гоша Куценко выскочил из кафе на углу Невского. Мы столкнулись нос к носу и почему-то поздоровались. Меня частенько принимают за кого-то другого. За ним бежал охранник кафе с блокнотом и ручкой — для получения автографа. Гоша черкнул и быстрым шагом пошел по Рубинштейна. Популярный, узнаваемый...

С Сергеем Бехтеревым встретились в продуктовом магазине. Тоже поздоровались — но в данном случае осмысленно. Он был вял, на вопросы отвечал нехотя. Теперь думаю, что он находился в перманентном запое, и следовало бы ему поставить. Но у нас уже было, и мы с товарищем-художником заторопились в его мастерскую у Пяти углов (а может быть, стоило бы пригласить с собой и Бехтерева). В следующем году актер умер.

Эти две встречи, прошедшие по касательной, не могли не натолкнуть на размышления о полярности актёрских судеб. Прижизненных и посмертных. Хотя о втором можно будет судить не раньше, как лет через пятьдесят после смерти актеров.

## **Слово о партии**

На первых послеперестроечных актерских капустниках в ленинградском Доме актера торжественно объявляли: «Слово о партии». К роялю выходил актер Аркадий Коваль в черном смокинге и белой манишке, складывал ладошки по-концертному, замирал. Аккомпаниатор напряженно глядел ему в рот. Пауза. Аркашка громко произносил: «Ненавижу!» и уходил под бурные аплодисменты.

## **Носители языка**

В Штутгарте на главной площади Шлоссплац один молодой человек изможденного наркоманского вида просил у прохожих мелочь. Если ему отказывали, говорил на ломаном русском, нечетко: «Иди на х...!» Видимо, что-то осталось в памяти от общения с каким-то русскоязычным коллегой.

Через некоторое время увидел его уже в вагоне метро. Занимался он тем же, с той же присказкой. Обратился к группе молодых людей азиатского типа с широкими обветренными «степными» лицами. Те смущенно — очевидно, ничего не поняв по-немецки — покачали головами. Но, будучи посланными на три буквы, степняки внезапно встрепенулись:

— Ну ты, мудака, фильтруй базар!

Немец понял, что нарвался на «носителей языка», и по-быстрому ретировался.



## **Китайцы**

В поезде Москва — Петербург их полно. Проводница жалуется: бельё в туалете стирают. А одна пожилая китайка показала мне, как надо правильно в очереди стоять. Не обращая внимания на меня, ждущего у титана очереди в туалет, прошла вперёд и всем телом прижалась к запертой двери. Первая!

Гостиница «Карелия», что неподалеку от моего дома, ими забита. Утром гуляют в парке небольшими группами, фотографируются с рыбаками на пруду. Те быстро сообразили: повытаскивали старые тельники, обзавелись пятнистой камуфляжной формой, обвешались какими-то бляхами. Ветераны всех Пунических войн! И стали с китайцев дань за съёмку собирать.

### **«...И действительно смерть придет?»**

В 2009 году при взрыве многоквартирного дома в Тульской области погибла старушка 101-го года! Пережила Николая Второго, Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Ельцина... Горбачёва перетерпела. А вот Путина с Медведевым не удалось...

### **Проспект Энергетиков: записки жаркого лета 2010 года**

Рыбаки на пруду Восьмёра в парке рассказывали, что этим летом во время аномальной жары находили много мертвых окровавленных голубей. Это вороны их расклёвывали, но уже мертвых. По версии мужиков, голубь — птица настолько глупая, что когда пересыхала лужица, вокруг которой они паслись, им не хватало ума перелететь несколько десятков метров к другой. И погибали от жажды...

\*\*\*

Утром подходит мужик. В запое, видимо, уже не первый день, перегар отходит послойно:

- У меня к вам одна просьба!
- Какая? (думаю, стандартно, десятку «в долг»).
- Убейте меня!

\*\*\*

Местная девушка Оксана, увидев у меня швейцарские часы:

- О, у нас на Энергетиков такие вместе с рукой отрывают!

### **Полосочки**

Пошла мода на прически с выбритыми полосками на висках и затылке. Новая присказка для Шарикова:

- Дай папиросочку!
- У тебя голова в полосочку!

## ***В интерьере рюмочной***

Часть моего доклада, прочитанного на Довлатовской конференции в 2011 году, была посвящена ленинградским рюмочным. Но то, что увидел в одной исторической рюмочной в Калининском районе, по-настоящему удивило. Лежит там в углу на диване мужичок. Рядом столик на колесиках с чайной чашкой и газеткой, у дивана тапочки, в ногах перед ним тумбочка с телевизором. Спокойно смотрит новости, на посетителей ноль внимания. Живет, видимо...

## ***Шиншилла***

В подворотне на Моховой стоит алкаш в домашней одежде и шлёпанцах, а на руках у него шиншилла. Трогательный зверёк — ушки, усики, пушистый хвостик... Но на глазах — мутные голубые бельма.

Владелец говорит: «Она у меня уже лет пятнадцать живет, старая, ослепла». И смотрит выжидательно.

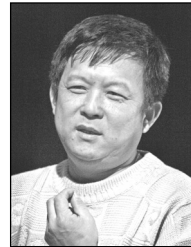
Видимо, такой способ выпрашивать — зверька на плечо и, не переодеваясь, на улицу.

Я ничего не дал. Наверное, зря...

2007–2012

## Станислав ЛИ

*/ Алла-Ата /*



\* \* \*

В этом мире,  
Где люди делятся  
На богатых и бедных,  
На удачливых и не очень,  
Я по-прежнему одинок.

\* \* \*

И высокие горы с годами  
До гальки мельчают.  
И с полных рек вода уходит,  
Обнажая дно.

Так зачем  
В своём сердце  
Храню я обиду и верность?

Будто тысячу лет проживу...

\* \* \*

Помнишь  
Деревенского дурачка Сундори?  
Заложив левую ладонь  
В правую подмышку.  
Он издавал смешные звуки.  
Визжал по-щенячьи,  
Орал петухом.  
А ведь об этом  
Никто не просил.

\* \* \*

Всё лучшее  
Сохраню и запомню.  
Всё худшее  
Сожгу, уничтожу

Моя память —  
Костёр негасимый.

Редких звёзд желтизна  
Среди пепла.

\* \* \*

С неуместно  
Весёлым лицом  
Я встретил на похоронах  
Незнакомо  
Мне человека.

## Дед

Холодными утрами  
Он сидел на плоском камне,  
Посасывая пожелтевший мундштук  
С потухшей сигаретой «Прима»,  
А под ногами  
Сновали  
Рыжие и черные муравьи.

\* \* \*

Как завидовал я —  
Соседскому мальчишке:  
Раскинув мольберт  
Под одиноким кленом,  
Он старательно  
Рисовал  
Наши горы.

\* \* \*

Взобравшись на пень,  
Сверкая глазами,  
Он держал перед нами,  
Одиннадцатилетними пацанами,  
Свою страстную речь...

Сошедший с ума  
Учитель истории...

\* \* \*

После похорон,  
Был поминальный обед.  
Двоюродная сестра,  
Сидевшая рядом,  
Шепнула:  
— А всё же бабушка  
Больше всех любила тебя.

\* \* \*

Она приходила на рассвете,  
Бесцеремонно тарабанила в дверь,  
Сестра моего деда.  
Приносила бумажный кулек:  
Жареные тыквенные семена,  
Две-три конфеты  
«Гусиные лапки»...

\* \* \*

И в эту весну,  
В недолгую пору цветенья  
Забыл,  
Как хотел  
В снегопад  
Увидеть цветущую  
Ветку сирени...

\* \* \*

Когда-то...  
Я мог дотянуться  
До самой высокой звезды!

Сейчас, когда вырос,  
Мне кажется это  
Смешным, бесполезным занятием.

Увы...

\* \* \*

Умиравшему деду  
Я показывал  
Простейший фокус,  
Наивно полагая,  
Что отвлекаю его  
От мыслей о смерти.

\* \* \*

Сухая,  
Светлая осень.

В воздухе  
Блеснула и исчезла  
Паутинка.  
Разорвав мои мысли  
Пополам...

\* \* \*

Никак не привыкну  
К одиночеству.  
Особенно по ночам,  
Когда в окнах синева  
Сгущается до черного цвета...

\* \* \*

Яблони в белом дыму.  
Тихо.  
Шмели жужжат.  
Кто там  
По сердцу идет моему  
В сладко вздремнувшем саду?..

\* \* \*

Ночной порой  
Мы проходили  
Смеясь,  
Мимо могил  
Старого кладбища,  
Еще не зная,  
Что такое смерть.

\* \* \*

Забываюсь во сне,  
За порогом его,  
Оставляю тревоги.  
Словно обувь в передней,  
И как прежде, совсем,  
Не спешу просыпаться.

\* \* \*

Не знаю, зачем...  
То появляются, то исчезают  
Строки стихов,  
Как круги на воде,  
От капель дождя.

\* \* \*

Мама впереди меня,  
Мама позади меня,  
Мама вокруг.  
Так было,  
А теперь, когда её нет,  
Везде проваливаюсь в пустоту.

## Моисей БОРОДА

*/ Көрне /*



### Нет!

Когда его провожали на пенсию — с речами, подарками, сожалениями о том, что такой ценный работник покидает их коллектив, с пожеланиями долгих лет, здоровья и прочей атрибутикой, с которой провожают ещё живого человека в никуда и навсегда, он, сидя за покрытым красной скатертью столом рядом со своим теперь уже почти прошлым начальством, думал только об одном — чтобы всё это как можно скорее кончилось, он смог бы отправиться домой, лечь пораньше спать, и утром, встав свежим и полным сил, взяться, наконец, за свой Проект, который он вынашивал уже несколько лет, но к которому приступить ему мешали то авралы на работе, то домашние дела, а то и с возрастом всё чаще дававшая о себе знать усталость.

Он до деталей запомнил тот день, когда ему впервые пришла в голову его Идея — именно так, с большой буквы, он её про себя называл: как они с женой, задыхаясь от духоты, ехали в жаркий солнечный день в переполненной электричке на дачу к их друзьям, как хозяин дома — такой же книголюб, как и он сам, но более удачливый, поскольку его племянник руководил областным отделом культуры — показал ему со словами «Смотри, что я приобрёл!» изданный Академией Наук том пословиц и поговорок народов мира, как он, взяв в руки тяжёлый том и открыв его наугад, упёрся взглядом в знакомое ему с детства «Пословица не даром молвится», и как его вдруг обожгла мысль, что ведь это «недаром» можно как-то проверить, попробовать «на зуб», в эксперименте, что этого, кажется, никто до этого не делал и что он может быть первым, сказавшим в этой области своё слово.

Он помнил, как, стоя с раскрытым томом в руках, смотря на страницу с поразившими его словами отсутствующим взглядом, на вопрос хозяина «Что, брат, впечатляет?» он не нашёлся, что ответить, как хозяин, польщённый его смущением, одолжил ему на прощание — «Знаю, что вернёшь!» — книгу, как на обратном пути жена, удивлённая его молчаливостью, пыталась его разговорить, но в конце концов, раздосадованная ответами невпопад,

замолчала и была с ним весь оставшийся вечер демонстративно холодна, и как он, улёгшись в постель, улыбнулся себе и, уже почти засыпая, прошептал: «Да!»

С тех пор прошло несколько лет, и он каждый вечер говорил себе, что да, сегодня, к сожалению, день был заполнен до предела, но вот завтра или уже на следующий день и уж при любых обстоятельствах во время отпуска он возьмётся за свой труд, начнёт, наконец, обрабатывать свою Идею, и тогда... Но проходил день за днём, богатая событиями жизнь подбрасывала новые заботы, за полным делами днём приходил вечер, а с ним — и надежда на завтра, на следующую неделю или на очередной отпуск.

Но вот, наконец, этот день настал, и он, сев за письменный стол и положив перед собой чистый лист бумаги, принялся составлять план своей работы, впервые представившейся ему во всей её полноте.

Необъятность задачи не пугала его. Природная усидчивость, умение систематизировать факты и общая организованность — качества, позволившие ему в короткий срок продвинуться по служебной лестнице до главного бухгалтера огромного министерства — сослужили ему в его начинании хорошую службу.

Недомогания последнего времени — неприятные ощущения под ложечкой, внезапно наваливающаяся усталость, ощущение выжатости — всё это как-то отошло, укрепив его во мнении, что его уход на пенсию — от ежедневной напряжённости, отнимающих силы авралов, вынужденного и не всегда приятного общения с коллегами — был если и не запоздалым, то уж во всяком случае своевременным.

Сравнительно быстро удалось ему расклассифицировать свой материал на проверяемый экспериментально и непроверяемый, или проверяемый условно — к последнему отнёс пословицы и поговорки, касающиеся Бога, души, и т.п.

Закончив классификацию, он начал то, что он называл проверкой. И хотя всё оказалось сложнее, чем ему вначале думалось, замысел его пусть медленно, но осуществлялся.

Самым сложным было организовать эксперименты.

Друзья и знакомые, к которым он по этому поводу обращался, услышав, о чём идёт речь, либо странно улыбались, либо подымали на него недоумённый взгляд — планов своих он не раскрывал никому — но потом всё же помогали ему: он всегда слыл в том, что не касалось служебных дел, несколько чудаковатым. Но ни странные улыбки, ни недоумённые взгляды не производили на него никакого впечатления, не зародили в нём сомнения в осмысленности его цели — впрочем, он едва воспринимал недоумённую реакцию других.

Его жена, привыкшая за десятилетия их супружеской жизни к чудачествам своего во всём остальном уступчивого, заботливого, обеспечившего ей безбедную жизнь мужа, не вмешивалась и не спрашивала его, чему он отдаёт своё время, сидя по многу часов в день за письменным столом и что-то напряжённо обдумывая.

Похожее в их жизни уже бывало.



Так было, когда он вдруг загорелся идеей построить какой-то особенный модель-планер и, углубившись в теорию, вскоре поразил их знакомого лётчика своим пониманием аэродинамики полёта — впрочем, идея его планера оказалась неосуществимой.

Или тогда, когда он — так же вдруг — увлёкся филателией, точнее, её теоретической стороной — на покупку настоящих коллекционных марок денег, разумеется, не хватало — и через короткое время к его советам стали прислушиваться местные филателисты, предложившие ему без долгих разговоров вступить в их клуб — от чего он, ссылаясь на занятость, вежливо отказался.

На какое-то время он увлёкся географией — и весь дом, казалось, пропитался ароматом незнакомых стран, открытий, землеописаний, наполнился именами выдающихся путешественников.

Все эти увлечения длились, в общем, недолго, уступая место другим, и книги по филателии и каталоги марок, вытеснившие книги по аэродинамике, благополучно отправлялись в чулан, уступая место предметам его следующего увлечения. Но сейчас — она чувствовала это с возрастающей тревогой и, что греха таить, страхом — сейчас это было что-то совсем другое.

Раньше, когда она обращалась к нему, сидящему над очередным фолиантом, с каким-нибудь вопросом или просто с ним разговаривала, он отзывался сразу — качество, которое она в нём ценила, ибо считала себя, что бы там ни было, объектом номер один в их жизни. Сейчас же он, прерванный в своих занятиях её вопросом, обращал к ней недоумевающий, отстранённый, а подчас и едва скрытый вежливостью раздражённый взгляд.

Нет, в часы, когда он был свободен от своих занятий, когда он, как она себе подчас со злостью говорила, «отряхивался от шелухи», он становился вновь милым, заботливым и — как она написала своей сестре вскоре после своего замужества — «легко управляемым». Но периоды эти постепенно становились короче, и она понимала, что в жизнь их вошло что-то новое, и как повернётся эта жизнь дальше, сказать было трудно.

Временами она чувствовала, что задыхается от напряжения и невозможности что-то изменить, не говоря уже о том, чтобы оторвать его от его занятий: это была единственная область, где он оставался полновластным хозяином, и всякое её вторжение туда — пусть и самое благожелательное — отсекал уже на пороге.

Её тревожило, что за время своих занятий он сильно похудел, но на попытки заговорить с ним об этом он или отшучивался, отвечая, что постепенно обретает юношескую стройность, или вообще прерывал разговор, так что в конце концов она больше не задевала эту тему, приписав всё напряжению, с которым он работал, и его постоянному недосыпанию: теперь он нередко засиживался за своим столом далеко за полночь. Несколько раз она видела, как он, откинувшись на спинку кресла, сидит, с побледневшим лицом, закрыв глаза, и на лбу его выступают бисеринки пота — но, посидев так некоторое время, он опять принимался за работу, а на её вопрос, в чём было дело, отвечал, что просто хотел отдохнуть и что с ним всё в порядке.

Между тем время шло, и работа его близилась к концу. За три года, прошедшие с того памятного утра, когда он сел за свой письменный стол и раскрыл первый сборник пословиц, ему удалось сделать многое. За пословицами в его коллекцию вошли проверяемые поговорки, потом к их сообществу прибавились изречения знаменитых людей и крылатые фразы.

Иногда он позволял себе удовольствие обозреть свою коллекцию, и тогда он говорил себе, что вся его прежняя жизнь — пусть и наполненная не бог весть какой интересной работой, не оставившей в сердце ничего, кроме воспоминаний о страхе не успеть к сдаче очередного баланса или о нелепостях, вызванных очередным «взбрыкиванием» руководства — что вся эта жизнь, все эти годы, и даже его увлечения, были подготовкой к тому главному, что лежало сейчас перед ним на столе, оформленное в пухлую рукопись. И пусть даже эти три года не были для него простыми, пусть то, что ему вначале казалось ушедшим — боли под ложечкой, внезапно накатывающая дурнота, ощущение выжатости, потери сил — на самом деле не ушло, а отступило только на время, чтобы ещё с большей силой и всё чаще наваливаться снова — что ж: это была плата за то, чем он сейчас обладал.

С тревожным нетерпением, постоянно проверяя, не делает ли — а того страшнее, не сделал ли — кто-нибудь уже что-то подобное, ждал он того дня, когда он, ещё и ещё раз проверив всё, даст «добро» и «выход в свет» своим изысканиям, как он когда-то, проверив всё до мелочей, давал «добро» и «выход в свет» очередному балансу.

Он уже начал обдумывать, как и кому он мог бы предложить свою работу к изданию, когда вдруг, проверяя, весь ли материал им охвачен, он увидел в одном из источников изречение, которое, как это ни странно — относилось оно к весьма известным — ускользнуло от его внимания.

«Сомневайся во всём», — прочёл он, перечитал, не вполне вникая в смысл, ещё раз, потом ещё.

Сперва оно показалось ему забавным, «красным словом» или вообще какой-то чепухой, которой не стоит и заниматься, и уж совсем не стоит ради этого откладывать ту самую завершающую точку, которая уже настойчиво стучалась в дверь. Но постепенно изречение захватило его — за ним чувствовалась какая-то неясная угроза всему, чему он отдал эти три года затворнической жизни и напряжённой работы.

— Как — во всём? Что значит — во всём? — спрашивал он себя, а может быть, и невидимого собеседника. — Если... во всём, то значит, и в том, что он сделал, во всех методах, которыми он пользовался, проверяя высказывания других.

И разве весь смысл того, что он делал — и сделал! — не был именно в этом «сомневайся, а поэтому проверь», и разве... Но — во всём? И если «во всём», то и этом самом высказывании ведь тоже. Но...

Она вдруг с ужасом заметила, что он сидит теперь часами за своим письменным столом в совершенной неподвижности, глядя отсутствующим взором в окно, а когда, принуждаемый ею, встаёт, то делает это через силу, с какой-то виноватой улыбкой на лице — как у ребёнка, уличённого в том, что он сделал что-то не то, и ожидающего если не наказания, то уж во всяком случае порицания. Изменилась и его походка: прежде уверенная, энергичная, она сделалась какой-то ищущей, шаркающей, словно бы извиняющейся.

Их обеды, раньше составлявшие для обоих приятные часы, когда можно было, не оглядываясь на время, в преддверии наступающего вечера, говорить друг с другом, превратились теперь в тягостные, наполненные кричащим молчанием трапезы, оживляемые разве что каким-то её коротким вопросом и таким же коротким, как бы стыдливо прячущим глаза, его ответом.

Перемена, происшедшая с ним, затронула и их прежде гостеприимный, любимый друзьями и знакомыми, дом. Их дети, жившие в другом городе неподалёку и посещавшие родителей по меньшей мере раз в месяц, последнее время, неприятно удивлённые переменной с отцом, не вдаваясь, или не желая вдаваться, в подробности, перестали приезжать вовсе, тем более, что его отчуждённость, не скрываемая теперь уже и улыбкой, проявлялась всё очевиднее.

Теперь он всё чаще лежал в постели, поднимаясь на час-два с утра и, прослонившись неуверенной, шаркающей походкой по дому, вновь ложился. К письменному столу он больше не подходил.

Ел он уже только по её настойчивым уговорам. Аппетит у него, раньше «почти гурмана», как он любил о себе говорить, пропал, и единственный вкус, который он всё время во рту ощущал, был доводивший его тошноты вкус мяса, хотя он уже давно не притрагивался ни к мясу, ни к чему другому, что могло бы мясо содержать. Иногда, стоило им сесть за обед, как он, сославшись на то, что не может выносить запаха того или другого блюда, или на внезапно навалившуюся усталость, вставал из за стола, шёл к своей постели, ложился и лежал с открытыми глазами, не отвечая ни на её вопросы, ни на просьбы — а может быть, вообще их не слыша.

Всё чаще жаловался он на боли в желудке и в правом боку, но на её вопросы, где точно, в каком именно месте, или не отвечал вовсе или говорил: «везде» — и сразу замолкал.

Испуганная, сдавшая без слов свои позиции главенствующей в доме, она умоляла его показаться врачу. Наконец он согласился.

Обследование было долгим и тяжёлым, приговор коротким. Операция была бы бессмысленным мучением, рассчитывать на действие других методов не приходилось тоже.

Врач, огрубевший от постоянного общения с мечеными смертью людьми, не глядя ни на него, ни на его жену, произнёс свой приговор бесстрастным голосом, в коротких словах, добавив только, что надо было обследоваться раньше.

Он выслушал диагноз молча, с отсутствующим взглядом, как будто речь шла не о нём, а о каком-то другом, совершенно постороннем ему человеке, и спросил только, где туалет. — В конце коридора направо, — ответил врач тем же бесстрастным голосом.

Он вышел.

Она осталась одна с врачом; повисло тяжёлое молчание. Наконец она спросила: «Сколько ему... осталось?», на что врач грубо и просто сказал: «Месяц, от силы два».

В это время вошёл он, и она сразу поняла, что он слышал последние слова врача. Она подняла на него глаза. Взгляд его не выражал ничего, кроме застывшего в глазах вопроса, на который он всё время искал и не мог найти ответ.

Они вышли. На улице он вдруг сказал: «Месяц... Это всё же не так мало... Месяц...» Она остановила такси, и они поехали домой.

Придя домой, он сразу лёг в постель и попросил её дать ему его рукопись, стопку чистой бумаги и карандаш. Больше он с постели не вставал, лёжа на спине с неподвижно уставленным в потолок взглядом. Рукопись и стопка бумаги лежали рядом на стуле, так, чтобы он мог свободно дотянуться до них. Но он почти не прикасался к ним, всё время что-то сосредоточенно обдумывая.

Умер он на рассвете.

Она, всё это время не отходившая от него, спавшая в той же комнате, что и он, на другой половине, придавленная тяжёлой усталостью, заснула, а когда проснулась и подошла к нему, он был уже мёртв. На лице его, всё последнее время упорно сосредоточенном, застыла улыбка человека, наконец-то нашедшего решение долго мучившей его загадки.

На полу перед его постелью лежало несколько листков — может быть, она задела лежащую на стуле стопку бумаг, когда подходила к его кровати, а может быть, они упали раньше. Избегавшая за всё время его болезни смотреть в сторону, где лежала его рукопись, она нагнулась, подняла листки и положила их на прежнее место. Взгляд её при этом невольно упал на верхний листок, на котором было что-то написано, что издали было трудно разобрать. Она взяла листок в руки и поднесла его к глазам.

Выписанное старательно преодолевающим дрожь почерком, на листке стояло короткое слово: «н е т!»

# Сергей ТЕНЯТНИКОВ

*/ Лейпциг /*



## Речь

Плыть, открыть  
новую галактику,  
где инопланетный разум  
ищет счастье.

Дневник не писать,  
дней не считать,  
книг не смотреть —  
сплошная нагота человека,  
и воды, и неба.

И если киль уткнётся в звезды песок,  
промолчать просто, а не закричать: «Пустыня»!

Дрова горят ярче всех бумаг.  
В смолянистой гуще костра  
двое любящих светлее их общего будущего:  
вспомнить, как, зачавшая от Адама,  
мама тебя отправляла в грядущее.

Стать болью, страхом... молью,  
бросаться в огонь, в окно печи.  
Стать снова пустым, а не полным,  
как сон, как нос без лица, как озон.

Жить безденежным безбожником.  
Жить, как сталь, которая льётся из печи.  
Жить, как перочинный ножик —  
во всю глубину бумажного листа  
и ещё шире жить...

Речь — не печать.  
Речь чернее, чем кофе.  
Речь прочнее вещи.  
Речь больше человека.  
Речь — это огонь в печи.

## Дуб

Дуб стоит в лесу, как дом,  
как стол, как гроб.  
Дуб стоит ни жив, ни мёртв,  
словно предмет туалета  
осени, зимы, весны и лета.  
Уши его оглохли,  
губы его зачерствели.  
Дуб врос головою в землю  
на сотни лет.  
Дуб разут, раздет,  
Бездетен.  
Дуб уже не дерево, ещё не зверь.  
Дуб стоит, как сто дверей.  
Он в землю зарывается глубже,  
чтобы быть к ней ближе,  
чтобы стать с ней одним  
целым — единым,  
вечным...  
чтобы видеть её свет  
ещё тысячи лет,  
чтобы птицы его не смогли когтями  
схватить, вырвать, унести  
из леса туда,  
откуда возврата нет.

## Пересекая страну ветряных мельниц

Пересекая страну ветряных мельниц,  
поезд, как хмель, тянется к солнцу,  
цепляется за кирпичи пшеничных полей,  
где отрывка звучит, как слово «воля».

Вчерашний день забывается, как  
после войны противопехотная мина.  
Люди прибывают на вокзал  
с новостями (самые горячие  
уезжают быстрее всего).  
Кривая горизонта, повторяющая  
букву ш. Девочка на перроне  
кормит собаку апельсином.  
Сначала темнеет лес, постепенно  
поле, напоследок — небо.  
Всё чернеет. В окне не остаётся  
ничего, кроме твоего отражения,  
в которое, впрочем, тоже слабо верится.

## **Солдата хоронят с почестями**

*Елене Иноземцевой*

Солдата хоронят с почестями  
по всем телеканалам.  
Без автомата, без осколков,  
в форме цвета заката.  
Не слышно ни дождя, ни плача,  
не видно ни лиц, ни звёзд.  
Солдат ложится в могилу,  
обняв пустой живот.  
Он — ключ, не нашедший двери.  
Он — Бог, не зачавший сына.  
Его сердце становится глиной,  
и в нём нет места для мира.

## **Бастион**

Полная луна.  
На ней вода цвета закаленной стали.  
Текут катера, лодки, изредка корабли и танкеры.  
Через залив по берегу избегают пальмы

и скатывается к волнам редкий кустарник.  
 Под стенами бастиона — Гавана  
 легла, словно мулатка в разорванном платье  
 под красавца-испанца.  
 Бастион спит сном ветерана,  
 пережившего королей, войны, поэтов,  
 независимость, диктаторов и революции.  
 Он помнит пиратов —  
 их черепа и мушкеты.  
 Он бы выпил за них рому, за их память,  
 но у него горла нет.  
 Щербатый маяк зевает в ночь. Бастион дремлет.  
 Город собакой у кровати хозяина бухает глухо.  
 И какая-то добрая прачка на плацу сушит белье,  
 как паруса на мачтах.  
 Ровно девять.  
 Выстрел пушки.  
 После испанские солдаты сдают в гардероб униформу.  
 Одноглазый череп луны косится на бастион,  
 Гавану факелом осветив.  
 Город не спит до двух часов —  
 обычай таков.

## Рождественский вертеп

*Клаудинке*

ещё звезда над вифлеемом не погасла  
 ещё на храме нет креста  
 ещё волхвы не собрались домой  
 ещё не распакованы подарки  
 ещё никто не думает о смерти  
 ещё вода не превратилась в лёд  
 ещё нет на затылке ни волос ни нимба  
 ещё не отражается пилат в глазах и в сердце  
 живёт одна для всех Любовь



## Инна ХАЛЯПИНА

*/ Эссеист /*



### Лестница — коридор — лестница, или Маршрут для неприкаянных

*«Закукарекал петух, и объявили посадку»*

Валерия Нарбикова

#### **Деревня**

Её не найти на карте, даже не пытайтесь, а её название не хочется вспоминать, а тем более произносить. Ни вслух, ни про себя.

Так шуршат сухие листья, глухо и обреченно, с готовностью к тому, что их скоро сожгут и они рассыплются в пепел, и дымный ветер наведет новые листья. Вот так слышалось.

Название Деревни не ложилось на бумагу и странно выглядело на почтовом конверте.

Тогда ещё писали письма.

— Я ничего не понимаю в твоём адресе! — кричала мне по телефону подруга.

Я сама в нем ничего не понимала...

Историки утверждают, что название места с таким сочетанием букв свидетельствует о его глубокой древности, и давалось оно за особый драматизм событий, происходящих здесь ещё во времена крестовых походов.

Какое совпадение! Как натянута нить до наших дней!

В Деревне я впервые узнала, что на здешнем языке общежитие называется хаймом.

Я всегда думала, что Хаим это мужское имя, значительно более древнее, чем крестовые походы.

Надо бы изложить истории разных Хаимов и хаймов и сопоставить. Неплохое могло бы получиться наставление. Наставление о том, что жизненно важные решения надо принимать достойно, учитывая опыт предков.

В общежитии, то есть в хайме, население которого раз в десять превышало население всей Деревни, я и жила вместе с теми, кого прибило сюда четвёртой волной эмиграции.

Почему четвёртой? Кто считал эти волны?

Обитатели Деревни, обалдевшие от того, что эта волна накрыла даже их захолустье, заняли позицию, выработанную обременительными фактами истории и своими личными и них представлениями. Поэтому единственным человеческим существом в округе была собачка Роми, очень приветливая и общительная. Чужая речь её не раздражала, а появление на её территории такого количества новых лиц внесло разнообразие в её скучное деревенское существование.

Начало новой жизни неожиданно-негаданно обернулось для многих из нас унизительной оплеухой в виде лагерно-коридорной системы, называемой хаймом, которая так давила и изнуряла, что ни на что не оставалось сил.

Железная дорога Деревни не коснулась, и до ближайшей станции километра два приходилось идти пешком. Видели бы вы эту станцию...

Отсутствие железной дороги делало это место ещё более невыносимым и приводило к состоянию отчаянной безысходности, к мыслям о невозможности когда-либо отсюда вырваться.

## **Коридоры**

День в хайме заморочен хождениями по коридорам. А ночь какая-то пунктирная, причем провалы в сон становятся всё короче, а промежутки бессонницы всё длинней. И уже третий день, не переставая, спазмы так перехватили горло, что не вздохнуть и не выдохнуть. В таких случаях помогает столовая ложка коньяка, так мне сказала одна очень продвинутая дама, моя соседка по коридору через две комнаты направо.

И я иду туда, где мне наверняка нальют и не зададут лишних вопросов. Мне так тошно и паршиво, что коридоры кажутся темнее, чем они есть на самом деле, и за каждым поворотом мерещатся тени. Мимо меня пронеслась стая детей. Именно так, потому что дети здесь сбиваются в стаи, вместе им легче держать оборону. По дороге в деревенскую школу их забрасывают камнями местные школьники, и тогда они группируются ещё плотней.

Я остановилась и тихо заплакала. И усталилась в пол. Вдоль плинтуса курсировал разжиревший таракан. Куда он прётся?

Ноги тяжело потащили меня дальше. Мне кажется, что я не ту да свернула. Не хочу никого видеть, а вероятность того, что я никого не встречу, очень мала. Стоило мне об этом подумать, как передо мной возникла Берта. Ей лет под сто, мутный голубой взгляд, дрожащая аккуратная головка, в руке, как всегда, сумочка, сумочка, как всегда, пустая.

Берта сходу задает вопрос:

— Вы не знаете, куда подевался транспорт? Где троллейбусы и трамваи?

А я где? В сумасшедшем доме? Конечно! Тем более что послышалась музыка. Это, несомненно, рояль и очень похоже на джаз. Я не могу ошибиться, но и представить это трудно. Здесь, в хайме, в степи, в этой вымученной Деревне! У меня, наверное, галлюцинации, но я иду на звук и нахожу эту дверь, и стою, и не решаюсь войти. А вдруг там ничего? Что это тогда значит? Как говорит та же продвинутая соседка — крышняк.

Мимо проходят люди с кастрюлями и горшками. Ничего удивительного, ведь рядом кухня. На музыку они, похоже, не реагируют, и это прибавляет мне сомнений. Все смотрят на меня как-то странно, наверное, потому, что в руках у меня лимон.

Вы не забыли? Я иду пить коньяк.

Я все-таки толкаю дверь и делаю пару несмелых шагов.

Вы видели когда-нибудь рояль в душевой? Да, да, там, где моются, то есть, раньше мылись, но антураж не поменяли, а просто втащили рояль. Представили эстетику?

Пианист меня не выгнал, но это уже другая история...

А пока мне надо выпить, а то сдохну. И я иду к Спортсмену, иду уже по другому коридору, на другом этаже, и захожу в тупик. Здесь в мусорном ведре валяется кукольная голова. К чему бы это?

Меня посетила очень своевременная мысль — если строить свою жизнь из череды сплошных ошибок, то потом слоняешься по чужим коридорам, как дура. Горло сдавило ещё сильнее, и я попыталась вздохнуть.

Этот тупик мне знаком, я сюда уже заходила, не самая плохая часть коридоров хотя бы потому, что здесь есть окно, в которое я и выглянула. Опять льет дождь, каждый день не переставая, и это в июле!

Мне теперь понятны бесконечные войны, которые были исторической традицией этих мест. Чем сидеть здесь при такой погоде, лучше пойти и кого-нибудь убить.

Я вышла на лестницу, на ней, прижавшись к стене, стоит Маргарита. Её взгляд устремлен изнутри вдаль, наверное, опять мечтает, и я знаю, о чем. У неё есть одна трогательная цель — маленькое чёрное платье. Это так мило, что я Маргариту почти люблю. Она заметила меня и торопливо заговорила:

— Как тебе моя новая стрижка? Весь коридор сказал, что ужас! Я просила покороче, но не до такой же степени. Выгляжу теперь, как сыпнотифозная.

— Заходи ко мне, дам тебе шляпку.

— Вечно ты издеваешься. А почему ты с лимоном? — Маргарита перескочила на другую тему и вынула сигарету из просторной кофты.

— Здесь нельзя курить, Стукач начальству наступит.

Я иду дальше и думаю о том, что меньше всего мне бы хотелось встретить Профессоршу, Руководителя, Додика и Володьку Штыбина.

Слева и справа двери в комнаты, на одной замечаю объявление — «Пива нет». Ну, это можно выдержать?

Кажется, я уже у цели.

Спортсмен не один, у него сидит Агитатор, он мне знаком, он агитирует за истинную веру. Вид у него наголоватый, развалился, как у себя дома. Почему в этом хайме нет покоя?

Я спрашиваю коротко и категорично:

— Выпить есть? Но только коньяк.

— Есть, есть, и выпить и согрешить — хихикнул Агитатор и остался собой очень доволен.

Спортсмен достал гранёный стакан, хорошая вещь, между прочим, наверное, с собой привез, и наполнил его до краев. Теперь, по мнению Агитатора, я становлюсь лёгкой добычей, и он начинает тянуть ко мне свои волосатые руки.

Я посоветовала ему подумать о душе, а ещё лучше пойти и удавиться. На второй вариант он не среагировал и вкрадчивым голосом подобрался к своей основной цели:

— Вы правильно о душе вспомнили, милая дама. Моё братство этим углубленно занимается. Отшлифуем душу до алмазного блеска. И всего за какую-нибудь десятину в месяц.

— Десятина? Это что?

— Это взнос в общее дело.

— Так я и знала, что о деньгах речь пойдет. А ведь кто-то когда-то выгнал меня из храма.

Наступила недобрая пауза. Сто раз давала себе слово — на религиозную тему никаких импровизаций. Агитатор глубоко затянулся сигаретой, а я засобиралась уходить:

— Всё! Спасибо, Спортсмен, я у тебя в долгу.

Надо идти к себе. Сейчас вниз по лестнице, потом по коридору налево мимо «Пива нет», потом направо. И двери, двери, двери... Как-то из них с грохотом стукнула, и меня прошиб сырой сквозняк. Эти коридоры лишены логического разветвления, и потому я постоянно захожу не туда.

Профессорша сказала, что у меня топографический идиотизм. Почему же тогда я прекрасно ориентируюсь в Стольном Граде?

С этими мыслями меня занесло в подвал, и я оказалась рядом с прачечной. Дверь в неё открыта, и возле стиральных машин толкутся Лёлька с Веркой, отстирывают следы беспорядочной жизни. Меня заметили и понеслось:

— Почему при стирке в этих машинах всегда пропадает один носок? Ты не знаешь? Кладешь стирать два носка, вынимаешь один. У нас таким образом уже пять непарных носков валяются.

— А вы у Красного Пашечки спросите. Вон он как раз приближается.

Ещё одна жертва коммунизма, и больной на голову вдобавок. Или косит под такого. Я давно пришла к выводу, что помешательство освобождает от многих зависимостей, а главное — от условностей общества, поэтому прикинуться ненормальным бывает очень даже выгодно.

Я быстро смылась, знать бы только, в какую сторону идти? В любом случае по лестнице вверх. А потом направо? Или налево?

За углом мелькнул Штыбин. Только мелькнул. Ну, и слава богу.

## **Пианист**

Какие обстоятельства должны загнать человека туда, где место для рояля есть только в душевой? Здесь давно уже никто не моется, но атмосфера общественной бани сохранилась, что творческому вдохновению не способствует. Или наоборот?

Я осторожно спросила Пианиста:

— Вы давно здесь, в смысле в хайме?

— Страшно подумать, но уже больше года.

— ??????? — это у меня так голос сел.

— Да, да, вам не посышалось.

— А как же с правами человека? О рояле в душевой я уже молчу.

Вопрос повис в воздухе, но перспектива для меня нарисовалась. И еще я подумала, что надо бы купить коньяк, чтобы не побираться по соседям.

Пианист смотрит на ситуацию спокойно и с юмором, тем более что другого выхода нет. Он сочиняет музыку, где-то учится, что-то пишет.

Никто никогда не видел его проходящим по коридорам. Диву давались, как он только незамеченным проникает в душевую к своему роялю. Ведь сидит же каждый день и репетирует. Ему для этого надо три коридора пройти, не считая двух лестниц. Хоть раз его кто-нибудь встретил на этом маршруте? Нет!

Общественность взбудоражена и задается вопросом, уж не волшебство ли это?

Принимались меры, как то: расставлялись посты в разное время суток, опрашивались предполагаемые свидетели, включая меня, причем меня изводили с особым пристрастием, консультировались у Профессорши. А у кого же ещё? Нет ответа.

Однажды Пианист был замечен в прачечной и даже на кухне, но, похоже, и туда попал по воздуху.

Вопросом заинтересовался Стукач, глаз у него заблестел. Интересно, кто подкинул ему эту тему? Он стал вести доверительные разговоры то там, то тут и расставил свои посты. Всё напрасно. Каждый день Пианист неизменно оказывался в душевой. Затем начинали слышаться негромкие аккорды, они проникали на кухню, разбегались по лестницам и этажам, и тонули в коридорных глубинах.

Многим это не нравилось. Чего выпендриваться? Сидим тут все в дерьме. Нет, кто-то намекает на свою исключительность.

А ведь Пианист ни с кем не разговаривает, держит дистанцию, а значит пренебрегает. Вы заметили? И даже не здоровается. А когда ему здороваться и где? А в душевую к нему никто не заходит. Никто? Все уставились на меня, а у Стукача неврастенически задергалась щека. Узнал таки, гад, что я была там пару раз.

— Ну, была, и нечего на меня так паяниться и строить свои пошлые версии! Я Пианисту в матери-одиночки гожусь, это, во-первых, а во-вторых, задайтесь лучше другим вопросом. Каким образом рояль попал в душевую? При таких-то размерах. Вы дверь промерьте и подумайте, как через неё могли внести рояль?

Было заметно, что Стукач этой идеей воодушевился, и я решила, что несколько сместила акценты, но ошиблась.

На очередном сборище на кухне вопрос опять стоял на повестке дня.

Как-то я увидела Пианиста на пустыре возле помойки. Он сидел с книгой на перевернутом ящике. За ним красовался вполне пейзажный горизонт. Картина настойчиво просилась на холст.

Или мне показалось?

### **Профессорша**

Она привезла с собой всё, даже думочку. Вы не знаете, что это такое? Это маленькая подушечка, расшитая в соответствии с эстетическими запросами владелицы. А запросы были ещё те.

— Зачем вам думочка?

— Под руку класть, чтоб не отекала.

Какая предусмотрительность, какой изыск! Ну, у кого в хайме есть думочка?

Когда-то в лучшие времена, времена любовных реваншей и защиты диссертации, бытовые проблемы решались просто, их просто было кому решать. К холодной воде не прикасалась. Незачем и сейчас что-либо менять, а о том, что всё в прошлом, нечего и думать, занятие бесперспективное. Оказавшись в хайме, Профессорша осмотрелась, оценила обстановку и сделалась «как без чувств», благо прикидываться за долгие годы работы в психдиспансере она научилась. А потом слегла, правда, с книгой в руках.

И что? Сработало! Все вокруг заволновались и забегали. Ещё бы! Она, бедняжка, так слаба, что ей под силу только страницы переводить.

В отличие от Пианиста, Профессоршу за классового врага не держали, а общение с ней ценилось дорого и не в денежном выражении. Мы выше этого. Кто приготовит, кто уберет, кто в магазин сбегает. А взамен — такой высокий слог, такое культурное общение, такой надменный юмор и даже сарказм по отношению к другим, конечно же, потому как ты — из свиты приближенных. Глядишь, и сам себя профессором чувствуешь.

Взять, к примеру, Медсестру. Кому ещё расскажешь о неожиданной любви на склоне лет, о бесполезной борьбе за своё счастье? А Драматургу хоть бы хны, строчит на своей машинке день и ночь. А кто это напечатает? Никто и никогда. Вот и злитесь на Медсестру, нашел, на ком срываться. А ей, бедной, кому пожаловаться? Конечно же, Профессорше, тем более что та слушать обязана. А как же! Кто ей на днях постель перестелил и пол вымыл? Ещё и совет должна дать, что и делает:

— Ты женщина, за которую надо нести ответственность, тебя же спасать надо каждый день. А мужчины таких не любят. И Драма-тургу твоему такая не нужна, его самого спасать надо. Муки творчества — страшные муки, тем более, если таланта нет. Вот и войди в положение или сделай вид. Чтобы было, как у классика: «Она его за муки полюбила, а он её за сострадание к ним».

Как сказано! Вот что значит образование! Кто ещё такое знает, а главное вспомнит в подходящий момент?

Медсестра прослезилась. Профессорша почти что тоже.

Или опять притворилась.

### **Штыбин**

Представьте такой фасад: морда красная лоснится, волосы жидкие бесцветные, приапили ко лбу, глаза рыбы, взгляд бандитский. Теперь вид сзади: затылок еще краснее морды, спина квадратная, задница толстая, при ходьбе покачивается, причем с презрением к идущему следом. Вы не понимаете, как задница может выражать презрение? Запросто! Поверьте на слово. Штыбин настолько отталкивал физически, что всё нутро выворачивало. А уж если он рот открывал, то впечатление утраивалось:

— Я приехала на мою историческую родину, а вы, извините, кто такие?

Нет, ошиблась, слова «извините» в его лексиконе не было. Зато всегда присутствовал всплывший из потаенных глубин припадочный патриотизм:

— В хайме вам плохо? Так поезжайте на свою историческую родину, там хаймов нет.

Штыбин прав, на моей исторической родине я хотя бы не выслушивала всё это от такого ничтожества, как он.

Жаль, что я не умею, как Пианист, пройти не увиденной и не услышанной и самой никого не видеть и не слышать.

Всё бы ничего, но угораздило меня ездить со Штыбиным в Маленький Город на курсы, тогда я ещё не знала, с кем имею дело. Только у него в машине были свободные места. Позже я поняла, что совсем не потому, что он брал дорожку. Просто, кто ж с ним поедет? Кроме всего прочего, от него постоянно несло немтыгим телом.

В машине он, как только трогался с места, врубал музыку, то есть, какие-то похабные песенки, и приглушал громкость только тогда, когда желал высказаться.

С попутчиками, как, впрочем, и со всеми, вел себя бесцеремонно и невыносимо.

Его жена, отсидевшая в своё время два срока за мелкие кражи, из мест заключения вернулась с тюремным жаргоном и мужицкими хватками и из семейных мордобоев всегда выходила с победой. Возможно поэтому, когда Штыбин вырывался из лона семьи, он отыгрывался на окружающих.

Зато перед местными жителями заискивал, делал это угодливо, по-холоуйски, а те только плечами пожимали, потому что был он для

них таким же чужим, как мы все, несмотря на свои глубокие этнические корни. Он даже переделал себе документы и вместо Володьки стал Вальдемаром, что служило поводом для многочисленных издевок, которые он с показным безразличием игнорировал.

Мои поездки со Штыбиным прекратились после одного мало-значительного, но неприятного случая.

Однажды меня на занятиях немного задержали, а ехать надо было обратно в Деревню.

Подхожу к стоянке — нет штыбинской машины, уехал без меня. Вот сволочь! Я ведь всего на пять минут опоздала. Как же быть? Рейсовый автобус ходит раз в час, или ещё реже, да и где он?

Добралась я с большой нервозностью, спасибо люди помогли. Зашла в хайм и сразу увидела Штыбина, он стоял в фойе и что-то жрал, поглядывая на дверь. Наверное, меня поджидал, рассчитывая на ответный ход с моей стороны. Это было в его характере, он любил конфликтные ситуации. Конечно, я не доставила ему такого удовольствия.

Через неделю кто-то подкараулил Штыбина в туалете и устроил ему тёмную.

Ей богу, я была здесь ни при чём.

## **Медсестра**

Она говорит отрывисто и с надрывом, при этом дрожат её пепельные локоны, и звенит браслет на маленькой руке:

— Я скоро уезжаю. Не могу здесь больше.

— А как же Драматург? Вдруг это настоящее и последнее?

— А он остается.

Медсестра ради любви научилась ездить на велосипеде, чтобы сопровождать любимого на прогулках в поле, подальше от любопытных глаз и общественной кухни. Туда, где воздух напоен запахом трав, и ветер треплет её пепельные локоны, и всё напоминает о даче и детстве. Но не это главное, главное, что он рядом.

Его велосипед впереди, её чуть сзади, всего на полшага, то есть на полвелосипеда.

— Перестань поддерживать в нём наполеоновское!

Это замечание Профессорши, справедливое, между прочим.

Так было всегда. Медсестра всегда догоняла, а правильное сказать, плелась в хвосте, плелась за тем, кого любила. Плелась и надеялась, что когда-нибудь он обернется, остановится, возьмет её за руку, и с этой минуты они всегда будут идти рядом.

Не состоялось. Не состоялось ни разу в жизни...

Она уедет в Приморский Город, в котором нет ничего особенного — порт, ратуша, почта, базар по воскресеньям и ни одной близкой души.

Она знает, что уезжать всегда легче, чем оставаться. Вот тогда Драматург поймет, поймет и опомнится, опомнится и позовёт или сам примчится.



— Не позовёт и не примчится, и более того, заведет себе кого-нибудь опять. Мало, что ли, дур на свете? — снова Профессорша добавила яду.

Какой стервозный характер! Но уж лучше у неё сидеть, чем ругаться с соседкой по комнате. Запах утюга её, видите ли, раздражает. А как же в неглаженном ходить?

Как она? А ещё в академии наук работала.

Медсестра, продолжая свои мысли, сделала одно точное наблюдение:

— Ты обрати внимание, здесь все академики, или поэты, или в хоре поют. А как клизму поставить, так ко мне бегут.

В этом месте она перешла на шепот. Её Драматург раньше работал делопроизводителем в какой-то богом забытой конторе, но это большой секрет. Теперь же все знают, что он пишет пьесу, содержание которой тоже держится в тайне, но мне в общих чертах поведали.

В последнее время я стала хранить слишком много секретов.

Мне будет не хватать тебя, Медсестра. Есть в тебе правда и надежность, редкие свойства, которые я очень ценю. Я вышла на крыльцо, чтобы проводить тебя. Ты с виду весела и спокойна. Народу собралось много, даже Профессорша вышла. Его только нет.

Будем считать, что вы попрощались раньше.

## **Берта**

Такой худобы я не видела никогда. В чём там только душа держится? При её прозрачности она ещё и не ест ничего, тоскует.

— Её что, в крематории не дожгли?

Ну, кто мог такое спросить? Конечно, Штыбин.

Когда-то в свои молодые годы Берта заведовала литературной частью в театре и водила знакомства с богемой, была яркой красавицей, следила за модой и увлекалась авангардным искусством. Несколько неудачных романов с мужчинами, настолько известными, что их фамилии даже страшно произнести, ничего не изменили в её жизни, а только убедили раз и навсегда смириться с судьбой неудачницы. Так и осталась одна, но вырастила осиротевшего племянника, которому полностью заменила мать и которым была очень горда. Вот с ним она и жила в хайме, а тот с утра до вечера просиживал в помещении, именуемом телевизионкой, и резался в преферанс.

Как-то Берта, скитаясь по коридорам со своей сумочкой, заглянула туда и ужаснулась злчности и прокуренности помещения. Реакция её, как всегда, оказалась непредвиденной:

— Аркадий, пока ты здесь играешь в карты, твоя семья голодает!

Общий смех. Взрыв смеха! Чего ржете, хамье? Над старым человеком? Доживите до её лет, переживите революцию, две войны, эвакуацию, смерть родных, голод и разруху, потом эпоху развитого

социализма, что аналогично голоду и разрухе, и, наконец, хроническую личную неустроенность. Да ещё умудритесь при этом не потерять стиль — извечное жабо и брошка, не говоря уже о сумочке.

— Берта, мы скоро уедем в Главную Столицу, а потом я покажу тебе мир.

Аркадий любил тётку и жалел.

За три дня до отъезда Берта умерла.

## Додик

Он просто изнемогает от восхищения собой. Разве есть на свете кто-нибудь умней и значительней? Разве кто-нибудь так владеет юмором и искусством риторики? Тем более в этом хайме, на фоне этой серости. С кем здесь вообще разговаривать?

Додик у нравилось большое скопление людей вокруг себя. При этом он произносил длинные монологи с претензией на подтекст, сильно актерствовал и не выносил замечаний.

Его поведение можно было представить примерно так.

Молчите! Я говорю! И разрешаю вам слушать, то есть внимать. И даже не поддакивайте, меня это раздражает, всё равно не можете ничего дельного сказать.

И запоминайте, о чем я говорю, будете потом цитировать или выдавать за своё, и таким образом сойдете за умного человека.

Профессорша при этом тихо ухмылялась. Действительно, редко встретишь человека, который был бы так доволен собой и недоволен другими.

Даже по поводу своей внешности он не испытывал никаких комплексов, такой себе мягкий пуфик на коротких ножках. Обожал носить кепочку, вероятно, полагал, что в ней он особенно неотразим.

В своей семье Додик был тираном. Жена и теща только угодливо кивали и моргали пустыми коровьими глазами, а тесть, подкаблучник, и в былые времена права голоса не имел. Единственным существом, действующим на Додика отрезвляюще, был его малолетний отпрыск, обещавший превзойти папашу многократно.

Дело было на кухне. Справедливо было бы отметить, что Додик хорошо готовил, любил он и вкусно поесть, и в еде, несмотря на непомерно лишний вес, себя не ограничивал.

Кухня ему нравилась ещё и потому, что здесь всегда былолюдно, а значит, не было недостатка в зрителях. Из какого-то угла раздался смех и послышалось:

— Додик, сцена в твоём лице потеряла.

— В моем лице потеряли все, кто со мной не знаком.

Кто бы сомневался. И представление продолжалось:

— Теще своей я пообещаю: за каждое несказанное вами слово плачу рубль.

— Здесь нет рублей.

— Молчите и слушайте дальше. Ну-у-у... короче, плачу мелкую купюру.

Как оказалось, Додик всегда и за всё платил только мелкую купюру или не платил вообще. Масштабность личности в вопросах финансовых быстро сходила на нет.

На кухню влетели Лёлька с Веркой. Додик попытался втянуть живот и изрек:

— Я продвигу грандиозные успехи в карьере, я востребованный специалист и соглашусь только на самые выгодные условия. А дешёвые предложения даже рассматривать не стану.

— Ты уже продешевил. Оглянись вокруг. Где ты? И смотри в кастрюлю, у тебя кипит.

Вода из кастрюли выкипела вместе с макаронами, и Додик обварил руку.

Так ему и надо.

### **Руководитель**

Послушай его и сделай наоборот. К такому выводу приходили все, кто с ним столкнулся хотя бы раз, а сталкиваться приходилось всем и, к сожалению, гораздо чаще.

Руководитель был работником государственного ведомства, посаженным в хайме для осуществления связи между внешним миром, полным бюрократии и неведомых нам правил, и нами, ничего в этом мире непонимающими. И дело даже не в языке, а в том, что хайм был оторванным островом, где никаких контактов и источников информации, кроме опыта тех, кто жил здесь уже сравнительно долго, не было.

В обязанности Руководителя входило заполнять с обитателями хайма огромное количество анкет и заявлений и консультировать по всевозможным вопросам, которых было не счесть.

К делу он относился поверхностно и равнодушно, на вопросы отвечал нехотя и заведомо неправильно. Из-за его халатности многие теряли время, деньги и, в конечном счете, шансы и надежды хоть как-то наладить свою жизнь. Признанным было мнение, что он дезориентирует нас специально по приказу свыше. Никто не сомневался также и в том, что это он нанял Стукача для своих шпионских целей.

Некоторую лояльность Руководитель проявлял только к дородным блондинкам в возрасте не старше тридцати пяти лет. С ними он был в меру обходительным и более или менее внимательным. И даже любил в их присутствии блеснуть исключительным знанием наших культурных традиций. Мог рвано, но лихо продекламировать:

— «...и если б водку гнать не из опилок, чего б нам было с пяти бутылок?»

Все поражались: где он такого набрался? Где жил? Где учил язык? Эти вопросы так и остались открыты. Но кое-какие предположения напрашивались сами собой.

Руководитель был высок, статен и хорош собой, и считал, что все это в сочетании с его загадочным прошлым является вполне достаточным для занимаемой им должности.

Однажды жертвой его недобросовестной деятельности стал какой-то бывший начальник. Он настроил жалобу в высшие инстанции. Жалоба, как водится, затерялась в бюрократических дебрях на каком-то из этапов прохождения. Повторно жаловаться никто не стал, а Руководителя повысили в должности.

Ну и черт с ним!

## **Балерина**

Век в балете, как известно, не долог. Поэтому возраст профессиональной непригодности у неё наступал дважды, первый раз в соответствии с паспортными данными, а второй — по её собственному усмотрению. Третьему разу не суждено было случиться, так как он пришелся на тяжелое время перемен, занесших Балерину в Деревню. Она пришла в хайм с огромным количеством коробочек разных размеров и форм, некоторые из них были перевязаны разноцветными лентами. Ко всему этому добавлялась золоченая клетка с канарейкой.

Увидев, куда её занесло, она сначала впала в глубокий ступор, но быстро очухалась и поняла, что надо как-то выживать. Начала с привычного — уменьшила себе возраст, хотя, как женщина умная, конечно, понимала, что в такой дыре это ни к чему.

Балерина изо всех сил пыталась оставаться самой собой, продолжала прямо держать спину и ходила затянутой в корсет, что при её стройности было явно лишним.

Сценическое прошлое в сочетании с благородным происхождением не могли не сказаться на её поведении. Знакомства она водила избирательно, и основным критерием для неё была правильность речи, всякие там «ложат» и «хочут» не переносила, а когда кто-то неправильно ставил ударение, закатывала глаза и общение прерывала. У неё могли бы сложиться отношения с Профессоршей, но ту раздражали её тягучие интонации и чрезмерная жеманность.

В хайме, возможно из-за недостатка общения, Балерина стала пописывать стихи и однажды затащила меня к себе на прослушивание. Мне такое доверие почему-то не польстило, но отказаться я не смогла.

Сижу и не могу сосредоточиться, и пропускаю целые строфы.

— ...фиалка невинная и азалия с тонкой талией...

— Откуда у азалии талия? — проснулась я.

— Не принимай так буквально, слушай дальше.

Мои мысли опять ушли в сторону, а Балерина снова затянула:

— ...руки несмелые, белые простыни, простыни белые...

— Чьи руки? Азалии?

— Перестань издеваться, я вижу, ты не можешь настроиться. О чем ты думаешь?

— Я думаю о том, что Берта прожила долгую и несчастную жизнь и умерла в хайме. Я думаю о том, что у неё из манжета всегда выглядывал кружевной платочек, и это не смогли истребить никакие обстоятельства, даже хайм.

Я думаю о том, где есть бог? Вот об этом и напиши! А то всё талия и азаляя.

Балерина нахмурилась и грациозно взяла в руку чашечку тончайшего фарфора, бесшумно отхлебнула кофе.

За окном послышалась матерная ругань, и что-то разбилось. Канарейка забеспокоилась, а мы переглянулись.

Было в этом взгляде столько жалости друг к другу!

### **Спортсмен**

С ним на нелегальном положении жил кот. Держать в хайме животных было строго запрещено, но варианты есть всегда. Протащить кота незаметно от вахтеров через окно женского туалета было идеей моей дочери, она и руководила всей операцией, и для пущей безопасности придумала один стратегический маневр — Лёлька с Веркой должны были в это время крутиться в фойе и отвлекать охрану своим вызывающим видом. Что-что, а за этим дело не стало.

Мероприятие прошло как нельзя успешно, кота благополучно доставили в комнату к Спортсмену, и напоследок мы отметили это дело. Лёлька с Веркой сильно надрались, а моя дочь получила от Спортсмена подарок — теннисные ракетки и шарики.

Как-то я спросила:

— Как звать твоего кота?

— Мойша.

— За что?

— За грусть в глазах.

В те годы, когда интеллигенция ночами засиживалась на кухне, решая кардинальный вопрос: ехать или не ехать, в квартире у Спортсмена люди не переводились вообще, многих из них он даже не знал. В хайме традиция поддерживалась, и не было случая, чтобы у него в комнате кто-нибудь не ошивался.

Это доставляло большие неудобства Мойше, так как гости громко разговаривали, спорили, а однажды спор перешел в потасовку. Ему при этом отдавали лапу и перевернули кошачьи миски, а Спортсмену переколотили всю посуду, включая милые сердцу граненые стаканы.

Драка переместилась в коридор, и её свидетелем стал Стукач. На следующий день все побежали за пивом, а Спортсмена вызвали к Руководителю и поставили на вид. С тех пор застолья стали малочисленными и тихими, почти конспиративными. На одном из них на меня напал приступ меланхолии, и я сидела вся в грустях.

— Что ты нос повесила? Забей на всё и на всех и выпей, — Спортсмен, добрая душа, подвинул ко мне рюмку и бутерброд.

— Ну, скажи, что сделать, чтоб тебе полегчало? Хочешь, я убью Штыбина или Додика, или обоих сразу?

— Ещё не хватало тебе из-за них сесть, а то, что ты способен на поступок, я и так знаю, спасибо.

Мойша вылез из-под кровати и стал тереться об ноги.

— Ты знаешь, у меня и собака есть. Скоро придет жена и привезёт её, и мы все уедем в Северный Город.

— А как зовут твою собаку?

— Хася.

— У неё тоже грустные глаза?

— Она сиротка, мы её на помойке нашли.

Спортсмен показал фотографию, с неё смотрела вполне счастливая ушастая дворняжка.

Может, не надо её в хайм?

## **Лёлька и Верка**

У этих девочек при кажущейся безалаберности были четкие представления о будущем. Они не сидели, сложа руки, а работали над своей судьбой дено и ноцно.

По ночам, правда, интенсивность усиливалась в разы, что становилось темой для завистливых сплетен и надоедливых вопросов:

— Девочки, когда вы замуж выйдете?

— На днях!

Многочисленные примеры из жизни указывали им на путь смелый и рискованный, без предрассудков. Иначе сиди потом, как Медсестра, и подбирай остатки.

Несмотря на отсутствие этих самых предрассудков, для Лёльки и Верки существовали жесткие моральные установки, они были теми, с кем можно идти в разведку, и их все любили, любили за доброту, доверчивость, бескорыстие и лёгкость в общении. Никогда и ни с кем они не конфликтовали, а если кто-то пытался наехать на них с нравоучениями, заливались голосистым хохотом.

Всё, что они делали, могло стать темой для анекдота, даже в случае у них одновременно варились соленые огурцы и сушеные яблоки. Они постоянно что-нибудь теряли, включая деньги и документы, но никогда из-за этого не расстраивались.

Лёлька и Верка были головотяпны и авантюрны, поэтому часто попадали в скандальные переделки, из которых выбирались чуть живыми, но никогда ни о чем не жалели, а залечив раны, опять ввязывались в сомнительные истории.

Они были, как ветер, свежими и залетными. Носились по лестницам и этажам шелковыми птичками, и с их появлением даже в хайме становилось хоть на немного, но лучше.

Им надоела учёба, и они устроились официантками в деревенскую забегаловку под названием гаштет. Карьера сломалась уже через пару дней. Хозяин, старый хрен, решил, что девочки должны быть благодарны за работу, и их благодарность не должна иметь предела. Опять не повезло!

Они не расстроились и решили попытать счастья в Портовом Городе. Выезжая из хайма, устроили шумные проводы, напоили и накормили целую ораву знакомых и незнакомых. В общей сутолоке к подвыпившей толпе примкнул Стукач, и Лёлька с Веркой не то

спьяну, не то в порыве великодушия, пригласили его сняться со всеми для прощальной фотографии. Фотография эта хранится у меня до сих пор.

Через неделю после их отъезда по хайму поползли слухи, что девочки попали в бордель и прекрасно там себя чувствуют. Вранье, конечно. Вскоре я получила от них письмо. Они переехали в Западный Город и там пошли учиться кондитерскому делу, что обещало неплохие перспективы и сладкую жизнь. Передавали всем привет, а Спортсмена и Мойшу просили поцеловать.

Без Лёльки с Веркой в хайме стало скучно.

## **Кухня**

На кухне сорок две плиты. Представляете площадь? Как футбольное поле.

Вчера здесь состоялась крупная разборка. Тёща Додика, существо пустоголовое и мерзопакостное, обозвала Балерину проституткой, а та её спекулянткой. Я, разумеется, была на стороне Балерины и бросилась на её защиту. Я напомнила додиковой тёще, что она по всему хайму торгует дрянными духами, которые неизвестно из чего сделаны, и при этом корчит из себя интеллигентку, и если она не прекратит, то я сообщу об этом Руководителю, а ещё и то, что Стукач её прикрывает, потому что она ему на всех ябедничает.

Ой, что с ней случилось! Стала вся красная, схватилась за грудь и зашлась истеричным визгом.

Заявила, что я такая же потаскуха, как Балерина, потому её и защищаю, что на нас обеих негде пробы ставить, что мы циничные развратницы, разрушаем семьи, и тем самым подрываем основы общества. Никогда бы не подумала, что эта дура в состоянии выстроить причинно-следственную цепь.

Галдеж прекратился благодаря пятилетнему сыну Маргариты, он спросил, что такое потаскуха. На том и разошлись.

Я пришла доваривать свой суп на следующий день поздним утром. Самое лучшее время, народу на кухне почти никого. В дальнем углу инвалидка Шура приставила к стене свои костыли, сидит на табуретке перед плитой и что-то помешивает. Возле меня Милиционерша — руки по локоть в муке, на животе перекособоченный фартук, на ногах никудайшные тапочки, под глазом хронический фингал, не считая синяков по всему телу. А вообще она женщина симпатичная, только безвольная и на всё согласная. Ей бы жизнь другую...

Я замечаю, что она рассыпала соль и забеспокоилась:

— Плохая примета, поссоримся!

— Твой Милиционер тебя и так поколотит, без всякой ссоры — влезла я со своим бестактным замечанием и тут же прикусила язык.

Милиционерша рухнула на стул и от души разревелась. А у меня даже совесть не шелохнулась, так я здесь заматерела, или скурвилась, или, какое слово сюда вообще подходит? Я ли это?.. Я резко перебила её плач:

— Ну, послушай, ну вспомни, что ты человек, что ты женщина, мать двоих детей, которых ты родила этому мерзавцу, при которых он тебя каждый день поколачивает. Ну прошу тебя, умоляю, заяви на него, пусть его уроют хотя бы на полгода, он на зоне хоть язык выучит!

— Что ты, что ты! А дети? — испугалась Милиционерша и стала нервно оглядываться.

К нам на своих костылях подгребла Шура. Она, несмотря на свою калечность и ущербность, была общительна и социально активна:

— Девочки, я, конечно, мало понимаю в семейной жизни, никакого опыта, всё больше из литературы, но думаю так — перетерпеть можно максимум три раза. Если потом ничего не меняется, надо бежать. Ведь он же убьет тебя когда-нибудь.

Милиционерша покорно всхлипнула, утерлась полотенцем, дала нам напоследок по пирожку и ушла, оставив после себя запах теста и рассыпанную соль.

Теперь, кроме меня и Шуры, на кухне никого, и стало так тихо и спокойно, что слышны птички за окном. Мне при этом вспомнилась картина «Всюду жизнь».

Мой суп почти готов, но уйти не дает Шура, она в очередной раз погрузилась в воспоминания о своей непутевой жизни. Сбиваясь в хронологии, она цепляется за мелкие незначительные детали, которых с каждым рассказом становится всё больше и больше. Я не уйду, пока ей не надоест говорить, её одиночество так трогательно и безутешно, что надо не иметь сердца, чтобы прервать её на полуслове.

На кухню зашла Розка, загремела посудой и начала жаловаться на открытые окна и сквозняки.

Шура замолчала, и я воспользовалась паузой:

— Хочешь, донесу твою кастрюлю до комнаты?

— Нет, спасибо, здесь поем.

— Я зайду к тебе сегодня, у меня есть интересные книги, не скучай.

Я опять плетусь по коридорам. Из телевизионки послышалась горластая песня, это хор репетирует. Ну да, сегодня же вторник.

Я свернула по направлению к своей комнате. Вот здесь я когда-то грохнулась в обморок. Очнулась и вижу, что меня трясет за плечи Балерина и пронзительно верещит, похлеще своей канарейки.

К ней я тоже сегодня зайду, то есть не к канарейке, а к Балерине, то есть к ним обеим.

## **Драматург**

Поездки в поле продолжались, но уже без Медсестры. Драматург относился к этому серьезно и основательно, как будто выезжал на оживленную трассу. Пристегивал к штанине прищепку, надевал шлем и очки, садился на свой приземистый велосипед и колесил по



округе. А вернувшись, быстро усаживался за машинку и переключивал накопившееся вдохновение на лист бумаги. Наконец, работа над пьесой завершилась, и он отдал её на рецензию Профессорше, о чем впоследствии сильно пожалел. Сначала она долго тянула и не отдавала рукопись, а потом разразилась громкой и язвительной критикой:

— Я понимаю, что вы решили не рисковать и идти по проторенному пути. Но всё, что вы здесь написали, называется не иначе, как плагиат. И в цивилизованных странах за это налагают штраф!

Драматург был труслив, и слово «штраф» привело его в некоторое замешательство.

Тем не менее, он по-прежнему считал своё произведение гениальным и полагал, что Профессорша (старая ведьма!), просто мстит за Медсестру. А зачем? К чему такая мелочность?

Неужели непонятно, что он творческий человек и находится в постоянном поиске, в поиске подруги жизни и музыки, которая проникнется и вдохновит.

Смех да и только! Кто был свидетелем этих поисков, тот меня поймет.

Драматург был мал ростом и также кургуз, как его велосипед. Чтобы казаться хоть немного выше, он носил ботинки на каблуках, причем на таких, которые с трудом подходили к мужской обуви. Тем самым он, того не понимая, подчеркивал свое равнодушие к этому вопросу и тем самым подчеркивал ещё больше свой малый рост.

При появлении на горизонте понравившейся женщины его начинал одолевать петушинный кураж. В отношениях Драмматург любил оперативность. А чего тянуть? Поэтому сходу обращался к даме с чем-нибудь, на его взгляд, смелым, типа: чашку кофе со мной?

Интересно, где он собирался его пить? В своей комнате? В этой конуре, заваленной рукописями и грязными носками? Я повторяю, носками! Потому что был он к тому же невозможно неряшлив. Медсестра это относила на счет издержек творческой природы.

Бедная, за что она его любила?

Разве можно ответить на этот вопрос?

## **Алик**

Маргарита жила в хайме с мужем, детьми и братом Аликом. На его истории надо бы остановиться подробнее, и Маргарита рассказывала её так.

У Алика был врожденный талант художника, талант уникальный и многообещающий. При этом был он писанным красавцем, большим романтиком, ходил в походы, играл на гитаре и пользовался огромным успехом у девушек. Все его обожали.

В институт изобразительных искусств, несмотря на победы в многочисленных конкурсах, его, разумеется, не приняли. Излишне спрашивать почему. И Алик ушел в армию.

Из армии, где его систематически избивали, причем по голове, он вернулся калекой, его невозможно было узнать. Он стал похож на тонкую веточку с наклоненной головой и постоянной улыбкой. Заикался он до такой степени, что не мог произнести подряд даже двух слов.

Мать, не выдержав такого горя, слегла и вскоре умерла. А Алика забрала к себе Маргарита, несмотря на косые взгляды мужа и мужниной родни.

В хайме Алик искал дружбы с детьми, раздавал им конфеты и наблюдал с рассеянной улыбкой за их возней. Дети, обычно жестокие, в случае с Аликом повели себя неожиданно сердечно, принимали его в свои игры и брали на прогулки.

Алик, как личность незаурядная, а я была уверена, что личностью он остался, инстинктивно тянулся к Пианисту. Всякий раз, услышав звуки рояля, он останавливался и даже переставал улыбаться, что-то менялось в его взгляде.

И тут за дело взялась Профессорша. Это был не совсем её случай, она специализировалась на острых больных, и отделение, где она работала, в кругах её коллег называлось буйняк. При всех своих «за» и «против» специалистом она была классным и в глазах Алика увидела обнадеживающий проблеск. Она стала подолгу читать ему какие-то странные сказки, а после прочитанного задавать такие же странные вопросы. Поначалу он не отвечал совсем или отвечал с трудом и невпопад. Ровно через месяц наметилась положительная динамика, произошло невероятное, Алик стал намного лучше говорить, он уже мог произнести подряд две фразы!

Я так зауважала Профессоршу, что притащила ей сетку картошки, а Маргарита взяла над ней пожизненное шефство.

## **Стукач**

Он похож на моль. И больше ничего, ну просто ничегошеньки нельзя о нем сказать.

С такой бесцветностью и безликостью можно запросто совершать преступления и всегда оставаться безнаказанным, потому что такую внешность идентифицировать невозможно.

Я задавалась вопросом, есть ли у него отпечатки пальцев? Остаются ли следы его шагов? Вполне возможно, что нет.

Ходили слухи, что в своей жизни до хайма Стукачу жилось не сладко. Его отовсюду гнали, причем гонения начались ещё в детском саду, где никто из детей не хотел с ним играть. В школе продолжалось то же самое. Он всегда всем мешал. Друзей у него не было, с работой не везло, вопрос с женщинами не стоял вообще, они его просто в упор не видели. А ведь это трагедия...

В хайме Стукач неожиданно пришелся ко двору, и местное руководство приспособило его по назначению. Он стал единственным человеком, который чувствовал себя здесь комфортно. В своём стукачестве он не усердствовал, и если донос административных последствий не имел, повторно не стучал и переключался на другой объект.

Обитатели хайма относились к нему, как ни странно, снисходительно и даже с сочувствием, но это его не беспокоило.

Он бродил целыми днями по коридорам, останавливаясь попеременно то у одной, то у другой двери, но непохоже было, что он при этом напрягает слух.

Маргарита уверяла, что с приездом Балерины Стукач стал носить только белые рубашки и вообще сменил прикид. Я недоумевала:

— А разве он одевается?

— А что он, по-твоему, голый ходит?

— Не знаю, не замечала. А причем здесь Балерина?

— Ну, ты как маленькая!

И этот туда же! А, может, для него ещё не всё потеряно?

### **Маргарита**

Эта женщина состоит из сплошных слов и дел, причем слова с делами у неё никогда не расходятся. Совокупность всяческих талантов, умений и чертовской миловидности определило когда-то её судьбу. Маргариту пригласили участвовать в телевизионном конкурсе «Кофе в постель». Там она завоевала приз зрительских симпатий и пожизненную симпатию телеоператора, который впоследствии стал её мужем.

В данный момент этот муж уже третий день лежит на казенной койке лицом к стене и ни с кем не разговаривает. Жизнь на самом пике карьеры крепко вцепилась ему по морде, причем дважды, первый раз, когда его телевидение накрылось медным тазом, а второй раз, когда его самого накрыло той самой четвертой волной и занесло в проклятое место.

Маргарита же пребывание в хайме воспринимала как массовый заезд в санаторий с особым режимом и подготовкой к более сложным преодолениям. А у мужиков психика неустойчивая, им залечь на боковую и впасть в прострацию самое то. Примерно так Маргарита рассуждала и, несмотря ни на что, собиралась войти в новую жизнь преобразенной, и потому уверенно продвигалась к осуществлению своей давнишней мечты — к маленькому черному платью, и достигла в этом направлении определенных результатов, похудела на четыре килограмма.

Она любила заглянуть ко мне на ночь глядя и пробежаться по событиям дня, причем делала это легко и беззлобно, а в оценках своих была иногда резка, зато справедлива:

— Заходила на кухню собрать деньги Берте на венки. Додик сразу смылся. Какое он все-таки говно!

Маргарита переместилась со своим вязанием в кресло и продолжала:

— Руководителю стало известно, что у Балерины живет канарейка. Он вызвал её к себе и потребовал сдать птичку в приют или усыпить. Балерина бьется в истерику и кричит: никогда! Этому мерзавцу нужны новые жертвы, уже до канарейки добрался. На кухне объявление повесили. Видела?

Конечно, я ничего не видела.

— Привожу точный текст: «Уважаемые сокамерники! Кто-то из вас случайно захватил мою сковородку с жареной картошкой. Прошу вернуть на плиту №36, можно без картошки». Ну как тебе?

— Без хайма жить нельзя!

— То-то! Где нам взять писателя, чтобы всё это увековечить? Драматург не потянет. Кстати, Профессорша оказалась права, как только Медсестра за порог, этот старый козел начал подыскивать альтернативу. И ещё об одном скажу и пойду. Замучили соседи, ни сна ни покоя, справа пивом торгуют, а слева многодетная семья. Девять детей, девятый в хайме родился!

— Как в хайме? В неволе только клопы размножаются.

А разве у клопов бывает неволя?

## **Бессонница**

Интересный вопрос, будет о чём подумать ночью, а то всяческие попытки хоть ненадолго уснуть уже испробованы.

Прошлой ночью я вспоминала своих родственников, живых и умерших, умерших оказалось на порядок больше. На какой порядок? Это я просчиталась, потому что в живых не осталась уже никого. Закончив ревизию родственников, я начала пересчитывать плиты на кухне сначала по рядам, а потом вразброс, постепенно переместилась в прачечную и попыталась пересчитать стиральные машины. Здесь произошла осечка, так как из коридора слышались душераздирающие вопли. Народ высыпал очень быстро, практически сразу, из чего я сделала вывод, что не я одна не сплю. Источник переполоха искали недолго, сначала понеслись вниз вахтеры, и все кинулись за ними. Там ничего не обнаружилось, но и вопли на время стихли. Кому-то пришло в голову заглянуть в телевизионку. Там, вжавшись в угол, стоял Красный Пашечка и показывал в направлении окна, оно почему-то было разбито. Сам он не мог произнести ни слова и опять забился в крике.

Была вызвана скорая помощь, и одновременно с ней приехали полицейские. Беднягу забрали в чем есть, а был он в совершенно мокрой одежде, с расцарапанным лицом, и я подумала: «хоть бы не простудился», как будто в его положении уже не всё равно.

Его дикое прозвище пристало к нему по причине точного попадания в образ — девичья миниатюрность, красные штаны (других не носил) и альтернативные пристрастия. Красный Пашечка не обижался, а даже наоборот. Он был склонен к клоунаде и так вошел в роль, что однажды принес Профессорше пирожки и горшочек масла, и та сразу поставила ему диагноз. Как оказалось, она не ошиблась.

Все потихоньку разбрелись по комнатам. Уснуть после этого было невозможно, и я попыталась думать о хорошем.

В этом хайме каждый второй — пациент Профессорши. А может, даже каждый первый, включая меня и Мойшу. Если обратиться к психиатру, то тот выпишет такие лекарства, что забудешь, как тебя зовут. А ведь это тоже выход... Нет, это плохие мысли, надо о чем-то другом.

В субботу ездила в Большой Город, чтобы сменить ландшафт и найти место, где в голову не лезет всякий хлам. Прошлялась там одна три часа, попала под дождь и замерзла.

Здесьние города похожи друг на друга неожиданностью поворотов и островерхостью силуэтов. За каждым поворотом виден оскал разновысоких башен и крыш.

Я потрогала плотный шрам на ладони, это я в детстве напоролась на осколок, когда падала с качелей. Оскал битого стекла... Удачное сочетание для упражнений по фонетике.

Я глянула на часы. Половина второго.

Если я буду думать об осколках, то точно не усну. Надо возвращать в себе позитивные мысли даже тогда, когда обстоятельства не оставляют для этого никаких шансов. Так делает Маргарита.

Кстати, её муж, наконец, пробудился от спячки, поднялся с наележанного места, выпил крепкого кофе и поехал в Главную Столицу. Там он заключил долгосрочный контракт с одним из ведущих телевизионных каналов. Руководителя при этом чуть кондрашка не хватила, он не любил, когда кто-нибудь вырывался на свободу. Ему-то предстояло сидеть в этой дыре до скончания века, вот он и бесится.

Маргарита же носится по коридорам, задыхаясь от счастья, и раздражает барахолу, которым обросла за долгие месяцы в хайме. Мне достался кофейник и три чашки, всё из разных сервизов.

Это были хорошие мысли, внутри у меня немного потеплело, и я крепко зажмурила глаза.

Мне вспомнился старый бабушкин сервиз в горошек, узор маленького коврика над моей кроватью, сухарики в ситцевом мешочке и еще много радостных мелочей из детства, их цвет, запах и вкус. Вдруг подумалось о соседском фокстерьере Боньке, я просто физически ощутила жесткость его шерсти. На лето его стригли, и он становился похож на плюшевые шторы.

Стало ещё теплей и спокойней...

Сон был окрашен в лубочные тона и развивался по шизоидному сценарию.

Я проснулась от внутреннего толчка и посмотрела на часы. Половина пятого.

Пора вставать

## **Шура**

С тех пор, как Шура себя помнит, она всегда болела. Какое-то редкое заболевание, разрушающее кости и неподдающееся лечению. Несмотря на все беды, которые начались в раннем детстве, Шура не опустилась, упорно боролась с болезнью и никогда не делала из себя мученицу. Она получила хорошее образование и занималась техническими переводами, неплохо зарабатывала и даже помогала деньгами родственникам, которые впоследствии тихо слиняли, забыв оставить адрес.

В быту Шура была до крайности аскетична, и не потому, что это соответствовало её характеру, а потому, что понимала, что должна ограничиваться только тем минимумом, который сама без посторонней помощи в состоянии для себя организовать.

В хайме Шура вела себя скромно, интеллигентно и с достоинством, хотя как инвалид, по здешним законам могла бы находиться на особом положении и претендовать на исключительные условия. Кстати, свою инвалидность при всех неоспоримых фактах она должна была по новой доказывать. Для этого необходимо было пройти несколько медицинских комиссий и оформить множество документов. Кроме того, Шура хотела переехать к сестре в Южную Столицу, и это тоже было связано с бумажной волокитой.

Поскольку в хайме такими вопросами занимался Руководитель, то дела совсем не продвигались. То он что-то неправильно заполнит, то забудет приложить какую-то справку, то не вовремя пошлет в вышестоящую инстанцию, то пошлет по неправильному адресу. И так до бесконечности.

Можно было бы отчаяться, но Шура проявляла невероятное терпение. Каждую неделю она шла на прием к Руководителю по изнуряющим коридорам, опираясь на костыли, с сумкой документов на шее. При виде её кривенькой фигурки у меня замирало сердце, а Руководителя хотелось прибить.

И наконец, чтобы решить все вопросы, к Шуре приехала сестра. Для мужской половины хайма это стало немалым потрясением, некоторые до сих пор в себя прийти не могут. Что касается женщин, то самых стойких это событие на время лишило дара речи, а те, кто послабее, задумались о том, что они вообще делают на этом свете?

Такую обалденную красавицу можно увидеть только в голливудском фильме. Но чтобы в жизни... Безупречные формы, смелая осанка, изумрудные глаза, крупные цыганские серьги в блестящих кудрях. Сестры были настолько разными, что никому бы и в голову не пришло заподозрить кровное родство.

В который раз природа проявила свою предательскую изощренность и ничего не поделала поровну.

Шурина сестра пошла к Руководителю и пробыла у него всего десять минут.

Через месяц Шура переехала к ней в Южную Столицу.

## **Розка**

Когда Розка приехала и впервые прошла по Деревне, она купила бутылку водки и пошла к Спортсмену. Выпила она почти всё, закусила одним яблочком и смирилась с судьбой.

Распаковала свои необъятные баулы, вытащила из них на редкость пошлые статуэтки, которыми устала всю комнату, а на стенку для самоутверждения повесила свою фотографию двадцатилетней давности. Чтoб не думали!

Кто думал? Что думал? Неважно.

Розка расхаживала по хайму в шелковых халатах, какие обычно носят жены ответственных работников. Возможно, её муж когда-то и был таковым. Но когда наступило время перемен, и всё жизненное пространство заполнили торгаши, менялы и кидалы, слегка растерялся и выпал из процесса. А потом так занемог, что Розка подумала: за что мне это? И пошла торговать на базар нажитым добром, благо жизнь сложилась хорошо и продать было что. Но товар убывал, а с ним и бизнес, и Розка устроилась к одному барыге продавать в подземном переходе веники.

В переходе было грязно, тесно и наплевано. К тому же ещё и криминально, взад и вперед сновали уркаганы и по-хозяйски оглядывали продавцов и их товар, а Розка при этом пыталась незаметно убедиться, цел ли кошелек с выручкой, припрятанный в неприличном месте.

С таким социальным падением она смириться не смогла, к тому же ещё и муж тем временем куда-то делся.

В результате всех мытарств Розка приземлилась в хайме и пополнила нашу компанию.

Она любила затащить к себе в комнату и угостить чем-нибудь вкусненьким типа кулебяки или курицы с брусникой.

— Где ты берешь бруснику? — недоумевали все.

— Из банки, сама консервировала ещё дома.

Розка — молодец, никогда не унывала и была падка на скорые решения. Увидев шурина сестру, она единственная не оторопела, а восприняла увиденное как руководство к действию. Соорудила на голове штопорную завивку, купила такие же цыганские серьги и тут же их нацепила. И сразу стала похожа на кондукторшу.

С Руководителем она разбиралась по-своему, откровенно ему грубила, совершенно не опасаясь за последствия, и это срабатывало лучше, чем терпеливая обходительность.

Розка любила посидеть на крыльце и понаблюдать за тем, кто выходит, кто заходит. Крыльцо хайма было местом особого общественного накала, не хуже, чем кухня. Небольшая трибуна для желающих выступить на любую тему. А выступления были достойные, хоть протокол пиши.

Не забуду, как Розка рассказывала историю своего первого визита к зубному врачу. Вспомним, где жили и как, вспомним убожество нашей медицины. Потому Розка, когда увидела, как это делается в Маленьком Городе (даже в этой провинции!), впечатлилась до обморока:

— Ну ладно, что всё блестящее и одноразовое! Ладно, что картина на потолке висит, чтобы в кресле не заскучать! А какое кресло! Ну, это всё ладно. Но видела бы ты врача! Он ко мне нагнулся, и я замечаю у него в ухе золотую серьгу в форме зуба!

Розка с шумом выдохнула и завелась опять:

— Мне кто-нибудь ответит, на что ушла моя жизнь?

— Розка, не усугубляй и не вздумай по этому поводу напиться.

Розка попивала, но редко. Только когда переживала очередной шок. Правда, шоком для неё могло быть многое, даже то, что поезда здесь ходят точно по расписанию. Хоть часы по ним сверяй! А любое объявление на вокзале начинается со слов «дамы и господа».

Нас удивляло нормальное, потому что в нашей жизни это никогда не было нормой.

Мы теперь дамы и господа. И Розка тоже.

### **Агитатор и Страховщик**

Визиты посторонних в хайме были нежелательны и по возможности ограничивались. Но Агитатор являлся сюда довольно часто и привозил с собой за компанию Страховщика. Оба они жили в каком-то мрачном городишке у подножия Горной Гряды, и посещения хаймов были для них своего рода выходом в свет. Здесь они изображали высокую компетентность и готовность ею поделиться. Вроде бы как в наших же интересах было следовать их советам, чтобы не совершать типичных ошибок, из-за которых тяжелая эмигрантская судьба становилась еще тяжелей. На самом же деле всё было далеко не так, и то, что каждый из них преследовал свои шкурные интересы, было абсолютно ясно.

Страховщик мог организовать на выгодных условиях страхование автомобиля, но при этом нужно было дополнительно застраховаться от цунами, землетрясения и укусов ядовитых змей. Но самым интересным было то, что если с автомобилем что-нибудь случалось, то он тут же уговаривал не заявлять о получении страховой суммы, так как после этого размер страховки существенно увеличится, и это, конечно, записано в договоре, но очень мелким шрифтом. Разве вы не читали? Разве я вам не говорил? Странно...

Не было ничего удивительного в том, что мы без оглядки доверяли всяким проходимцам. Мы ничего не знали и не понимали в нашей новой жизни, и хотели верить, что бывшие соотечественники не станут нас обманывать.

У Агитатора дела поначалу шли неважно, ряды верующих братьев и сестер пополнялись слабо. И эти самые братья и сестры были Агитатором недовольны, им позарез нужна была численность и массовость, наверное, для отчетности, как у нас в годы победных пятилеток.

А народу в хайме было не до тонких материй и духовных исканий, хотя кое-кто по причине глубокой тоски и безнадёги на агитацию поддавался. А это значит, что продался дважды, первый раз, сменив место жительства, и второй раз, скривив душу на сторону. А может, я усложняю?

В любом случае мессианское движение в лице Агитатора не приобрело достойного помощника, и он решил сменить сферу деятельности.

Однажды он явился в хайм с кастрюлями, и этот бизнес пошел лучше. Все как-то сразу поверили, что эти кастрюли обогащают еду витаминами, ещё и служат вечно.



— А скатерть-самобранка у тебя есть?

Это спросил Додик, любитель халявы.

Агитатор стал разнообразить. Несколько раз привозил экологически чистые одеяла и подушки по убойной цене, но уверял, что того стоит, так как мы проводим во сне треть своей жизни, а некоторые даже больше.

А как-то приехал с каталогом мебели. У нас и дома-то нет, а он нам мебель предлагает! Очень нахваливал кровати, на которых, согласно статистике, делается каждый второй ребенок. Причем такую кровать он пытался навязать Профессорше, и она сочла это за комплимент.

Агитатору зачем-то нужно было вовлечь в свое мероприятие не только покупателей, но и продавцов. Тогда мы впервые услышали затейливое название — сетевой маркетинг. Прямой путь к миллионнам! Даже не сомневайтесь! Покупайте сами, потом сами же продавайте и агитируйте новых игроков в это дело, а те будут действовать дальше, и так до полного изнеможения, пока последний человек на планете уже не будет знать, что и кому он купил или продал. Зато в результате наступит полнейшая благодать. Все будут богаты и счастливы!

На это клюнула Розка, рискованная натура. Но не прошло и месяца, как эйфорию сменила глубокая задумчивость, а ещё через месяц Розка послала Агитатора так далеко и с таким скандалом, что тот летел дальше, чем видел.

В хайме он больше не появлялся.

## **Автомобилист**

Этот бизнес требовал челночных поездок, поэтому Автомобилист имел обыкновение исчезать на неделю или две. Никто с ним об этом не говорил и не задавал лишних вопросов. Потому как, кому какое дело?

Некоторые активисты всё же считали своим долгом обсудить такую смелую независимость и наплевательское отношение к законам. А заодно и к общественному мнению. Дело в том, что длительные и частые отлучки из хайма входили в список запрещенных удовольствий и были финансово наказуемы. На это, а заодно и на общественное мнение, Автомобилист уж точно плевать хотел.

Дела его, судя по всему, шли неплохо. Всякий раз он приезжал из своих «командировок» на новой машине, причем каждая последующая была лучше предыдущей. В последний раз он подрулил к нашему затрюханному хайму на таком авто, что додикова тёща чуть не вывалилась из окна, а потом от злости устроила вздрючку своему старому маразматнику, а тот даже не понял, в чем дело. Но это так, эпизод незначительный.

Автомобилист, несмотря ни на что, пользовался всеобщей симпатией, и это было вполне объяснимо. Он был настоящим мужиком и просто хорошим человеком — великодушным, щедрым, весёлым. Он

никогда не отказывал в помощи тому, кто в этом нуждался и умел давать в морду тому, кто этого заслуживал. Додик в его присутствии уменьшался до размеров невидимки.

Автомобилист не был равнодушен к женщинам, я видела, как он на них смотрит, и это был мужской взгляд, но он не был бабником. Он был одинок, какая-то давнишняя драма сломала ему судьбу, и это не обсуждалось.

Перестроечное время застало его в звании кандидата технических наук и в должности старшего научного сотрудника, то есть вариант классический. Поэтому ему самому пришлось быстро переобучаться, и он открыл сеть бензоколонок. Но делу стали мешать наезды качков с предложениями недорого крышевать. Новые слова, которые принесло новое время, можно было выучить, но смириться с их значением оказалось куда сложнее. Автомобилисту было тошно иметь дело с бандитами, а потом и вовсе опасно, того гляди убьют.

Он не стал предпринимать попыток договориться с новыми хозяевами жизни, потому и решил попробовать другого «счастья», как все мы.

Автомобилист никогда и ни за что не брал деньги. Это он возил Профессоршу и Шуру по врачам и всяческим инстанциям, это он мог сорваться даже ночью, чтобы отвезти в больницу чьего-то ребенка. Он даже как-то доставил к ветеринару Мойшу, когда на того напала какая-то кошачья хворь.

Надо было знать рыночные отношения, принятые в хайме, чтобы понять, насколько нетипичным было такое поведение.

Частые отлучки Автомобилиста стали уж слишком очевидны, настолько, что однажды он получил грозное письмо от чиновничьих структур. В нем указывались параграфы и пункты, по которым за систематическое отсутствие к нему применялись финансовые санкции. В конце письма, как здесь водится, выражались пожелания всего наилучшего и дружеский привет.

Автомобилист сел и хорошо подумал. А подумал он о том, что никогда в жизни он не выучит эти параграфы и пункты, а тем более не станет им подчиняться и по ним жить, что никогда он не станет ждать, пока по этим параграфам и пунктам ему разрешено будет выехать из хайма и свободно передвигаться. И наконец, никогда в жизни он не поверит в их «дружеский привет».

И ещё он подумал о том, что «где родился, там и содился», и дешевые бананы — аргумент против этого слишком слабый. И тогда, не долго думая, он собрал свои вещи, а их у него было немного, погрузил в своё шикарное авто и развернулся в обратном направлении, уехал на родину в Стольный Град.

Только его и видели.

### **Представители**

Они состоят из двух человек — её и его.

Она — матрешка в климактерическом возрасте с прыгающими глазами и быстрой высокочастотной речью.

Он — говорит «слушайте сюда», поэтому на него я больше времени не трачу.

Представители приезжают в хайм раз в неделю и ведут прием в подвале. Наверное, в целях безопасности. К ним выстраивается очередь, и здесь начинается самое интересное, потому что отстоять очередь для нашего народа дело не просто привычное, это часть менталитета, это удовольствие, каких мало.

За чем стоим? В данном случае, за переезд в Большой Город, который Представители могут организовать. Но не всем, конечно. А вы как думали? Если бы было всем, так не надо в очереди стоять. Спортсмену, например, в благосклонности отказали, а значит, и в помощи, и Маргарите тоже. Не вышли они рылом, а может, и каким-то другим местом. Зато Додика со всей его семейкой пригрели без всякой очереди. Понятна селекция?

Додик ещё больше вырос в собственных глазах, он теперь на недосягаемой высоте, и в хайме ему осталось жить считанные дни.

Народ восстал в справедливом протесте. Это что за манипуляции? Мы в очереди первые стояли!

Представители претензий принимать не хотели.

Она — стала защищаться с самой высокой частотой своих голосовых возможностей, на грани болевого порога, и на этой частоте всех вынесло в коридор.

Он — не проронил ни слова, то есть не снизошел, так как говорить здесь не о чем.

Поэтому «слушайте сюда» и запоминайте — если вы пришли за справедливостью, то у вас не всё в порядке с головой, у вас крышняк. И ещё, расстраиваться особо не из-за чего, потому что Большой Город такой большой, как я барышня.

С этим все согласилась, даже Розка, и на время поостыли.

Представители приедут на следующей неделе.

Записывайтесь в очередь.

### ***Идем дальше***

Или коридоры — часть вторая.

Но надо бы вспомнить, на чем я остановилась в прошлый раз?

На правом повороте из кухни, на том самом месте, где меня обнаружил Балерина.

Я валялась в обмороке, и меня, скорее всего, вернул к жизни её пронзительный визг. Она затащила меня в свою комнату и начала на повышенных тонах «проклинать тот день...», а заодно и все последующие дни, то есть те, которые еще не наступили:

— Я всё знаю наперед! Мы тут все заляжем! И правильно, сами виноваты! Посмотри на свои разбитые колени! Слава богу, что ты голову себе не разбила!

У Балерины я немного пришла в себя. Зачем-то она заставила меня выпить молоко с мёдом. Я, неблагодарная, подумала, что хоть

бы она не начала декламировать, и тут же в мыслях себя одернула. Но у неё не было лирического настроения, и я вскоре ушла, заплетаясь в коридорных поворотах.

Говорят, что в хайме есть комната, куда не ступала нога человека. Надо отправить на её поиски Стукача, будет ему занятие до конца заезда.

Как-то быстро летние дожди перелились в осенние, и незаметно наступила зима, завалила Деревню снегом, и промозглые сквозняки в коридорах стали сносить голову. В хайме теперь все простуженные.

А без Медсестры плохо, ничего-то мы не умеем. Я на днях ставила соседке банки и сожгла одеяло, пожар притушила подушкой, которая тоже пострадала. Дыма поднялось не много, но он все равно проник в коридор, и его унюхал Стукач. И теперь я под колпаком, и надо ждать вызова к начальству. Произойдет это не скоро, так как Руководитель ушел в отпуск, а его замещает какая-то грымза, похожая на засушенную ящерицу.

Пианист уехал, и черта с два теперь дождешься изысканных звуков джаза, которые так противоречили жизненному укладу хайма.

Зато приехал Виолончелист, теперь он тоже репетирует в душевой, как сковородку пилит.

Вчера в телевизионке состоялся сводный концерт с хором. Хористки взволнованно выстроились в традициях пионерского детства — белый верх, темный низ. Виолончель у солиста пару раз падала, но кто б на такие мелочи обращал внимание?

Народу набилось уйма, надо же себя куда-то деть, тем более что объявилась массовичка-затейница, тоже из новеньких, которая вела концерт.

Держится она надменно и с фасоном, приставала с дружбой к Балерине, вообразив, что это возможно. Но в разговоре подвела лексика, прокололась на ударениях и сказала «семачки». На Балерину напал аллергический кашель, и она быстро отчалила, а заодно еще раз убедилась, что правильность речи — категория генетическая.

Не подумайте, что за этим отступлением я забыла, куда иду. Я иду звонить подруге к единственному телефону, который висит на стенке в фойе. У кого из нас тогда был мобильный телефон? Ни у кого. У подруги сегодня день рождения, а значит, и у меня тоже, мы родились с ней в один день. Пройдет время, и по трагическому совпадению этот день выпадет из моей жизни, выпадет навсегда, как будто я не родилась совсем.

Но пока я этого ещё не знаю, и у меня вроде бы праздник, и сейчас мы будем друг друга поздравлять. Но сперва надо выстоять очередь.

Стена, где висит телефон, вся исписана и изрисована. Одно слово поселилось здесь правильно и по делу — «регламент».

Я неожиданно быстро достоялась и также быстро поговорила, на обратном пути никого не встретила и быстро оказалась в своей комнате.

У меня на столе стоит кофейник — подарок Маргариты, а в нем мои любимые цветы. Сегодня мы соберемся небольшой компанией и тихо посидим.

Интересно, где я окажусь в этот день через год?

### **Через пять лет**

Я смотрю в окно. Опять льет дождь, каждый день не переставая, и это в июле!

Льет сильно, без перспективы на просветление. Я вспоминаю, что такой дождь шел, когда хоронили БERTУ, а мы все стояли, столпившись в кучу, и были похожи на недобитое племя.

Хайм давно закрыли, а нас всех разметало по принципу, понятному только свыше.

Пианист закончил консерваторию и ездит теперь с концертами по стране и за её пределами. Женился, и жена стала его импресарио. Живут теперь на два города, даже на две страны — здесь и за океаном. Я рада за него.

Балерина уехала в Маленький Город и танцует там в фольклорном ансамбле вместе с такими же, как она, отбракованными по возрасту. А недавно она встретила свою судьбу — совсем ещё не стар, седые виски, красивая бородка, благородные манеры и аромат дорогого одеколona. Что ещё надо женщине, так давно искавшей счастья? Ходят теперь, взявшись за руки, и неотрывно друг на друга смотрят, как в первый раз. Видела бы это теща Додика.

Кстати, о Додике. Он работает в Дальнем Порту на фабрике резиновых игрушек и занимается сбытом продукции в третьи страны, куда иногда ездит сам.

Медсестра помоталась по стране в поисках работы и осела в каком-то городишке на Голубом Озере. Там она нашла место в небольшой клинике, а в свободное время поёт в хоре. Молодится, выкрасила чёлку в розовый цвет, много путешествует, а велосипед выбросила на свалку.

Драматург уехал в Восточную Столицу и напечатал свою пьесу в каком-то журнале, который закрылся после первого же издания. Но пьеса мелькнула, и Драматург сейчас пишет другое произведение, с которым, быть может, повезет больше, так как теперь у него есть муза, и это навеки.

Розка открыла собственный бизнес в какой-то дыре на Ветреном Мысе и часто мне звонила. И вот однажды она, захлёбываясь, сообщила, что объявился её муж, и она переезжает к нему на Другой Материк. С тех пор наша связь прервалась.

Спортсмен, как и говорил, поселился в Северном Городе. Он хотел остаться в спорте и тренировать детей, но с этим ничего не вышло. Зато карьера задалась у Мойши, он оказался сильно породи-

стым и на престижном кошачьем конкурсе получил главный приз — кубок и розетку. Пришла известность, и его стали приглашать сниматься для журналов. Но и это ещё не всё, Мойшей заинтересовались породистые невесты, и от предложений поиметь потомство теперь нет отбоя. Таким образом, Спортсмен поправил свое материальное положение и зажил по-человечески.

Шура перенесла три операции, которые мало что изменили в её состоянии. Большую часть времени она проводит в санатории недалеко от Южной Столицы. Там у неё появились подруги, с которыми она организовала объединение инвалидов. Теперь Шура занимается общественной работой и помогает таким же больным, как она сама.

Её красавица сестра стала профессиональной гадалкой, и объявлениями о её услугах полны местные газеты, где она каждый раз кодируется под другим псевдонимом.

Автомобилист ушел в большую политику, его имя теперь у всех на слуху. Недавно в светской хронике мелькнула его фотография — он в казино в компании с двумя офигенными бл...ми. И это в Стольном Граде! Хоть бы его не убили.

А вот Стукач пропал, просто сгинул. Был и нету. Шутиии, что он до сих пор бродит по опустевшему хайму, как привидение.

Лёлька и Верка кондитершами не стали, но в Западном Городе живут до сих пор. Вышли по очереди замуж за каких-то хмырей. Верка уже и развестись успела, а Лёлька родила девочку и назвала её Веркой, и теперь всё повторяется.

Руководитель после сердечного приступа, случившегося с ним прямо на рабочем месте, уехал на Солнечное Побережье, где воздух чистый и хаймов нет. Там он открыл небольшую гостиницу. Приближение старости его не волнует, её он встретит на собственной вилле с голубым бассейном (где я это слышала?).

Агитатор обосновался на Морском Острове, где летом фотографирует курортников на пляже, а когда заканчивается сезон, перемещается работать на автозаправку.

Профессорша и Маргарита живут теперь в Главной Столице, причем по соседству. Образ жизни Профессорша не поменяла, рядом всегда крутятся Люди, которые не дадут пропасть. Она до сих пор занимается с Аликом, который делает большие успехи и даже начал снова рисовать. Сама Маргарита переучилась на воспитательницу детского сада и теперь жалеет, что сделала это так поздно, оказалось, что это её призвание. Давно приглашает в гости.

Я наконец приняла её приглашение. Ехала с тяжелым сердцем, знала, что всю ночь не заснем, наговоримся и наревёмся.

Маргарита встретила меня шумно и застольно.

Когда закончились первые охи и вздохи, я спросила:

— Ну что? Купила себе маленькое черное платье?

— Ты помнишь?! Ты это помнишь?! Спасибо тебе!

— За что?

— За то, что только ты одна меня понимала, потому и помнишь. Знаешь, я подумала, что в моем возрасте к маленькому черному платью нужна норковая накидка, а накидку я уже не потяну.

Перед отъездом Маргарита показала мне рисунки Алика. Я глянула, и горизонт пошатнулся. В них доминировали мрачные перекошенные пространства, заполненные коридорами, лестницами, кукольными головами и паутиной. Все это совершенно не подчинялось принятым понятиям о перспективе и соразмерности, а игра света и теней шла вразрез с законами оптики.

Но так узнаваемо! И так совпадало с тем, что чувствовалось тогда и помнилось теперь!

Я медленно осела на что-то твердое. А Маргарита победно поинтересовалась:

— Может, водички принести? Я тебе ещё один покажу.

И показала. На рисунке я сразу узнала душевую. Точность деталей была поразительной, но рояль висел на потолке, причем вверх ногами.

— Хочешь, подарю?

— Хочу!

На обратном пути в порыве необъяснимой ностальгии я решила заехать в Деревню.

Хайм стоял на пустыре серой унылой глыбой, и мне показалось, что он как-то уменьшился.

Внизу простиралась Деревня, то есть единственная её улица. Ни души, тихо и мертво.

Из крайнего дома выбежала Роми и повияляла ко мне. Я заметила возле её носа седые шерстинки.

— Здравствуй, маленькая, ты стала старушкой.

Я поднялась на крыльцо и дернула просевшую дверь. Она оказалась не запертой.

В коридорах было гулко и пахло дымом. Все двери распахнуты настежь.

Ветер гулял, приводя некоторые из них в скрипучее движение. На полу валялись сухие листья, они шуршали у меня под ногами и рассыпались в пепел.



## Андрей СИЗЫХ

*/ Иркутск /*

### Водяные знаки

Расшифруем клинопись дождя.  
 Выбил он сто тысяч вещей знаков,  
 Каплями всеильными дробя  
 Прошное, всю ночь насквозь проплакав.

Что нас ждёт, когда кругом вода?  
 Мы стремимся в общее течение,  
 Как в трубу бегущие года.  
 Юность им не придает значенья.

Но земля, ключи в себя вобрав  
 Прошлых жизней, прожитых когда-то,  
 Выпустит на волю стебли трав,  
 Словно пленников из мрака каземата.

И когда, шершавым языком,  
 Утро слижет влажные заветы,  
 Мы пройдем по травам босиком  
 От истока и до устья Леты.

### El carnaval

Закажи мне китайский салют, карнавальную маску!  
 Те, кто рядом, всегда предают в Рождество и на Пасху.  
 А когда отстучат топоры по сырой древесине,  
 Остаётся лишь запах коры, кал и шёпот крысиный.

Остаётся глядеть, как с креста открывается небо,  
 Как дышавшие жизнью уста улыбаются немо,  
 И на то, что последний изгой станет всё-таки первым,  
 Сделав шаг из купели земной, сбросив рубище скверны.



Развесёлая маска глупца слёз случайных не выдаст.  
 Защитит от потери лица и вернёт мне невинность.  
 Так давай не прельстимся былым — безвозвратно цветенье.  
 К месту будет, и грохот, и дым, накануне забвенья.

## Кантата

Шуршал закат малиновой листвой.  
 Шептались тени, прорастая в стены  
 И облака выстраивались в строй,  
 Как пятая колонна в ночь измены.  
 А ты несла свою любовь ко мне  
 В китайской чашке с надписью «Aloha».  
 Глоток любви, скопившейся на дне  
 Твоей души, — не так уж это плохо.  
 Что за напиток — яду бы глоток!  
 Но я не буду требовать отравы.  
 Твои свежесваренные травы  
 Опасней, чем цикуты едкий сок.  
 Спасибо, милая, за вызвавший огонь,  
 Взрывной коктейль: мёд, мята и корица,  
 И если к сердцу приложить ладонь,  
 То в темноте она начнёт искриться.  
 Не властвую, но покоряюсь я  
 Дающему напиток. И закату,  
 Который становясь убийцей дня,  
 Сложил для нас прощальную кантату.

## Неэвклидовы заблуждения

Что за мюсли в моей голове —  
 Несваренье желанья.  
 Эта love, ну ни как, не ловэ —  
 Скучный хлеб выживанья.  
 Влево, вправо — везде тупики,  
 И не выйти наружу.  
 Потому что решетки крепки,  
 Окружившие душу.  
 Параллельные стены сошлись,  
 Проклиная Эвклида,  
 И моя неликвидная жизнь  
 Бьётся только для вида.  
 Для чего разводить детский ад?  
 Снисхожденья не надо!  
 Обходные дороги лежат  
 Внутри реального ада.  
 Все благие невежды вредны  
 Чаще, чем бесполезны.

Остаемся в итоге одни,  
 На окраине бездны.  
 Бей сильней, не жалея, беда,  
 В постаревшую морду.  
 Пусть по скулам стекает руда —  
 Буду гордым, и бодро  
 Распрощаюсь, не без торжества,  
 С патентованной скукой,  
 С простотою — сестрой воровства  
 И судьбой криворукой.

## Пограничный ирмаз<sup>1</sup>

Яичный желток в скорлупе почерневшего снега.  
 Еще не весна, и не время скакать без стремян  
 Степной полосой, кочевой колеёй печенега —  
 В богатые легкой любовью уделы славян.

Но, есть вековая привычка спешить за добычей.  
 Кто рано встает, тот имеет и торг и базар.  
 Коня снарядишь, и глядишь через степь в пограничье,  
 И веришь в удачу, и в то, что для битвы не стар.

Сынам ещё рано хвалиться наследной кольчугой  
 И тут племенной сотрясать над убитым отцом.  
 Как коршун, летит бог удачи, парит над округой,  
 И требует жертвы, почуяв коня под бойцом.

Допьём свой кумыс, пусть в апрельскую топкую зелень,  
 Подковы копыт разобьют полевой известняк.  
 Твой путь, от восхода к закату, вовек неизменен —  
 С востока на запад кочует, как солнце, степняк.

\* \* \*

Пускаешь блинчики — и каждый новый комом.  
 Река — горнило слёз сибирских зим.  
 А лето пахнет флиртом и ланкомом,  
 И женский взгляд любой — неотразим.  
 Дни — кругом — колесом велосипедным  
 Вращаются, блестят вдоль ободов.  
 Не место старым здесь и, между прочим, бедным —  
 Им лучше спрятаться до первых холодов.  
 О небо, на кого извёл-истратил  
 Кураж вчерашний, стопроцентный фарт,  
 Старик Делон, маньяк-завоеватель?  
 Как много девушек.... А у тебя инфаркт....

<sup>1</sup> Ирмаз — песня, напев (турк.)

А у тебя не совместимость взглядов  
 На декольте и кошелёк пустой.  
 Все ноги стройные в плену у юных гадов,  
 А ты, сибирским летом, холостой.

\* \* \*

Шёл демон в армейской шинели по улицам города N.  
 Нёс полный карман карамели любителям плотских измен.  
 Дарил марципановый морок, во всю леденцами гремел.  
 Был равно и сладок, и горек итог демонических дел.  
 Но факт на лицо — городишко, почти что безгрешный вчера,  
 Бежал за лукавым вприпрыжку и жрал карамель на ура.  
 Порушились местные нравы и семьи трещали по швам,  
 Но грамм вожделенной отравы съел каждый, с грехом пополам.  
 Солдат мирового разврата, идущий на родину — в ад,  
 За сласти не требовал плату и был до истерики рад.  
 Что дяди и тёти все эти на свалку отправили стыд.  
 Что стали они словно дети, лишившись законов простых.  
 И как под аккорды флейтиста, спешат на чужую войну,  
 Где пули летают без свиста, где каждый солдат на кону.

## Art-house

Это ртутная лампа чадит  
 Бледным светом в зеленом окошке.  
 Небо-глыба — ночной чароит  
 У гиганта в раскрытой ладошке.  
 Не гляди сквозь стекло — не ищи  
 В бестелесном сырье серафимов.  
 Их серебряных крыльев плащи  
 Не проносятся мимо.  
 Только ливень еще полоснет  
 Сизой сталью по трепетной коже,  
 А потом всё умрет, всё уснет,  
 И желания тоже.  
 И не встретить, сплошной полосой,  
 Как прибой убежавшего лета,  
 Как волну расплескавшую соль,  
 Приведенье рассвета.  
 И не знать до конца своих лет,  
 Сторонясь без участия,  
 Ни волнующих мук, ни чарующих бед  
 Ни бескрайнего горя, ни счастья.  
 Нарисуй на щербатом стекле,  
 На стекле запотевшем,  
 Светлых духов не знающих тел  
 И не знающих: камо грядеши?  
 Поседевший каплун-вельзевул,

Не отведавший чувства,  
 Что ты сделал — зевнул?  
 Что ты сделал — уснул?  
 Просто умер.... во имя искусства.

## Предсказания

*М.Прохорову*

Прядет кудель безумства прялка.  
 Не жди ни счастья, ни беды.  
 Свисти свисток, вестай весталка —  
 Всем сестрам станет за труды!

В последний день отчизны нищей —  
 Что уготовано тебе,  
 Когда достигнешь самой низшей  
 Черты, предсказанной в судьбе?

Врата ли воссияют золотом?  
 Иль частокол и чёрный лаз,  
 В твоей душе последний атом  
 Узрит, возмездья устрашась?

Да полно! Думай не об этом.  
 Еще света и даль, и новь.  
 И став чудес апологетом,  
 Предвосхити в себе любовь.

Последнюю — как дар Морфея —  
 Как детский искренний фетиш,  
 Когда влюбляться не умея,  
 Ты под подушкой хранишь

Портрет, измятую тетрадку  
 Высокопарных длинных строк  
 И тайно срезанную прядку,  
 Защитую тобой в платок.

Пути судьбы неявины вовсе  
 И рядом, скажут бок о бок  
 Прекрасная весталка осень  
 и страсти вечно-юный бог.

Заблудший в зарослях пырея,  
 Ещё узрит по звёздам путь.  
 И ты, промежду дел, старея,  
 О самом главном не забудь.

## Иоганнес БОБРОВСКИЙ

/ 1917 — 1965 /

*Перевод с немецкого Вальдемара Вебера*



### Города видел я

Города видел я на пылящем  
ветру, хаотичные нагроможденья  
из крыш, ветшающих стен и башен,  
города, исчезающие за горизонтом.

Бивуакам подобны, может быть ночь еще,  
коченея от старости,  
под небом они простоят,  
заслоненные эхом  
бессчетных умерших голосов и  
вырванных у колоколов языков.

И равнина заходит  
в их улицы, выносит  
сады их на волю,  
еще задерживаясь на миг  
перед распахнутой дверью  
или журчащим колодцем.

Но по ночам те улицы  
словно становятся руслами рек.  
В неподвижном лесу телеграфных столбов  
сырые туманы  
веют, как паруса,  
а над ними луна.

До самого края ночи  
устремлялся я с ними, туда, где к лесу  
деревенька прижалась, похожая на цыганку,  
что, сидя на корточках, в сумерках ранних  
над углями костра покачивает сковородкой,  
а дым уходит  
тонкою струйкою вдаль.

## Восток

Все мои упования  
 бредут по равнинам, светлые как ветер,  
 навстречу нехоженным лесам,  
 одиноким холодным рекам, над которыми раздаются  
 дальние крики бородатых лодочников —  
 там все песни бескрайние,  
 в самых обычных вещах таится опасность,  
 и все так многозначно, что имени не подберешь.  
 Нива. Болото. Овраг.  
 Он как злой рок всегда рядом,  
 даже когда его избегаешь, —  
 там, у низких холмов,  
 расходятся в разные стороны тропы...

Слова ничего не значат  
 по сравнению с жестом, поклоном, нежным пожатием,  
 с молнией из-под темнеющих век.  
 А эта тяга в груди -  
 еще сильнее, чем объятье...  
 Торговцы прибываю издалека.  
 Те, что живут среди нас — чужаки,  
 ходят неуверенно, вопрошая праздным дорогам вослед,  
 приверженные мостам и пародам, словно в тех  
 есть правда.

Но друг друга мы понимаем легко.  
 От одного и того же корня  
 произрастают наши беседы.  
 И в ожидании вечном  
 живет наше сердце.

## Алексис Киви<sup>1</sup>

Сделай опись лесов Карелии, выпиши  
 на всех вырубках Суоми, взлети  
 над озерами, петушок  
 золотоперый, с крыльями из полусвета.

Или пойдем со мной,  
 вместе поищем мальчика  
 в селе на окраине пустоши, сына портняжки,  
 ушедшего в город, чтобы взглянуть на дома из камня,

<sup>1</sup> Алексис Киви (1834–1872) — финский писатель, основоположник финской литературы. *Здесь и далее примечания переводчика.*

и подобно голодным ласточкам  
 поблуждать вдоль оград, рассеянным взором  
 глядя вослед перелетным крикам.

Не его ль это голос звучит в корчме,  
 не он ли поет страшную песнь Каллерво:  
 о, сестра моя, курочка?<sup>1</sup> Не его ль  
 смех разносится вместе с песком над полями?

Ах, эта темная красота открывшихся миру  
 семи ландшафтов!<sup>2</sup> Небо отверзлось  
 и ринулось вниз.  
 Сверкающие леса.

И вот уже вскоре под бурей, обхватив руками  
 измученную голову, сидит он, прислонившись  
 к стене хижины, вытягивает  
 мох из щели между бревен,  
 чье-то имя в воздухе пишет наискосок.

Над озерами,  
 над топиями полетавший,  
 спишь ты теперь, золотой петушок,  
 на руновом камне.

Сердце твоего ржаного народа,  
 пригожая нива,  
 поет, а над Юколой<sup>3</sup>  
 расцветает дождь.

## Детство

В те дни  
 я иволгу любил —  
 звон колокольный,  
 взлетающий над нами, падавший  
 сквозь листву,

когда на опушке лесной  
 на корточках сидя, мы красные ягоды  
 нанизывали на травинку, а мимо  
 катил тележку  
 седой еврей.

<sup>1</sup> Намек на трагическую судьбу сестры Каллерво, персонажа карело-финского эпоса «Калевала» и романтической пьесы А.Киви «Куллерво».

<sup>2</sup> Имеются в виду ландшафты хозяйств семи братьев из романа Алексиса Киви «Семь братьев».

<sup>3</sup> Усадьба Юкола — место действия романа «Семь братьев».

В полдень в черной тени ольхи  
стояла скотина,  
гневными хвостами,  
отбиваясь от мух.

Но вот разверзлось небо, и дождь  
широким лился потоком,  
и у капель  
был вкус темноты,  
такой же, как у земли.

Парни на лошадях  
по прибрежной тропе приезжали,  
на гнедых сверкающих спинах  
скакали весело  
над глубиной.

За оградой  
клубилось жужжание пчел.  
Поздней по терновнику у озерного камыша  
вдруг пробежал серебряный рокот страха.  
Полумраком окна и двери  
зарастали, словно плющем.

Напевала старуха  
в каморке своей благовонной.  
Лампа гудела. Входили мужчины  
повелительно что-то кричали собакам.

Крона ночи, разросшаяся в молчании,  
время, все неуловимее, все горше,  
длющееся от стиха к стиху  
детство —  
в те дни я иволгу любил...

## Равнина

Озеро.  
Утонувшие берега. Журавль  
в небе. Белы, осиянны  
кочевых народов  
тысячелетия. С ветром

на гору я поднялся.  
Здесь поселюсь. Охотником  
был я, но  
теперь мне ближе трава



Трава, научи меня говорить,  
 научи быть мертвым и долго  
 слушать, и вновь говорить, камень,  
 научи меня постоянству, вода,  
 не спрашивай ни о ветре, ни обо мне.

## Покинутый дом

Аллея,  
 окаймленная  
 шагами умерших. Словно эхо,  
 пришедшее издалека,  
 стелется плющ  
 по почве лесной,  
 по выступающим корням, тишина  
 близится вместе с птицами,  
 с их белыми голосами.  
 Бродят тени  
 в доме, говор чужой  
 под окном. Бегают мыши  
 по разбитому клавикорду.  
 Старую женщину видел я  
 в конце улицы,  
 в черном платке,  
 на камне, —  
 устремившую взгляд на юг.  
 Чертополох расцветал  
 на песке, резные жесткие листья.  
 Там у открытого неба  
 цвет детских волос.  
 Земля — красна,  
 отчий дом.

## Мемориал

Город<sup>1</sup>, черная груда щебня  
 у черты горизонта. Считаю грозы  
 над ним. Завтра пойду, зарю могилу,  
 что брошена всеми, как этот город,  
 настолько разрушенный, что его  
 стороной облетают птицы.  
 У края дороги дерево.  
 Оно делится со мною  
 Своей листвой.

<sup>1</sup> Имеется в виду Кенигсберг.



## Нене ГИОРГАДЗЕ

*/ Тбилиси /*

### Треугольник

#### 1

«How long have you been here?»<sup>1</sup> — обратился ко мне посетитель за стойкой бара. «Forever!»<sup>2</sup> — ответила разочарованно. Никак не возьму в толк, с какой стати все они задают один и тот же вопрос, будто длительность моего пребывания в Штатах имеет хоть какое-нибудь значение для человека, познакомившегося со мной две минуты назад. Заметно, что американцы легко вступают в контакт. А привлекательнее всего для меня здешняя пестрота — многоцветие рас и культур, эти разные оттенки кожи — от ослепительно белого переходящие в светло-кофейный, затем — в темно-коричневый и, наконец, в шоколадный, местами отливающий синевой и увенчивающийся отливом, чернее непроглядной ночи. И ещё — какое колоссальное удовольствие получаю я, играя сама с собой в «угадай-ку» — а ну как по разрезу глаз «попаду в точку» — японец передо мной, китаец или кореец... Да, и ещё — английские слова, звучащие в разных тональностях... А слушать иностранную речь — это вообще мистика. Когда молодой негр впервые обратился ко мне «Ma'am»<sup>3</sup> — мурашки по телу пробежали, я ощутила себя персонажем какого-то фильма.

В детстве я долго пребывала в плену впечатлений, претерпевавших постоянную трансформацию в моей фантазии. Как и всякий ребёнок, я жила в своём мире и, подобно перемещениям артистов на сцене, в этом мире шёл постоянный процесс коловращения: воображаемое и реальное сменяли друг друга, как на сцене, и два этих мира в моём сознании превращались в неразрывное целое. Вот почему непонятно было мне, когда взрослые спрашивали (а они частенько спрашивали): ты, деточка, не врешь? Когда же я подросла, меня всё

<sup>1</sup> Давно ли вы здесь? Здесь и далее прим. переводчика.

<sup>2</sup> Здесь: «Сколько себя помню».

<sup>3</sup> Мадам.

чаще подавливали на «обмане», за что иногда и наказывали. Поэтому я, набравшись ума-разума, перестала болтать лишнее, стала менее контактной и в основном ограничивалась общением сама с собой или со сверстниками. Вдобавок ко всему я была уже тинейджером, вечно всем и всему возражавшим, и в первую очередь восставшим против самой себя, да так, что громы и молнии этого внутреннего конфликта вырывались наружу, и для окружающих оказывалось совершенно непонятным моё поведение. «Так тебе замуж не выйти», — сказала мне однажды мама. «А мне до лампочки», — махнула я рукой и, как помнится, совершенно искренне. Мне хотелось чувствовать себя свободным человеком, самостоятельно отвечать за свой выбор, а не перекаладывать ответственность на близких. Короче, мне необходимо было сменить обстановку, уехать из Грузии, и, поскольку по-английски я говорила, курс был взят на американский континент.

Америка началась для меня с JFK<sup>1</sup>. В нью-йоркском аэропорту первым сюрпризом стал для меня вопрос иммиграционного офицера: «Значит, ты оттуда, где родился Сталин?» Как холодным душем обдал — вот ведь как нас знают. До четвёртого терминала добиралась на аэропортском автобусе. Рядом со мной устроилась симпатичная ухоженная дама средних лет в дорожной шубе, которая очень любезно объяснила мне, где именно находится четвёртый терминал и даже записала на листочке своё имя и телефон — если понадобится, мол, позвони. Она жила на Бродвее. Я, конечно же, листок тот потеряла. И заметила это по прошествии многих дней, когда почему-то вспомнила о той даме и захотелось позвонить ей и поблагодарить. Потом я подумала, что спустя столько времени она вряд ли и вспомнит меня. И, в конце концов, пришла к выводу, что не потеряй я тот листок, всё равно не позвонила бы...

## 2

— Ваша профессия?

— Я дарю людям надежду, сэр!

— Такой вакансии у нас нет.

— Как, вам не требуются сотрудники, полные надежд? Это же удесятеряет силы, и, следовательно, прибыль, so your profits will grow!<sup>2</sup>, — попробовала я заговорить на их языке.

— Сегодня получено более ста резюме. Прошу вас, не заставляйте меня терять время...

— Я умею высушивать. Вас и это не интересует? В современном мире большой дефицит слушающих. Всем хочется говорить, а слушать некому. — Тут же предложила я альтернативу.

— Если вы действительно умеете слушать, прошу вас, не заставляйте меня терять время. — Вежливо улыбаясь, поставил мне мат противник. Ничего не попишешь, удачи надо было искать где-нибудь в другом месте.

<sup>1</sup> Распространённая аббревиатура Нью-Йоркского аэропорта имени Кеннеди.

<sup>2</sup> Так что, ваша прибыль вырастет.

— Ваша профессия?

— Я умею распутывать тайные лазейки, через которые люди входят в контакт друг с другом, причём на таком уровне, который выходит за пределы обычного, причинно-следственного. На терапевтическом языке это называется «абехум сиус», и в современном корпоративном пространстве подразумевается как важнейший и обязательный атрибут, что подтверждает недавно проведённое...

— Ваша профессия?

— Я превосходно умею выводить людей из себя, — (решение принято: если к моим положительным качествам интерес нулевой, может быть, отрицательная сторона станет предметом вопроса).

— Вот как? И вы действительно можете это обосновать?

— С удовольствием. Вот, вы, до такой степени самоуверенны, что не догадываетесь, насколько смешна эта ваша self-confidence<sup>1</sup>. Достаточно одного, хоть чуточку отклонённого от стандарта вопроса, как вы растеряетесь, рассыплетесь, как рис, и мозги встанут на стоп-кран. Ну-ка, отвечайте, какого цвета у вас трусы?

— Ваша профессия?

В общем, моё гуманитарное университетское образование ни к чёрту не сгодилося для успешной профессиональной карьеры, и я решила искать счастья в роли сервис-персонала, хотя нутром чуяла, что мой взрывной характер не помощник на этом поприще. К сожалению, опасения мои оправдались. Спустя несколько дней после того, как я устроилась официанткой, в ресторан пожаловала пожилая пара. Заказав обед, они расположились в креслах у камина. Вскоре я подала к столу горячий обед и напомнила паре, что заказ выполнен. Прошло 15 минут, полчаса, 45 минут... Мужчина что-то бурчал своей спутнице, и на мой вопрос: «Сэр, может быть, подогреть заказанные блюда, они остыли?» — отреагировал грубо, чуть ли не обматерил.

В конце концов, пара вернулась к столу, и мужчина услали меня разогревать обед. Не выдавая внешне клокочущего во мне гнева, я и не пикнула. Девять раз он велел мне принести воды, по пять раз — соков, и, в конце концов, заказал десерт с чаем, на что повар произнёс весьма длинную тираду на испанском, помянув родовое древо заказчика, а потом на ломаном английском спросил меня — ходил ли молодец в туалет? Я выматерилась по-грузински, после чего бросила взгляд на стоявшего рядом и наблюдавшего за всем этим менеджера. Менеджер изищно уклонился от моего взгляда и строго указал на готовый чай. «И твою мать так-растак», — подумала я в сердцах и направилась к своему гостю. Увидев меня, он принялся орать и стучать кулаками по столу — почему, мол, я так опаздываю с чаем. «Сэр, вы заказали чай ровно три минуты назад!». На моё деловое возражение он утродил вопли и кулачный грохот. Ну, и закончилось всё в духе эпизодов из чаплинских фильмов, где клиенты счищают со щёк крем, а владельцы ресторанов пинками гонят вон официантов. Говорю же, я не service-oriented<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Уверенность.

<sup>2</sup> Ориентирована на обслуживание.

## 3

После случившегося в ресторане прошло немало времени. Постоянной работы у меня не было, и приходилось временно подвизаться во всяческих учреждениях и бизнес-конторах. Хотя с американским сервисом долго уживаться нигде не удавалось, я прыгала, как кузнечик, из сферы влияния одного босса в сферу влияния другого. Друзья были далеко, и ни с кем не могла я поделиться наиболеешим.

И вот однажды, совершенно случайно, я встретила с Инной. День был выходной, стояла жара, я сидела в парке на лавочке и уплетала мороженое. Инна прыгнула на мою лавочку и подмигнула.

— Мороженое вкуснее или жара сильнее? — спросила она с усмешкой.

— Сильнее кеды жмут, — искренне ответила я.

— Так разувайся! — мгновенно нашла она выход.

— А потом, когда обуюсь, ещё сильнее жать будут. Лучше уж потерпеть, — объяснила я своё бездействие.

— А ты задники прижми, и ходи себе! — жалостливо взглянула на меня Инна.

— Да ты что, как я единственные кеды загублю?! Красота требует...

— Ты сначала с мимикой своей разберись, а потом уж о стиле думай... — перебила меня Инна. — Здешные парни такие нюансы мигом подавливают, не то, что тбилисская шпана...

— А ты откуда знаешь, что я из Тбилиси?

— На кедах написано! — и тут Инна от души расхохоталась.

Так, только познакомившись, мы сразу же подружились. В отличие от меня, Инна всегда знала, чего можно добиться, как развернуть ситуацию в свою пользу, какие слова применить; она никогда не использовала длинных предложений и вечно подтрунивала надо мной — нет, мол, в мире человека, который поймёт, что ты хочешь сказать. У тебя всё «в огороде бузина, а в Киеве дядька», и растерянная ты какая-то, и точки пора научиться ставить быстро, и замолкнуть вовремя, чтобы дать собеседнику возможность ответить, а то если всё время слушать только твои перлы мудрости, можно и с катушек съехать. Нет, я и сама чувствовала, что пугаю американских парней, когда мелю глупости или развожу книжную тягомотину. А если ещё и добавить мой грузинский акцент, который со временем потускнел, но поначалу я его даже подстёгивала, чтобы подчеркнуть свою самость... В общем, стереотипы, с которыми я так самоотверженно боролась в родных пенатах, теперь стали для меня оружием самообороны — я не упустила случая, чтобы вынуть его из ножен и помахать как мечом. Инна всякий раз подсмеивалась над моим «грузинством» и свои внушения на эту тему всегда завершала фразой: «Now your nationality is New Yorker»<sup>1</sup>.

Несмотря на то, что мы с Инной спорили по всякому поводу, она стала для меня самым близким человеком на всём белом свете.

<sup>1</sup> Теперь, по «национальности» ты жительница Нью-Йорка.

Общение с ней открывало мне нечто новое, освещало события под иным, непривычным углом. Я была на том этапе личностного развития, когда сознание нуждалось в открытии новых горизонтов, чтобы не зарости мхом. Ну, если не в горизонтах, то хотя бы в окошке, струйке свежего воздуха, который проветрил бы запылённые мозги.

## 4

— И как прошло свидание? — спросила Инна.

— Ничего интересного, всё одно и то же.

— И всё-таки, о чём вы говорили? С которым уже по счёту парнем ты встречаешься, а таадычишь «всё одно и то же».

— А он и спрашивает одно и то же: *How long have you been here?* (1). Меня уже в дрожь бросает от этого вопроса.

— Ну и что? Совершенно безобидный вопрос, просто набор слов для начала беседы. А ты что ответила?

— *Before your ass was even born*<sup>1</sup> — вот что... — и только тут я от души расхохоталась сама над собой.

— Ну, ты просто идиотка! Он что, младше тебя?

— Нет, старше. Но разговаривал как школьник.

— Ты всегда так говоришь. Объясни мне, что ты имеешь в виду? Ты чего ждёшь, что, не успев познакомиться, он тебе сразу в любви признается или о высоких материях рассуждать начнёт? И даже если случится так, знаешь, что ты мне скажешь? «Ничего интересного, чокнутый какой-то, — Инна потеряла терпение. — Сколько раз должна я тебе объяснять, что 99% американцев ищут нормальных отношений с женщиной, а не чего-то абстрактного и непознанного. А это начинается с самого обыкновенного разговора, а не с какой-то мистики!»

— Вот именно и жду мистического знака! — последние её слова я отчеканила, чтобы ещё больше разозлить Инну. Но она разгадала мой замысел и на хитрость не поддавалась. Только иронически «выстрелила глазами» и спокойно продолжала мазать лак на ногти. Говорила же я, на всё у нас разные взгляды, на мужчин, на свидания, даже на секс, ничего уже не говоря о стилях и вкусах. Я предпочитаю ходить на свидания в кедах и вообще не выношу туфли на каблуках. Как-то я проиграла Инне пари и вынуждена была отправиться на свидание в туфлях на каблуках. Не успев вернуться домой, я эти единственные туфли разорвала в клочья. Это зрелище так развеселило Инну, что она долго ещё называла меня «танго»: «Моё любимое Танго, Тангустина, Танганетта, как поживаешь?»

## 5

Вечера мы часто проводили вместе. С ней я могла говорить о том, о чём никому, наверное, не сказала бы. Вот, к примеру, я ей рассказала, как украла маленький серебряный кулон-собачку, чтобы подарить Кэти. Кэти — это моя девятилетняя ученица, я ей давала

<sup>1</sup> Ещё до того, как твоя задница вылезла на свет.

уроки игры на скрипке. Кэти мечтала стать ветеринаром, потому что с ума сходила по животным, а в особенности — по собакам. У Кэти был красивый спаниель, чёрно-белый, в крапинку, она просто души в нём не чаяла, всё чмокала пса в морду.

В тот день я искала для Кэти подарок на день рождения и забрела в «Баумингдейл». В этом фешенебельном магазине, я и понятия не имела, всё продавалось втридорога, а у меня каждый цент был на счету. В ювелирном отделе увидела я кулон-собачку и представила себе, как заблестят глаза у Кэти. Бросила взгляд налево-направо, рядом никого не было, я протянула руку — и в карман его.

— Ну и дура ты! — ахнула Инна. — В «Баумингдейле» всюду камеры понатыканы. И как ты выкрутилась?

— Я вышла на улицу, но в нескольких шагах меня нагнал молодой полицейский в гражданской одежде. Я не пыталась бежать, продолжала идти в том же темпе. Полицейский остановил меня и любезно попросил «пройти с ним». Мы повернули назад, к «Баумингдейлу». Он завёл меня в отдельную комнату и обыскал — сначала сумочку, а потом выпотрошил мне карманы. А я, как вышла из магазина и заслышала за собой торопливые шаги, тут же подкинула кулон в газоны. Вот почему молодой полицейский в гражданской одежде ни черта не нашёл в моих карманах. Он вежливо попросил прощения, ссылаясь на то, что работает первый день в жизни, и проводил меня до выхода.

— Ты не только дура, ты ещё и аморальный тип! Хотела краденым подарком ребёнка осчастливить?

— Да погоди ты, то ли ещё будет! Моя наглость простирается намного дальше! На другой день я вернулась к газонам и нашла вещицу.

— И что, подарила Кэти?

— Надо было видеть её глаза! «Я получила сегодня лучший подарок!» — с таким криком помчалась она к матери. Потом рванула к собаке «Silver dog, silver dog! See, Jacky, I got a silver dog!»<sup>1</sup>. — Ну и удружила ты Кэти с подарком — сказала мне несколько дней спустя его мать. Она мне говорит: «Когда я в школе скучаю по Джеки, поглаживаю мою серебряную собачку»... Ну как, стоило согрешить, чтобы так осчастливить?

— Ой, не буду тебе читать морали, но такое дело прежде всего именуется во-ров-ством.

— А мы все друг у друга ворует: слова, поступки, и не имеет значения, что конкретно мы украдём: вещественное или нет. Ты взгляни на это с другой стороны — что послужило мотивацией: одарить ребёнка радостью. «Ты думаешь, «Баумингдейл корпорейшн» претерпела от этого большие убытки?» — я умышленно растягивала гласные, иронически произнося «Баумингдейл».

— Нет, ты взгляни на это с другого ракурса, — Инна обернулась ко мне. — А ну как все так начнут «одаривать радостью» — что из этого выйдет?

<sup>1</sup> Серебряная собачка! Серебряная собачка! Смотри, Джеки, мне подарили серебряную собачку.

— Дело всё в том, что американцы так не ведут себя, я — исключение из правил. Если бы все так себя вели, я бы кулон не крада. Моя мотивация, с одной стороны, осчастливить, а с другой — допустить исключение из правил. А этот кулончик, за который я должна была бы выложить треть зарплаты — капля в море для фешенебельного магазина. И цену ему накрутили запредельную, подумаете, кулончика — без дупы не увидишь... Или раз заходишь в этот «Блумингдейл», так мощна у тебя лопатся должна от купюр?! Я вот что тебе скажу: в этом маленьком кулоне заложена большая капиталистическая алчность!

— О-го-го! Твоё счастье, что полицейский попался неопытный, не то американские законодатели как скрутили бы тебе белы ручки, да за такую проповедь как вlepили бы срок подлиннее твоей фамилии...

— Слава Богу, что ты не американский законодатель! — улыбнулась я Инне.

## 6

— Знаешь, в чём твоя проблема? Ты не можешь отличить главное от второстепенного.

Социруившись, Инна глубоко затянулась и, выпуская дым, указала на стол, где в беспорядке валялись квитанции из супермаркетов, выписки, сделанные в библиотеке колледжа, паспорт, лак для ногтей, помада, чек, выписанный на моё имя матерью Кэти, разного размера гвозди вокруг молотка, наспех накаляканные номера телефонов без имён-фамилий, фотографии, присланные по почте, «джанк-мейлы»<sup>1</sup> и невесть ещё что... Не знаю, создавало ли это мне проблемы, но для Инны было совершенно невыносимо. Когда она впервые увидела натюрморт на моём столе, только и смогла что простонать, чуть не падая в обморок: «Боже мо-ой!».

Зато на столе у Инны царил безупречный порядок. Стол был разделён на четыре части. Задний правый квадрат занимал канцелярский «органайзер», в маленьких отделениях которого были аккуратно разложены ручки, маркеры, карандаши номер два, степлер, кнопки и другие канцелярские аксессуары. Задний левый квадрат был отдан почтовому органайзеру, где нашлось место маркам, ножичку для вскрытия конвертов, клею, скотчу, стикерам Инниного адреса. Там же лежали открытки на разные темы, но преимущественно — поздравительные, с днём рождения, и благодарственные, с таким текстом: «Спасибо, что в вашем перегруженном расписании дня нашлось для меня время...» Левый передний квадрат был занят полученной корреспонденцией, часть которой была вскрыта и тематически разложена (к примеру, коммунальные выплаты — отдельной стопкой), а часть — в закрытых конвертах. Хранившиеся на переднем правом квадрате предметы по мере необходимости сменялись: то там лежал рабочий блокнот, то пара-тройка книг, то расписание на текущий день, то ещё что-нибудь. Одним словом, наши письмен-

<sup>1</sup> Бесплезная почта.



ные столы были в полном диссонансе. На первых порах Инна, не успев перешагнуть порога моей комнаты, принималась за воспитательную работу на тему стола и приоритетов, но потом постепенно свыклась с этим раскардашем, и замечания отпускала лишь изредка, и то как бы между прочим. Вот и сейчас, вместо приветствия она бросила мне с ходу вопрос, который я сочла за «здравствуйте» и ответила в том же духе:

— Знаешь, что я нашла? Квитанцию от давным-давно купленных часов... И вспомнила нашу с Марком короткую связь, — сказала я Инне. — Мы как-то зашли в «Волмарт», я купила часы и ещё до выхода из маркета, как обычно, выбросила чек в мусорную корзину. А часы эти почему-то начали пищать на выходе, под рентгеном. Тут же подошли охранники. Попросили предъявить чек на покупку. А что мне им было показывать? Потщила я их к мусорной корзине. А там — пусто, мусор уже успели вынести. Марк побледнел как стенка. «Ну, ты и легкомысленная», — сказал он тогда. Наконец, в компьютере отыскали моё имя, а с ним и этот проклятый чек, который касирша выбила и с улыбкой протянула мне.

— Ни один американец не станет сразу выбрасывать квитанцию. И вообще, это — вопрос культуры, может быть, тебе на второй день эти часы разонравятся и захочется их вернуть...

— Ты права. Я знаю одну женщину, которая в неделю раз покупает по выходному платью, надевает его раз или два, а потом сдаёт обратно в магазин. Удивительно, как ей ярлык, изнутри прищипандоренный, не мешает...

— Вообще, зная цену деньгам американцев приучают с детства. К примеру, ребятига ходит по соседям и разносит какие-то мелочи или сухарики собственного изготовления, собирая понемногу в фонды помощи нуждающимся детям... Так и к труду приучаются.

— Да, это безобидное занятие, да и помощь нуждающимся детям — бесспорно гуманный мотив. С малых лет вырабатывается навык — как продать какую-нибудь фитюльку, чтобы скопить денег и добиться цели. Практичный навык. А практичность — неотъемлемая часть американской культуры. Здесь то, что непрактично — нецелесообразно. Именно в ту степь и катится идея помощи нуждающимся детям.

— Именно так, — отвечает мне Инна. — А разве обзаводиться семьёй и чуть не до пенсии сидеть на шее у мамочки с папочкой — не верх уродства? Или когда бабушка с дедушкой растят деточек этих неоперившихся родителей, лишённых всякого жизненного опыта, это ли дело?

Ну что тут сказать — железный аргумент, много я таких маменькиных сыночков и дочек видела в родном городе. Но надо ведь как-то возразить Инне, отмазаться. И я говорю подчёркнуто спокойно:

— Мне очень нравится американская вежливость, они предельно этичны, и взаимоуважение у них поставлено на такой уровень, что порой от обилия всех этих «прошу прощения» и «извините» я устаю так, что думаю про себя: ох, кто бы меня обматерил, душа б возрадовалась...

На это Инна только посмеивается и ничего не отвечает. Это тот редкий случай, когда она воздерживается от иронических комментариев и не напоминает, что «моя национальность — «ньюйоркер»».

## 7

**Инна:** Почему у тебя глаза красные?

**Я:** Всю ночь писала сценарий.

**Инна:** А какой сюжет?

**Я:** Женщина, примерно 33 лет, у которой любовник-интеллектуал намного старше неё, преподаёт в «хай скул»...

**Инна:** Понятно, наверное, кто-то из учеников в неё влюбится-втюряется.

**Я:** Да, один из учеников затевает с ней роман. Они встречаются тайно, за пределами школы. Женщине нравится упрямый и своеобразный характер парнишки. У них страстный секс... В речи женщины появляются важные характерные штрихи, глаза её лучатся, в строгий стиль одежды врываются лёгкие цвета... всё это не остаётся незамеченным в среде коллег и учеников, хотя никому и в голову не приходит, что любовник женщины — её же ученик.

**Инна:** А где в это время любовник-интеллектуал?

**Я:** Он существует параллельно, но женщина ничего не говорит ему о школьнике. Более того, тот мужчина даже чувствует повышенное внимание к своей персоне, она общается с ним более утончённо...

**Инна:** А если она раскроет карты, бросит её любовник?

**Я:** Нет, не бросит, потому что он любит эту женщину, но женщина не хочет, чтобы мальчик образовал хотя бы ма-а-аленькую дистанцию между ними, потому что она дорожит этой связью.

**Инна:** Другими словами, морочит голову мужику.

**Я:** Да нет, не морочит, просто прячет этого школьника.

**Инна:** Значит, школьника дурит.

**Я:** И школьника не дурит. Эти двое мужчин сливаются в женщине в одно целое. Ей иногда снится, что мальчик и мужчина — один человек... Женщина готова бороться за обоих, но не за счёт потери одного из...

**Инна:** Я всё-таки думаю, что когда женщина вступает в отношения сразу с двумя, то одного из этих двух она любит, а другим — увлечена. Люди ведь вечно ищут приключений. Ты разве в детстве не любила приключенческих романов?.. В детях часто в самом раннем возрасте убивают стремление к приключениям и тащат в орбиту прагматики. Так значит, интеллектуальный любовник намного старше неё?

**Я:** Да, меня всегда волновала эта тема — большая разница в возрасте между мужчиной и женщиной, и неважно, кто старше: в обоих случаях отношения несут особую нагрузку. А в сценарии эта разница удваивается с обеих сторон: женщина чуть ли не вдвое старше школьника, и при этом встречается с мужчиной вдвое старше себя. Через этого мальчика она пытается вернуться в потерянное время, а мальчик, напротив, горит желанием оставить время позади,

и посредством отношений с женщиной вдвое старше себя шагнуть из тинейджеров в мужчины. Обе стороны довольны своим выбором и восполняют чувства, которых в их жизни не хватало...

**Инна:** не понимаю, как можно одновременно любить двух мужчин... И что происходит дальше, как узелок развязывается?

**Я:** В один прекрасный день женщина поняла, что забеременела от школьника... Да, любить двух мужчин одновременно можно, но при этом в тебе должно жить две женщины...

**Инна:** Да-а... Беременная женщина, которая имеет отношения с двумя мужчинами... Такая история может развиваться разнонаправленно. Во всех случаях женщина должна принять решение в свою пользу. На её месте я бы выбрала интеллектуала и для полной идиллии сказала бы, что ребёнок — его... А мальчику бы сказала, что развлекались, провели приятно время — и довольно...

**Инна:** Нет, она не позволит себе так бессовестно обманывать своего мужчину, не станет выдавать чужого ребёнка за его — это было бы жестоким оскорблением... Это разительно отличается от ситуации, когда женщина скрывает, что у неё есть мальчик в любовниках. У неё своего рода раздвоение личности. С одной стороны, она получила всё, чего желала: двое мужчин, каждый по-своему заполняющий её жизнь, и ребенок, который должен принести ей счастье материнства... С другой стороны, она чувствует, что утаить связь со школьником не удастся, и эта параллельная идиллия будет нарушена. Женщина сообщает юноше, что она беременна от него и что он скоро станет отцом... Тинейджеру в его 16–17 лет очень неудобно представлять себя в роли отца. Ошарашенный, он призадумается и поймёт, что не готов к такой ответственности.

**Инна:** По твоей версии получается, что женщина с юношей расстаются из-за ребёнка...

**Я:** Это так. Женщина скучает по своему школьнику, рассказывает о нём мужчине и вдруг обнаруживает, что для мужчины их отношения не являются новостью. А когда ребёнок родится, женщина осознаёт, что её чувства к школьнику трансформировались в материнские, и, в конце концов, юноша запечатлевается в ее сознании в образе ребёнка.

## 8

**Я:** А каким персонажем ты меня изобразила? Молоденькая грузинка приезжает одна в Америку, ищет работу, ищет друга, ни в том, ни в другом ей не везёт... Встречается с другим персонажем, Инной, с которой завязывается дружба. И что потом?

**Автор:** Инна — твоё *альтер эго*. То ты его признаёшь, то отталкиваешь... Иногда тебе кажется, что Инна — твоё вторая половина, которой ты хочешь стать, но не в силах... И тебе нравится общение с ней, потому что она именно та, кто тебе нужна, но которую ты не являешься.

**Я:** Тогда зачем всё это нужно — разрушение личности, потом соединение? Человек ведь не конструкция, чтобы его разбирать и собирать.

**Автор:** Мне понятно твоё раздражение. Постараюсь объяснить: я часто думаю, что существование каждого человека в данное время и в данном пространстве, помимо характера и интеллекта, обуславливается многими факторами. Одним понятием эти факторы выразить можно так: «окружающая среда», в которой он живёт.

**Я:** Не могу с тобой согласиться. Уже четвёртый год, как я живу в Штатах, но меня не покидает чувство, что эти улицы, по которым я хожу — сон, перенесённый в реальность и пустивший в ней корни. Шаг за шагом, прохожу я по этой реальности и представляю себе другие улицы, существующие в действительности, но в ином пространстве, в другом городе, на другом континенте... Это вторая, параллельная реальность, существующая так же, как тот реальный сон, в котором я отмеряю шаг за шагом... А ты говоришь «среда»... О какой среде речь?

**Автор:** О той и другой — реальной и виртуальной...

**Я:** Кажется, всё это начинает походить на абсурд, часть которого — твоя повседневность, как смерть — часть твоей жизни...

**Автор:** Вот потому-то я и расчлению твой персонаж и сталкиваю его с Инной — чтобы ты лучше рассмотрела саму себя. Тебе ведь должно хватить решимости признать в один прекрасный день: Инна — это часть меня, моя попытка самообороны, вроде бы успешная, но время от времени я устаю, выступая в её роли, и вновь начинаю выискивать свои слабости, и тосковать по ним.

**Я:** И что, я должна Инне признаться в этом?

**Автор:** Только самой себе, Инна тут ни при чём. Инна существовала и всегда будет существовать. Инна — это те параллельные улицы, по которым ты ходишь, и ты, в конце концов, должна признать, что она — реальный сон, а абсурд — часть реальности.

Так ясно вижу я сидящую рядом с дымящейся сигаретой Инну, дающую «полезные советы» (как она сама их называет), что трудно усомниться в её реальном существовании. Но вспоминаются слова автора, что Инна — моё *альтер эго*, и я прихожу в замешательство... Однажды, совершенно для неё неожиданно, я вдруг подошла и потрогала её... Этот жест был настолько вырван из контекста, что Инна сразу бросила на меня многозначительный взгляд и буднично, по-деловому, спросила, не лесбиянка ли я. Это сразу навело меня на мысль, что поставленный таким образом вопрос даёт мне возможность коварно использовать доверие Инны. Выдержав искусственную паузу и избежав её взгляда в упор, я прочитала небольшой монолог о желании самопознания, живущем в каждом человеке. Говорила я не слишком связно, путалась в словах, да и Инну не сумела втянуть в разговор, к тому же это *альтер эго* никак не давало мне покоя. Может, будет лучше побеседовать с автором?

**Я:** И всё-таки не могу понять, чего я хочу. Будто бы и знаю, а на самом деле определение моей доли счастья всегда проскальзывает между руками и глазами. И понятия не имею, куда меня несёт...

**Автор:** Сколько людей на земле, столько и определений счастья. Но и «формула счастья» у каждого постоянно меняется, что-то в ней наслаивается, что-то отслаивается... Короче, никто не

знает — где он/она нарисуетя, даже если известны все географические координаты адресата... Хочешь, скажу, как я завершу рассказ?

**Я:** А не лучше ли будет, если мы с Инной напишем финал? Как-то сердце щемит, что точку в нашей истории поставишь ты...

**Автор:** Я не против. Ты уже что-то придумала?

**Я:** У меня своя версия, у Инны, наверное, будет своя, наши мнения ведь всегда резко друг от друга отличаются.

**Автор:** Тогда поведай мне свою версию.

## 9

### *Моя версия финала:*

В баре толпилась масса народу. Никогда не видела этот бар таким переполненным. «Почему именно сейчас?» — подумала я, когда, после длительной переписки, мы, наконец, приняли решение встретиться. С Тедди я познакомилась на одном из Интернет-сайтов. Мы и понятия не имели, как узнать друг друга, потому что наши фотки не были размещены на сайте. Знали мы возраст и интересы друг друга и в течение последнего месяца переписывались достаточно активно. Я неоднократно рисовала в воображении его лицо, даже посылала ему несколько вариантов описания, но он ответил, что ни один не похож. Тедди и сам предпринял такую попытку, но, в отличие от меня, всего одну, а когда получил отрицательный ответ, написал — «плюнь ты на это, всё равно не имеет значения цвет твоих глаз и кожи». «Цвет кожи» меня напряг не на шутку, и я написала, чтобы хоть сообщил, к какой он расе принадлежит. Он чуть не помер со смеху, во всяком случае, кучей хохочущих смайликов меня завалил, чего раньше никогда не делал, и вообще, в отличие от меня, не любил «смайлики». И вот сейчас я встречалась с Тедди в переполненном баре...

— Как прошло свидание? — спросила Инна.

— Я влюблена!

— Ого, ты — и вдруг такой ответ! Ну-ка, рассказывай всё подробно. — Инна максимально сконцентрировалась на мне.

— Ни формальных «привет-как дела», ни «How long have you been here...», я отвела взгляд в сторону и тихо продолжила: «Такой я тебя и представляла», — сказал мне Тэдди. И я не могла избавиться от ощущения, что где-то видела его, в каком-то сновидении... Но на самом деле видела-то я его впервые... Всё это я ему и высказала. «Хорошее начало», — сказал он с улыбкой и заказал пиво. Разговор мы продолжали как старые друзья...

— Мдаа... — призадумалась Инна. — И о чём же вы говорили?

— Первое, что мы выяснили друг о друге — это наша сексуальная ориентация.

— Хватит дурачиться, ты же видишь, я тебя слушаю вся напрягшись, — спокойно произнесла Инна.

— И вовсе дурака не валяю... — сказала я.

— И что потом? — после паузы спросила Инна.

— Вслед за тем мы разобрались — кто как реагирует на измену.

— И кто же как реагирует?

— Оба мы начали с того, что если в отношениях двух людей появляется третий, то первым об этом должен узнать один из этих двух. Мы согласились в том, что «изменять» означает не что иное как использовать друг друга и обманывать.

— Дальше? — нетерпеливо поинтересовалась Инна.

— Мы согласились в том, что начало порождает конец, что если наши отношения продолжатся, если мы самозабвенно полюбим друг друга, то будем подготовлены и к финалу.

— А потом, потом? — Инна теперь уже нервничала.

— Когда мы набросали основные штрихи друг о друге, включая — кто какой кухне отдаёт предпочтение — это мы уточняли ещё в процессе переписки, — после всего этого Тедди принял историческое решение и обратился ко мне с таким вопросом: «Есть ли что-нибудь такое, что я должен знать о тебе с самого начала?».

— И что же ты ответила? — Инна в волнении сверлила меня взглядом.

— Я сказала, что в моём лице ему предстоят отношения с двумя женщинами, что эти две женщины совершенно друг на друга непохожи, и более того, часто они противостоят друг другу. Тедди задумался и заявил, что у нас сколачивается интересная компания из двух женщин и двух мужчин. Я сказала, что тебя зовут Инна и всё в деталях рассказала о тебе, а он познакомил меня с Джонатаном...

## 10

*Иннина версия финала:*

**Инна:** Я очень волнуюсь из-за того, что в этой огромной стране именно мне поручили её. Она ведь всё ещё ребёнок — неподготовленный, не усвоивший правил поведения со взрослыми, и поэтому она всегда оказывается в проигрыше, и её постоянно штрафуют за нарушения правил игры... Ведь как раз это общество и является самым строгим защитником правил...

**Автор:** Столь чувствительные люди не могут войти в необходимый контакт с реальностью, потому что не понимают языка, на котором эта реальность общается, в них слишком преобладает индивидуальность, чтобы шагать в ногу с большинством. У них свой внутренний ритм, который не подчиняется никаким правилам и законам.

**Инна:** Она всё время что-то выдумывает, не поймёшь — где правда, где ложь. По пять версий выдаёт на каждый сценарий. Последний — о молодой женщине, у которой связь сразу с двумя мужчинами...

**Автор:** Да, читали, читали... Помню и то, как, обсуждая сценарий, ты быстро и легко сделала выбор, согласно которому женщина должна обмануть «интеллектуального любовника», будто он — отец ребёнка, что, по словам моего персонажа, является «жестоким оскорблением»... Потом вспоминаю, как ты осудила её за кражу серебряной собачки.

**Инна:** Я всё время пытаюсь противостоять ей, будь то даже незначительные мелочи. На какие-то вещи я махнула рукой... Постепенно я всё более убеждаюсь, что даже ценой мучений она своё продавит. Хотела особых отношений, и вот обнаружила Тедди. Она ду-

мает, что мы вечно будем вместе, но сердцем чую — сейчас она переключится на Тедди, а обо мне и не вспомнит, что значит: дом, стоящий на земле, постепенно утратит фундамент. Когда же Тедди бросит её, откуда ей ждать помощи — останется одна-одинёшенька, и как бы чего над собой не учинила...

**Автор:** Не беспокойся, даже если нечто подобное произойдёт, она вспомнит о тебе и разыщет... Ты ведь её *альтер эго*.

**Инна:** Она мне напоминает человека, который приходит в кинотеатр к тому времени, когда фильм заканчивается, и зрители просачиваются сквозь узкие двери на улицу... А она прёт против людского потока... Есть в ней одновременно нечто традиционное и разрушающее традиции. Не знаю, может, когда-нибудь ей хватит решимости признать: Инна — это часть меня, моя попытка самообороны, вроде бы успешная, но время от времени я устаю, выступая в её роли, и вновь начинаю выискивать свои слабости и тосковать по ним.

## 11

*Авторская версия финала:*

**Автор:** Решено, что границы между персонажами в финальной комбинации будут не прямолинейными, а немного расплывчатыми. В Инне намешано немного от автора, а в авторе — немного от Инны. Это их первая и последняя встреча, поэтому они расслаблены и вялы, как сидящий на аэровокзале по соседству пассажир, с которым ты никогда больше не встретишься...

Таким принципом «размывания» во всех трёх версиях финала я старалась не упустить какую-то часть каждой из них. Мой персонаж, после знакомства с Тедди и, вопреки ожиданиям Инны, стал чаще встречаться с этим последним, более того, на свидания они стали ходить парами. Тедди приходил с Джонатаном, и эта четвёрка весело проводила время. Как-то раз они позвали и меня, но я ввиду занятости не пошла. Потом пожалела — часто ли доводится человеку быть приглашённым собственным персонажем?

Однажды я вынула из почтового ящика письмо Тедди. Вот что было в нём написано: «Сегодня мы остались совсем одни, без Инны и Джонатана, и долго говорили друг о друге. И вот что сказала она в заключение: Инна — это часть меня, моя попытка самообороны, вроде бы успешная, но время от времени я устаю, выступая в её роли, и вновь начинаю выискивать свои слабости, и тосковать по ним...».

Иногда у меня перед глазами встаёт треугольник, два конца которого лежат на земле, а третий устремлён в небо. Два конца на земле — это мой персонаж и его *альтер эго*, а я, третий конец, в отличие от них, витаю в облаках, опираясь на них.

Однажды мне приснилось, что Инна звонит по телефону и просит не завершать рассказ. А на другой день и вправду раздался звонок, и Инна, уже не только от своего имени и от имени персонажа «я» попросила о том же. Подумаю, — сказала я, не подозревая, что рассказ действительно подходил к концу.

*Перевод Владимира Саривили*



## Галина КОМИЧЕВА

*/ Киев /*

\* \* \*

Какая долгая зима!  
Какой невыносимый холод!  
Безлюден и безмолвен город,  
и надо бы сойти с ума.

Не правда ли, три тыщи лет  
вокруг ничто не происходит,  
и тусклый ангел скуки входит,  
и с крыльев стряхивает снег.

\* \* \*

Мы займём у кого-нибудь денег,  
не задорого купим вина,  
и в вечерней, божественной лени  
при свечах посидим у окна.

За древней покоится вечность,  
бессловесная, тайная жизнь.  
Освещённые пламенем свечи,  
мы с природой волшебю слились.

\* \* \*

*N.N.*

Как яблоко, готовое упасть,  
чтоб ветка разогнула спину,  
я от себя освобождаю Вас  
во имя Духа и Отца и Сына.

На то и зрелый август, чтоб плоды  
на землю падали с тяжелых веток...  
Я подарю Вам слов прощальных свиток  
и грустный взгляд из сада доброты.



\* \* \*

Мы с тобой давно не говорили,  
мы не скоро встретимся ещё,  
злая воля руку возложила  
на моё и на твоё плечо.

Нам досталось золото молчания,  
невозможность встречи на земле.  
То, что нас с тобою разлучает,  
сводит нас с тобой ещё сильнее.

\* \* \*

Много неба, кусты кое-где и дорога,  
идти далеко ещё, долго идти,  
вокруг никого, кроме Господа Бога,  
печальней мотива искать-не найти.

Все разъехались.  
Каждый один-одинёшенек,  
в мире чужом стебелёчек души,  
по камешкам дней в одежке поношенной  
робко ступает и счастлив, что жив.

А с воздухоплаванием кончено, милье,  
писарь пилатов занес в протокол  
запрет на крыла и со скучною миной  
перо отложил и сморкнулся в подол.

Но кто-то один, кто не слушает радио,  
отроду вольный и малость того,  
отнюдь не борец за свободу и правду,  
парит в небесах высоко-высоко.

\* \* \*

Каждый вечер на манеже появлялся белый клоун,  
появлялся белый клоун, белый клоун Франсуа.  
Неподвижным светлым взором он смотрел перед собою,  
отчуждённый, как фламинго, и немой, как тишина.

Он, как сон далёкий, давний, проплывал перед глазами,  
проплывал перед глазами недосказанностью сна.  
Неразгаданною тайной, не разгаданной годами,  
покидал арену клоун, белый клоун Франсуа.

\* \* \*

Деревня в январе прозрачна и невинна,  
всё в воздухе зимы готово к Рождеству,  
луна по вечерам восходит на средину  
светящихся небес, чтоб сгинуть поутру.

Деревня замерла. Куда ни кинешь око, —  
безбрежные снега. За мглистый край земли  
уходит санный путь и за земным порогом,  
как чья-нибудь судьба, теряется вдали.

\* \* \*

спокойное лето  
холмы  
ничего не прошу у судьбы  
по небу плывут времена-времена  
какое у них исчисление  
я не пойму

\* \* \*

Еще не скоро у закатов зимних  
закончится малиновый запал.  
Края села, пригорки и низины  
безмолвны и нежны. Бог задремал  
за огородами у ледяного пруда.  
В предчувствии рождественского чуда  
застыли деревья. Сосед мне рассказал,  
что здесь в сочельник ангелы летают  
и в душах мир надолго поселяют.

Ну а пока сиди в избе, блаженствуй,  
гляди в окно на санные пути,  
на здешний день, искристый и торжественный,  
чтоб было с чем остаток дней пройти.

\* \* \*

Подсолнухи освещают день,  
гром прогремит не завтра еще,  
туман пройдет, как от Бога тень,  
восстанет дуб, как Его плечо.

Стребут стога всех небес лучи,  
конь забредет далеко в луга,  
все что звучало, вдруг замолчит,  
небо раскроется донага.

\* \* \*

Родные мои, бесскворешные,  
 певчие вы мои,  
 грешные души безгрешные,  
 поводьри любви,

без выходных работники  
 в безгонорарный век,  
 художники, вестники, столпники,  
 иноки библиотек,

не уставайте, звездные,  
 узники высших сил,  
 вам небесами розданы  
 крылья белей белил.

Не умолкайте, милье,  
 кутайте горло зимой,  
 истины дети надмирные  
 в скорбной юдоли земной.

\* \* \*

За глинистым полем разрушенной мельницы остов  
 вдали от деревни встречает последний закат.  
 Ветрами обглодан, дождями косыми исхлестан,  
 стоит он у белых, сакральных, распахнутых врат.

С котомкою снов, с цветами, растущими в небе,  
 к нему прихожу я. Мне не к кому больше идти.  
 На обломках твоих я рисую счастливую небель,  
 угрюмый старик, еле видимый дух во плоти.

\* \* \*

Из бездны, из *там*, из не *ведаю*, из ничего  
 внезапное выпадет слово на плоскость бумаги  
 из лихорадки ума, суеты речевой  
 заваривать темную густо-зеленую брагу

тоски и восторга, падения и высоты,  
 ночного вороньего крика, дождя и туманов,  
 задворок заблудшей души, кружевной красоты,  
 карающей правды и сладкозвучных обманов.

Тревожного помысла легшие в строчку слова  
 свершат, наконец, над поймавшимся грешное дело.  
 А наш беззаконник, маэстро, знаток колдовства  
 и сам захмелеет от своего виноделья.



## Вера ЗУБАРЕВА

*/ Филадельфия /*

### Относительность смерти

#### *Обледенение*

Там город за окном — обледеневший, чёрный,  
 Как пращур городов цветущих и живых.  
 Зачёркивает тьму  
 Над тяжкой снежной кроной  
 Искрящих проводов молниеносный штрих.  
 Я слушаю, как всё  
 Ломается и стонет,  
 Как будто стала смерть  
 Немыслимым трудом,  
 Как будто город — миф,  
 А ночь — рубеж историй,  
 А свитком буду я,  
 А манускриптом — дом.  
 Скрипит какой-то ствол,  
 Отторгнутый корнями.  
 Он пал — как человек,  
 Хотя и рос — как ствол.  
 И что за новый смысл  
 Открылся в этой драме?  
 И был ли в этом смысл  
 Иль только — производ?

\* \* \*

Быстрый день междометием  
 Из истории выпорхнул.  
 Был ли — не был на свете он  
 Между вдохом и выдохом?  
 И в каком измерении  
 Познаёт в неподвижности  
 Относительность времени,

Относительность жизни он?  
 Всё догадки и домыслы —  
 От судьбы до случайности.  
 Из далёкого космоса  
 Только Мысль возвращается.  
 Так и связаны с нею мы.  
 И в её милосердии —  
 Относительность времени,  
 Относительность смерти.

### ***Колыбельная***

Ах, ухватиться б за подол заката  
 И плыть, и плыть — туда, где не объято  
 Никем, пространство жмётся на краю  
 Всего земного, что уму понятно,  
 И напевает «баюшки-баю».  
 И на зеркально-синей акварели  
 Качаются как лодки колыбели,  
 Плывут как сны туманы вдоль земель,  
 И лунный свет играет на свирели  
 И нить судьбы мотает на свирель.  
 А ночью кроны — как большие крыши.  
 Под ними заклинается в двустийе  
 Магическое «баюшки-баю».  
 Ты слушаешь. Ты спишь. А край всё ближе.  
 Как ни ложись, проснёшься на краю.  
 И смешивая сумрак с небесами,  
 Единый кто-то, множась голосами,  
 Поёт одно и то же — «не ложись!»,  
 Но исподволь меняет всё местами.  
 Очнёшься, вздрогнув. Полоснёт, как пламя...  
 «Кто это был?» И вдруг прозреешь: жизнь.

\* \* \*

Небу сумерки приснились.  
 В них деревья растворялись,  
 В них ручьи остановились,  
 Отражая тьму да слякоть.  
 Превратились кроны в тени  
 И шептали, и шептали  
 О всемирном тяготенье,  
 О разлуке и печали.  
 Ускоряли путь свой звёзды,  
 Осыпались, самоцветы.  
 И остов их, неопознан,  
 Остывал в пространстве где-то.  
 И никто их не оплакал,  
 И никто о них не вспомнил.

Лишь заря вечерний факел  
 Вознесла на небосклоне.  
 И пропела что-то птица,  
 Прославляя свет небесный,  
 Перед тем, как растворится  
 Вместе с солнцем, вместе с песней.

\* \* \*

Вечер в гавани. Тихо курлычет маяк.  
 На якоре прошлого спит настоящее.  
 Песок под ладонью —  
 Словно ворох старых бумаг  
 Из отцовского ящика.  
 Мысль в воронку затаянута.  
 То ли ко дну,  
 То ли к берегу вынесут  
 Шторма подсознания.  
 Я под них никогда не усну,  
 Всё глубже в песках увязая.  
 Тихий голос отцовский...  
 Всю ночь шелестят-говорят  
 Эти строки зыбучие — слушай и слушай.  
 В этом мире прибрежном  
 Неизменны только моря.  
 К ним причалишь после скитаний по суше...

\* \* \*

...И лёгкий жук струится по песку,  
 Как полый шарик с жёсткой оболочкой.  
 Ряд лежаков — больничною цепочкой  
 И острый, нагоняющий тоску,  
 Целебный запах водорослей. Снова  
 Пришла сюда. И берег не в сезон —  
 Как мир доисторических времен,  
 Где никого не посещало Слово,  
 Где тишиной усилен каждый звук,  
 И поле зренья занимает жук,  
 Чьё шумное сыпучее старанье,  
 Должно быть, слышится  
 На много миль вокруг.

\* \* \*

Последний час,  
 Который отдан солнцу.  
 Оно уже не проникает вглубь,  
 Оно на верхних этажах, на кронах,  
 Само, как плоскость, —  
 Светлый плоский диск.  
 Объём огня потерян до заката.  
 Потерян так, как будто бы сто лет

До потрясения солнцем,  
 До возврата  
 Мазка — в явljenje, а штриха — в предмет.  
 Объёмы сумерек, объёмы ожидания...  
 И расплылось в раздумьях мирозданье,  
 И не найти связующую нить.  
 И ядовито потемнели шторы,  
 Чтоб сразу за вопросом: «Час который?»  
 Незыблемое в зыбкое сманить.

\* \* \*

Тень сбежала по ступеням в виде струек.  
 Кто-то вздохнул, и солнце пошло к ущербу.  
 Облако заколыхалось в пасти сумерек  
 Куском застрявшего неба.  
 Вскрикнула в дальней точке птица,  
 Замахала крыльями резче.  
 Следуя дуновенью интуиции,  
 Воздух поплыл по скитаньям речи.  
 Голос бродил вокруг да около.  
 Становилось темнее и глубже.  
 Птица дотронулась до облака  
 И осыпалась тут же.

\* \* \*

Что-то чайка на песке начертала  
 И унёс прибой письмо  
 В вечер,  
 Всколыхнулась глубина вдоль причала  
 С поплавком луны в звёздном вече.  
 То ль фрегатом, то ли греческой вазой  
 Облако росло в лунных складках.  
 Ветер дунул, контуры смазал,  
 Навсегда оставив загадкой.  
 Завихрили по песку тени  
 Улетевших птиц, мореходов,  
 А прибой беседовал с теми,  
 Кто зажёт по ним звёзды в водах.

\* \* \*

Солнце рассматривает глубины,  
 Приникая к поверхности  
 Почти неподвижного моря.  
 Облака, потемневшие, точно дельфины,  
 Подплывают к горизонту  
 И исчезают вскоре.  
 Нужно идти. Всё равно не открою  
 Того, что за сумеречным туманом,  
 Не перестав ещё быть тобою,  
 Постепенно становится Океаном.



## Валерий ДАНИЛЕНКО

*/ Иркутск /*

### Мысли из дневника<sup>1</sup>

7.9.72

- Куда ушло то время, когда каждая минута моей жизни была наполнена стремлением к совершенству? Всё было интересно: и люди, и книги, и утренний город, и театр, и спорт. Тело было наполнено какой-то фантастической энергией, а душа — неизъяснимой поэзией. Каждая минута моей жизни была наполнена гармонией. Куда ушло всё это?

7.9.75

- Многолюдие действует мне на нервы. Охлофобия.

5.11.75

- Очень важно в речи не терять ритм, ориентируясь не на отдельные слова, а на интонационный рисунок всей фразы. Это важно и для письменной речи: она должна копировать устную. Особенно хорошо это удавалось Ф.М.Достоевскому.

16.8.76

- Что это за штука такая — «народ»? Достоевский и Толстой искали в нём нравственную силу. А почему они её искали в простых людях — в мареях и каратаевых? Почему они не доверяли интеллигенции? Они сами к ней принадлежали, а стало быть, не доверяли самим себе. Над ними висело сознание их вины перед теми, кто их кормит. Это сознание вело их к явному преувеличению нравственной чистоты у «народа».

<sup>1</sup> Фрагменты книги. Полностью — «Мысли из дневника», Алетейя (СПб.), 2012. **Даниленко Валерий Петрович** — доктор филологических наук, профессор. Имеет более 200 публикаций. В 2010 г. стал лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2009 года, проводимого Фондом развития отечественного образования, а также лауреатом журнала «Литературная учёба».



31.8.76

• Похоронили Колю Дорохина. Мать: «Ну, прощай, Коленька. Не обижайся на нас». С мёртвым как с живым. Главное, что мне в нём запомнилось, отсутствие всякого желания урвать. Бескорыстная душа. Как всё просто на этом свете: закопали и дело с концом.

27.9.76

• Ф.Кafka: «Все́му лучшему во мне я обязан одиночеству». Думаю, что он имел в виду одиночество среди окружающих людей. А лучшее приходило к нему в первую очередь из книг и из его размышлений о них. Общение же с рядом живущими, увы, чаще всего оставляет в душе неприятный осадок. Как справиться с тягой к общению? Десять тысяч раз я жалел о своей деревенской открытости перед людьми, но, ничему не научившись, снова шёл к людям. Стоит только открыть клапан своего красноречия — и понесло, и понесло, и понесло... Даже дух захватывает! Наперёд знаешь, что потом будешь долго отпаёвывать, а остановиться не можешь. Тьфу на тебя! Стремление к общению заложено в естестве человеческого, поскольку человек — существо социальное, но в нём заложена и асоциальность — стремление к обособлению от окружающих. Оба стремления вполне законны, поскольку человек — существо и социальное, и асоциальное. Как здесь найти золотую середину? Думаю, очень просто: общаться нужно побольше с книгами, с их авторами, а не с теми, кто рядом. По отношению к последним нужно оставить всякую надежду на взаимопонимание. «Как в гробу я буду лежать один, так я в сущности и живу один» (А.П.Чехов). Исключения не в счёт.

2.8.77

• Андрей Смирнов подарил мне «Степного волка» Германа Гессе. Казалось бы, что нового о природе человека можно сказать после Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого? Г.Гессе сказал. Его Гарри Галлер — «гений страдания». Страдания потому, что его душа разрывается между человеком и волком. Волк — животное начало, человек — культурное. Очень глубокое постижение человеческой природы! Из этих двух начал состоит всякий человек, но только в их осознании Г.Гессе оставил позади всех нас, грешных, думающих, что «человеко-волк» — это не про нас.

25.11.77

• Репетиция А.В.Эфроса. Петренко (богатырь), Остроумова (кетливый прищур, похожа на Малю), Яковлева etc. Любшин заболел. Даль уехал. Два Эфроса. Один — человек как человек, интеллигентный, объясняющий и т.д. Другой — из мира внутренней речи. Переход от собственно внешней речи на несобственно внутреннюю речь неожиданный. Все её боятся как огня. Последняя лишь по форме внешняя, но по сути — внутренняя. Поток сознания, неупорядоченность, обрывистость, раздражённость и т.д. Приблизительно то же впечатление, что и от съёмок фильма «Хождение по мукам» на «Мосфильме»: жалкая участь актёра. Правда, Эфрос, в отличие от Ордынского, орёт без матов. После перерыва извинился.

28.2.78

• Литературный человек вязнет в чужих текстах, как муха в паутине.

4.4.80

• *Лариса Петрова*. Как мне её жаль! Отец утонул в Ангаре, когда ей было 12 лет. Она до безумия его любит. Он восхищался её стихами. После его гибели в неё вселился патологический страх потерять мать. Отчим удочерил младшую сестру, а она оказалась отрезанным ломтём. Мать отправила её из Усть-Илимска в Иркутск к больной бабушке. Поступила в ИГУ, но учиться некогда. Надо ухаживать за выжившей из ума бабушкой. Тонкая, израненная, страдающая душа. Милая девочка. Такие чистые, такие доверчивые глаза! Неужели я её люблю? Неужели это — она? Люблю, но странную любовью — отеческой.

13.5.80

• Станный сон о Ларисе. Едем с нею на какой-то машине в какую-то деревню с каким-то парнем... Вдруг всё меняется: мы скачиваемся с нею по крутой поверхности берега в быструю, бурлящую реку... Проснулся от страха в неё свалиться.

Ночь на 18.12.81

• У гроба мамы. Она разговаривает со мной. Рассказывает, как тяжело было умирать. Её мягкие, добрые руки. Красное шерстяное платье. Лицо чистое и похорошевшее. На нём застыла усмешка. Губы сжаты не то от бесконечной боли, не то от скорби по ушедшей жизни, не то удивления от совершившейся несправедливости. Больше ничего не болит. Как она не хотела умирать! Ей казалось, что смерть невозможна. Она мучилась много лет. Перестала ходить, а всё-таки жила надеждой пожить ещё. Незадолго до смерти она сказала мужу: «Креста мне не ставьте. Бога нет. Если бы он был, он не мучил бы меня так. Не за что». Мама, у твоего гроба, я клянусь тебе, что я проживу достойную жизнь.

21.12.81

С раннего детства я боялся её смерти. Умерла в 63 года. Мне 32. Как просто исчезает жизнь! Земля — мать. Обыденность смерти. Я ясно вижу, как она лежит под землёю. Я ей рассказываю, как 19 декабря прошли её похороны. Иван Чернов положил гроб на машину головой вперёд. Пришлось переворачивать. Раскричались, будто делом занялись.

8.8.82

• В детские годы я был больше предоставлен себе, чем кому-либо. Нельзя сказать, что родители (особенно это относится к маме) были невнимательны ко мне, но в крестьянской семье вообще очень редко можно найти то непрерывное, порой назойливое внимание к детям со стороны родителей, которое сплошь и рядом встречается в

городских семьях. Очевидно, поэтому во мне до сих пор живёт убеждение, что принцип Л.Н.Толстого о том, что к детям нужно относиться как к взрослым, мне кажется совершенно справедливым. Разумеется, роль взрослых нельзя недооценивать, но эта роль должна быть направляющей, незаметной, не ущемляющей инициативы самого ребёнка.

- Я часто себя спрашиваю, почему я чувствовал себя белой вороной не только в школе, но и в педучилище, армии, университете. В голову приходило много объяснений. Чаще всего приходила мысль, что всё дело в моей тонкой коже, в моей сверхчувствительной нервной организации. Всю жизнь я страдал от грубости окружающих, от их твердолобости, от их толстокожести. От временами наступающей элитарности, отчуждённости от людей меня спасали мама и Л.Н.Толстой. Теперь мне даже странным кажется, что когда-то я жил без дневников Л.Н.Толстого. Мне подарили их в педучилище. Помню, как Саша Середина мне сказала спустя несколько лет: «Ты всё планируешь!». Этим самым планированием я стал заниматься ещё в детстве. То я планировал стать художником-живописцем, то великим тяжёлоатлетом, то первоклассным шахматистом, то прекрасным баянистом и т.д. Свои планы я осуществлял с завидным упорством. Во многом преуспел. Работал в пионерском лагере художником-оформителем, по книге «Как стать сильным» в течение нескольких лет занимался гириями, зимой обливался в холодной бане ледяной водой, добился разряда по штанге, в армии стал чемпионом части по штанге и гириям, хорошо бегал на короткие дистанции, прыгал в длину etc. Увлечение спортом было настолько сильным, что я и в педучилище-то пошёл учиться главным образом потому, что профессия учителя мне казалась более всего подходящей для спорта.

- 1978 год. Роковая четвёрка за дипломную работу. Полетела аспирантура. Мотаюсь по Европе в поисках работы. Предпринимаю судорожные попытки остаться в Москве (пытаюсь заключить фиктивный брак с Катей Соколовой — отказ). Андрей Смирнов: в КГБ? Приезжаю в Иркутск: нет ставок. Возвращаюсь в Москву: распределение прошло. Снова возвращаюсь в Иркутск: есть ставка. Временная. В этом подвешенном состоянии начинаю в 28 лет трудовую жизнь на кафедре русского языка и общего языкознания ИГУ. Это подвешенное состояние продолжается до сих пор.

6.7.85

- «Если есть будущая жизнь, и мы встретимся в ней, я встану там на колени и поцелую твои ноги за всё, что ты дала мне на земле» (И.А.Бунин). Более поэтических строк в прозе никто не написал и не напишет. Сила опозитивования плотской любви у И.А.Бунина была так велика, что для него не существовало разврата. К золоту грязь не пристаёт. Поэтическое таинство любви — вот его святая святых.

11.5.85

- Вчера умер мой отец, 71 год. Пророчество гадалки, о том, что он проживёт 71 год сбылось. Когда он попросил выслать фотогра-

фию Арсения, у меня ёкнуло сердце. Он думал о смерти! Теперь у меня нет ни матери, ни отца. Эта боль останется в душе до гробовой доски. А ведь они могли бы ещё жить да жить! Пропади всё пропадом! Смерть всё обесценивает.

16.5.85

- Опускают гроб в могилу. Кенн Прокудин: «Встречай, Серафима Ефимовна, Петра Никитьевича». Генка Полещук умудрился открыть гроб мамы. Прошло больше трёх лет, как её похоронили. «Что увидел?». «Лежит. Только плесенью покрылась». Он умер на второй день после дня Победы. Получил очередную медаль («За 40-летие со дня Победы»). Днём работал на огороде. Стало плохо с сердцем. Внучка (4 года) побежала за матерью. Прибежали. Сполз с кровати. Судороги. Умер минут через двадцать. Хоронили со знаменем колхоза. Ветеран войны, коммунист, ветеран труда, почётный колхозник. Речь парторга. Некролог в районной газете. «На семьдесят втором году жизни...».

8.6.86

- Каждый по-своему с ума сходит. Л.Блумфильд «помешался» на бихевиоризме, А.Вайсгербер — на национальном своеобразии языковой картины мира, Д.Фёрс — на описании лексических значений в разных контекстах и т.д. Нет целостного взгляда на мир. Выхватят в предмете своей науки какую-нибудь черту и подчиняют ей все свои познания.

13.6.86

- Читаю в Публичке книги Карла Беккера, напечатанные готическим шрифтом. Ох, нелёгкая это работа — переводить готику на современный шрифт! Но какая прелесть книги этого немца, который умер в 1849 году, а я родился ровно через сто лет! Лучшая его книга — *Ausführliche deutsche Grammatik als Kommentar der Schulgrammatik* (1837), а не *Organism der Sprache* (1828). После смерти его будет гнобить Гейман Штайнталь — очередной поборник «современной науки». Всем этим радетелям «современной науки» и в голову не приходит, что истина всегда современна. «Современной наукой» они прикрывают свою лень в изучении истории науки. А как ты можешь судить о степени современности той или иной теории, если не знаешь истории науки? Зато как ошеломляюще звучит это словосочетание: *современная наука!* Знать, он её изучил! Знать, он знает её как мать родную! Иной услышит это магическое словосочетание — и сразу скиснет. Ему-то «современная наука» не открылась с такой ясностью, как какому-нибудь бесстыднику, выступающему от лица современной науки. Да и не только современной! Прибавляя к существительному *наука* прилагательное *современная*, он тем самым даёт слушателям знать, что ему открылось непостижимая для его отсталых коллег граница между современной наукой и несовременной.

11.7.86

• Я много раз влюблялся в учёных. Ещё студентом я восхищался Гумбольдтом и Соссюром, Есперсеном и Балли, Шахматовым и Пешковским. Позднее я открыл для себя Брюно и Гийома, Вайсгербера и Шмидта, Суита, Фёрса и Хэллидея, Данеша, Докулила, Адамца, Зимка и Корженского и мн., мн. др., но самой сильной моей любовью стал Вилем Матезиус.

3.8.86

• Если бы десять лет назад мне кто-нибудь сказал, что я буду получать наслаждение от чтения французских грамматик XVIII века, я подумал бы, что он надо мной издевается. Ситуация изменилась. Я наслаждаюсь ими потому, что вижу в них ныне забытые ономасиологические грамматики. Они прямо вписываются в мою докторскую.

7.1.87

• У Л.Н.Толстого: «Забыл, зачем живу». Зачем я живу? Чтобы во мне продолжалась жизнь тех, кого я люблю, — Л.Н.Толстого, В.Матезиуса и т.д.

10.10.94

• Был на встрече с деятелями русской культуры в доме политпросвещения. В.Г.Распутин (председатель), В.И.Белов, В.Н.Крупин, С.С.Куняев, И.Р.Шафаревич, С.С.Говорухин, Саша Казинцев. Все говорили о том, что Россия спасётся духовным возрождением. От этих душещипательных пророчеств никому не холодно и не жарко. Откуда ей взяться, этой хвалёной русской духовности?

17.10.96

• Аврал сразу с двумя книгами — «Историей русского языкознания» и «Эволюционными картинами мира». Снова боли в сердце. Как в 1987 г., когда писал докторскую. Если бы не помощь Ларисы в работе над второй книги, наверняка сыграл бы в ящик. Замысел вселенский. Куда я тороплюсь? Всё боюсь не успеть. Замыслы гонят. Но дело не только в этом, а ещё и в том, что только в творческой работе я живу в полную силу, с сознанием, что жизнь не проходит впустую.

20.12.97

• Хорошо, что я — крестьянский сын. На фоне того труда, который выпал на долю моих родителей, моя работа — не работа, а баловство.

17.1.99

• Л.Н.Толстой искал такого смысла жизни, который не уничтожается со смертью. Он замахнулся на вечность. Между тем этот смысл только тогда нужен человеку, пока он жив.

## 18.4.99

• Не насытишься, не налюбишься, не насмотришься, не наслаждаешься, не начитаешься, не напишешься, не нагуляешься, не наработаешься, не наленишься, не напишешься, не нарадуешься, не натоскуешься, — одним словом, не наживёшься.

## 27.6.00

• «Мысли» Блеза Паскаля. Нет книги более горькой. Нет книги, где с такой же силой, с такой же глубиной, с такой же безысходностью была бы показана жалкая участь *любого* человека в этом мире. Его «Мысли» — мысли об изначальной бедственности, ничтожности, мимолётности, хрупкости и, в конечном счёте, тщете *любой* жизни. Человек, в его представлении, — то атом, то тень, то песчинка, затерянная в бесконечной вселенной, а то — мыслящий тростник. На свете не было мыслителя, который глубже и тоньше Б.Паскаля показал бы нам самих себя. С непревзойдённой проникновенностью он сказал нам горькую правду о человеческой жизни. С безжалостной правдивостью он показал нам обратную сторону нашего жизнелюбия. Лучше чем кто-либо этот умнейший человек показал нам трагическую сторону любой человеческой жизни. От неё никуда не уйти. Она заложена в самоё природу человека.

## 23.9.01

• Лариса: *«Если ты не закончишь свой компьютерный ажиотаж, то закончишь в сумасшедшем доме. Посмотри, на кого ты стал похож! Ты таким никогда не был! Остановись! Это безумие! От тебя прежнего осталась одна оболочка. Где твой эволюционизм? Ты превратился в информативный мусор. На сегодня у тебя один маршрут — от компьютера на балкон и обратно. Очень полезное времяпрепровождение!»*.

## 4.05.04

• Постмодернисты — певцы хаоса, живущие разрушением. Самая зловещая среди них фигура — Ж.Деррида (прямой наследник А.Витгенштейна), а самая симпатичная — Ж.Бодрийяр.

## 10.2.06

• Чуть ли не каждый раз, когда я ложусь спать, я мучительно думаю: «Вот и ещё на один день сократилась моя жизнь. Как же так? Почему так быстро?». Как справиться с этим чувством — чувством скоротечности жизни? Теоретически так: наслаждаться каждым её мгновением.

## 5.5.06

• Когда меня выводили из приступа острого инфаркта миокарда, о возможной смерти я даже ни разу и не вспомнил, а между тем в философском смысле я о ней думаю с молодости. Меня возвратила с того света Лариса (аквализа за 20 тысяч рублей). Меня возродит из

пепла режим дня. Это и есть возвращение в молодость. После инфаркта у меня началась новая жизнь — по режиму дня. Так я жил в школьные и юношеские годы. Физическую гимнастику постепенно усложнять, а через год — с гантелями. Поживём — увидим, но я попробую со временем вообще обходиться без лекарств. Как инженер Юрий Андреевич Команец. Он и А.И.Бабушкин — вот мои «инфарктные» учителя. Вес довести до 75–80 кг. Сейчас мой вес больше 100 кг (103). Голодание начну вводить с августа. После того, как заживёт рана на сердце. Не делать из себя инвалида. Я стану эволюционистом до мозга костей. Как Герберт Спенсер. Я буду делать, что должно, т.е. жить по режиму дня, как в юности. Только в этом случае моя жизнь выйдет на новый виток самосовершенствования. Чтобы жить нормальной жизнью, необходимо одно — жить по режиму дня. That's all.

12.4.07

- Вышла моя книга «Ономасиологическое направление в грамматике» в Москве. Особой радости не испытываю: её некому читать.

10.10.07

- Есть такое племя людей, которые отличаются от других одним редким качеством — чувством юмора. Совсем недавно я увидел такую девчонку в автобусе. По глазам видно, что юмористка. С хитрой улыбочкой отвечает на вопрос соседа о какой-то остановке: «Нет, не останавливается. Едем сразу до конечной остановки». Повернувшись ко мне: «Создаём панику». Такая симпатичная и из-за чувства юмора показалась мне близкой, родной.

21.12.08

- В.Дюрант прожил 96 лет. Это была счастливая жизнь. 11 томов «Истории цивилизации». Да ещё каких! Чего стоит одна «История Греции!» Не могу разыскать его книгу «Цезарь и Иисус». О том, как христиане уничтожали греческую и римскую науку (включая эволюционизм). Они и до сих пор не успокоились.

2.2.10

- То, что мы так цепляемся за жизнь, — свидетельство эволюции, которая сохраняла именно таких существ, которые цепляются за жизнь. Эволюция сохраняла существ со всесильным инстинктом самосохранения. Усталость от жизни — это ослабление этого инстинкта и предчувствие конца.

5.2.10

- Лариса чуть не умерла в Ленинграде. Не камни в почках, как уверенно диагностировали наши иркутские братки (все как на подбор сытые, косая сажень в плечах и с короткой стрижкой) на 8-ой Советской, а тяжелейший перитонит. Если бы она не оказалась в Ленинграде, хана.

23.7.10

- Как она умеет радоваться пустякам! Купил ей носки — радость. «Угадал!». Принёс ей цветы — слёзы радости. А мои домашние бульоны для неё — высшее блаженство. Только у Нелли Николаевны бульоны вкуснее. Она заменила ей родную мать. Низкий ей поклон!

- Проснулась и говорит: «Ты у меня — гений. Я так горжусь тобой! Что ты плачешь? Думаешь, что я умру?».

4.9.10

- Лариса, по-видимому, уже наполовину умерла. Со вчерашнего дня без сознания. Спит со стонами. Скорая помощь ночью поднять давление не смогла. Молодой врач-придурок сначала даже не хотел делать уколы для повышения давления. Уломал. Сделали. Бесполезно. Лежит красивая. Стонет. Из глаз — слёзы. Да святится имя твоё, моя родненькая! Я был счастлив с тобой все эти 30 лет, которые мы с тобой прожили. Прости меня за то, что я не сумел для тебя сделать.

8.9.10

- Жизнь без неё мне мало интересна.

19.9.10

- Я вижу тебя повсюду. Выйду на балкон — вижу там тебя под зонтиком, ложусь на кровать — вижу, как ты смотришь телевизор со скорбным лицом, прихожу на кухню — вспоминаю, как ты делала салат в последний раз. Помню твои слёзы, когда я принёс тебе сирень. Нет конца этим видениям.

3.10.10

- Вот что я заметил: я спешу домой так, как и раньше, будто ты меня ждёшь.

21.10.10

- Я теперь просыпаюсь всё время с одним и тем же вопросом: *неужели опять жить?*

28.10.10

- Только вчера я понял твоё состояние летом (в особенности — в августе). Глядя на экран телевизора, ты думала: «*Всё это так ничтожно и так далеко от меня перед надвигающимся концом*». Ты научила меня смотреть на этот мир августовскими глазами.

5.11.10

- С моей смертью забудутся и мои книги. Никто и спасибо не скажет, а я так для вас старался! Мама меня научила — быть старательным. Но я не сумел расставить акценты. Стараться нужно было в первую очередь для тебя, а не для людей. *Горе одолеет, никто не*



*пригреет.* Кругом одни шуты гороховые. Для них я и старался. Но не для славы. Я хотел их просветить. Просветительство — вот моя главная движущая сила в моих издательских делах. Но я хорошо усвоил, что моё просветительство — капля в море. У меня есть оправдание: я сделал всё, что мог. Даже больше — жертвуя своим вниманием к тебе. Так что я упрекаю себя не за старательность в науке, а за чрезмерное рвение в ней, которое не позволило мне дать тебе то, что я мог тебе дать.

9.11.10

- Вчера я получил из Москвы свою статью «Нравственная картина мира Льва Толстого». Услышал твой голос: «Вот и живи со своим Толстым».

19.5.11

- Вчера тебе позвонила какая-то таинственная дама из общегития №8 (я так и не добился от неё, чтобы она представилась). Значит, не для всех ты умерла.

29.9.11

- Философии нужно возвращаться к Герберту Спенсеру. Он назвал свою философию *синтетической*, но она и не может быть иной, поскольку она создаёт общенаучную (*синтетическую*) картину мира, *синтезируя* данные всех четырёх частных наук — физики, биологии, психологии и культурологии. Подлинная философия не может быть не синтетической. Нет философии не синтетической. Несинтетическая философия – лжефилософия.

- У постмодернистов не философия, а недофилософия, лжефилософия.

- У Ж.Бодрийяра широкий культурологический охват. Но его культурология односторонняя: он сосредоточился лишь на современной культурной инволюции, а культурную эволюцию оставил в прошлом. Между тем эволюция в культуре всегда сосуществует с инволюцией. До сих пор первая в конечном счёте преобладала над второй. Ж.Бодрийяр скоропалительно предупреждает: инволюция в культуре вытеснила эволюцию. Инволюция не может вытеснить эволюцию полностью, но инволюция может возобладать над эволюцией. Смена эволюции на инволюцию происходит в «точке хаоса» (Э.Ласло). В этой «точке», как кажется, нашему поколению и довелось жить. Не очень блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые.

- Сергей Вальцев — наш Жан Бодрийяр. Только будущее покажет, поторопились ли они с похоронами культурной эволюции (с поvincialной симуляризацией и «закатом человечества») или не поторопились.

- У Ж.Бодрийяра и С.В.Вальцева был предшественник — Освальд Шпенглер. Но он предсказывал закат одной Европе, а эти размахнулись на всё человечество. В особенности — С.В.Вальцев, кото-

рый назвал свою книгу «Закат человечества». Правда, примеры брал в основном из России, Европы и США. Это ещё не всё человечество. Есть ещё порох в пороховницах. Даже если культурная инволюция и Йеллоустонский супервулкан оставят одну Африку, верю, новое человечество выйдет из неё во второй раз.

- Если не успею издать «Великолепную семёрку. Очерки по истории универсального эволюционизма», будет очень жаль, но универсальным эволюционизмом, слава богу, пронизаны все мои книги. В особенности — культурологические («Свет Прометея», «Ящик Пандоры», «Смысл жизни»). Культурологизм в них образует с эволюционизмом нерасторжимое единство. Вот почему их дисциплинарный статус следует определить как культуролого-философский или философско-культурологический. В них я изложил свою концепцию философии культуры — области, объединяющей философию с культурологией. Их методологический статус следует определить как универсально-эволюционный. Выходит так: *универсально-эволюционная концепция философии культуры*.

### 30.9.11

- Делаю выписки для «Мыслей из дневника» и спрашиваю себя: зачем я собрался издавать эту книгу? Может быть, моя жизнь послужит для кого-то уроком? Вряд ли. Моя жизнь никому не нужна. Скорее, этой книгой я свожу счёты со своей жизнью. Отчуждаю её от себя, освобождаюсь от неё. Но это ещё не всё. Как только я дошёл до нашей с тобой встречи, я стал проживать нашу с тобой жизнь заново. За двоих. Дошёл до 1983 года. У нас с тобой ещё всё впереди! Мы ещё и до Ленинграда с тобой и с Арсением в твоём пузе не добрались. Впереди ещё лето и осень. С этого времени в моих дневниках идут сплошь и рядом записи на французском, немецком, английском, а то и чешском языках. Я стал учиться на них думать.

# Борис МАРКОВСКИЙ

*/ Корбах /*



## Памяти Мандельштама

*27 января 1837 года в районе Чёрной речки  
состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом.  
27 декабря 1938 года в лагере «Вторая речка»  
умер Осип Мандельштам.*

1

Церковная хрупкая свечка  
горит и горит, не сгорая...  
Зловещая Черная речка  
и черная речка Вторая.

Монету — орел или решка —  
подбросил, со смертью играя...  
Зловещая Черная речка  
и черная речка Вторая.

Плохая, должно быть, примета —  
играть рукояткой узорной  
упавшего в снег пистолета  
на речке январской и черной.

Нечаянный выстрел, осечка,  
и эхо вороньего грая.  
Зловещая Черная речка  
и черная речка Вторая...

2

Не чуя огромной страны,  
он бредил ключом Иппокрены  
и видел кровавые сны —  
грядущие казни, измены.

Он был собеседник ничей.  
И вот отыскалось местечко —  
болотистый мутный ручей,  
Вторая, декабрьская, речка.



## Инна ИОХВИДОВИЧ

/ Января /

### Харьковская достопримечательность — Владимир Мотрич

*«Я не объективна и никогда не смогу быть объективной. Поэтому не ждите от меня фактов, которые для вас важны, — скорее я назову это атмосферой. В истории, которую я вам расскажу, есть внутренняя правда, и субъективность — часть её»*

Дора Диамант,  
последняя возлюбленная Ф.Кафки

Познакомилась я со знаменитым неофициально харьковским поэтом Володей Мотричем в то самое двенадцатилетие, когда он завязал и был мрачно-трезвым. Вернее, познакомилась сначала с Олей Ефремовой, последней его женой, а потом уже и с ним. Тогда я и не догадывалась, что этот брачный союз единомышленников, не только супругов, но и друзей стоит на пороге распада, да они и сами ещё не ведали об этом. А представлялось мне, что семья их крепка, а Оля — и Муза, и редактор, и незаменимая помощница (как и все верные подруги поэтов, она помнила все Володины стихи и всегда могла прийти ему на помощь, если вдруг он забывал строчку ли, строфу ли), ко всему прочему, по листочкам она собрала почти полный архив мужа.

У Мотрича была интересная особенность: каждое своё новое стихотворение он посвящал первому, кому прочитал, первому слушателю. Я тоже удостоилась, мне он прочёл стихотворение, текста у меня нет, но зато помню эпиграф из О.Мандельштама: «А небо будущим беременно». Правда, в вышедшем его прижизненном сборнике я обнаружила посвящение этого стиха кому-то другому.

Обычно день рождения Мотрича праздновали седьмого января, на Рождество. И всегда в этот день я думала о нелёгкой судьбе в этот день родившихся. Но нынче я узнала, что его день рождения — один-

надцатого января?! Мотрич сам определил для себя и для других своих приятелей и знакомых, что родился он на Рождество Спасителя! Он жил по своим, с о б с т в е н н ы м законам. И вот что любопытно, у Оли Ефремовой (тоже легендарной, незаурядной личности) было то, что в современной психологии называют *комплексом спасителя*! Рассказ об Олиной «необыкновенности» занял бы целый том.

В пору последних дней этой супружеской четы Мотрич работал мастером на заводе, начальство ему даже спирт доверило (в целях протирания каких-то деталей или ещё для чего-то) Он этим спиртом за всё время работы там и не соблазнился. А уж в застоле, коль таковое случалось в его квартире, щедрой рукой наливал спиртное и часто заставлял гостей пить. Не знаю, верно, нравилось ему видеть вокруг себя захмелевших, а то и вовсе пьяных людей, а себя, по своей воле, трезвым...

Нигде никогда не учившийся, Мотрич был не просто образован, а мне подчас чудилось, что блестяще образован: сборник «Вехи» знал, наверное, наизусть. Да и русскую философию от Вл.Соловьёва и до М.Мамардашвили знал очень хорошо. А уж поэзию... Ей он был предан, и часами мог читать стихи, чужие, и при этом, читая Мандельштама или Цветаеву, никогда не сбивался и не забывал...

В Перестройку он не верил. Не верил в то, что будет опубликовано всё то, что десятилетиями ходило в списках, сам- и тамиздате. Он обычно прекращал спор на эту тему, говоря: «Вот, когда Бердяева напечатают, вот тогда и поверю...» Мне не удалось услышать, поверил ли он или нет, потому как за пару лет до конца Перестройки Оля с ним развелась, и он снова вернулся к своему прежнему стилю жизни, пил, а позже и в Киев с матерью переехал, к сестре. Тогда же, в конце «харьковского» периода своей жизни, он написал стихотворение о судьбе всех «проклятых» поэтов, посвятив его Эдику Сиганевичу, наперснику времени харьковского своего заката:

Э.С.

«Мы ворuem и верим. И врём.  
И храним, и скушимся, и дарим.  
Меж воря мы ворами сльвём.  
И отраву влюблённости варим.

Путь наш прост — просто нету пути.  
Что ни шаг — тупики и заборы.  
И душа наша — детище вздора.  
Безысходность мечты во плоти.

Кто же мы? Мудрецы, простаки,  
Чужеземцы земли сокровенной?  
Или просто жуки-светляки,  
Что мерцают во мраке Вселенной?

Как часто нелепо всё в жизни складывается.

В году то ли в 87-м, то ли в 88-м, Оля послала, с согласия мужа, в журнал «Знамя» его стихи. Я вместе с нею считала в те времена этот журнал самым-самым.

Через какое-то время прибежала ко мне расстроено-испуганная Оля с конвертом, в котором машинописный листок-отзыв/рецензия,

подписанная Татьяной Бек. Рецензентка писала, что ей близка гражданская позиция поэта, но... далее шёл полный разгром Володиных стихов, как мне показалось, полное его уничтожение, приговор по-эту... Я оставила этот отзыв у себя, Оля боялась нести его домой, вдруг он на глаза ему попадётся. А мне припомнилась тогда ещё живая Таня Бек. Я видела её недолго, но запомнила навсегда, смеющуюся, со светящимися глазами. Помню, она поразила меня тогда своей какой-то необыкновенной жизненностью, витальностью, как теперь это называется.

Это было в середине семидесятых годов, когда мы с Толиком Кобенковым, хорошим поэтом (тоже, увы, покойным) сидели в шашлычной на Тверском бульваре неподалёку от Литинститута, да и от оказавшегося «злополучным» журнала «Знамя». Он-то, через окно увидев Т.Бек, и заорал: «Таня!», и выбежав, завёл её вовнутрь, так мы с нею и познакомились. Неведомо было, конечно, Татьяне Бек, что запустила она первый камешек, повалёкший за собою просто роковой «обвал», разбивший семейные узы, безвременную смерть Володи и раннюю кончину Ольги.

Оля была почти на двадцать лет младше мужа. Она его полюбила не просто как обычная женщина обычного мужчину. «Она его за муки полюбила», за то, что в её представлении он был не просто поэт, а Поэт-мученик! Но по получении этого «страшного» письма она стала смотреть на творчество мужа глазами уважаемой ею Татьяны Бек. Так день за днём происходило сокрушение некогда любимого образа. Вот и вправду, куда «кумирство» заводит! Поистине: «Не сотвори себе кумира»!

Выше я упомянула об Олиной необыкновенности. Так вот, в неё всегда были влюблены мужчины, женщины, старики и дети, домашние животные... Трудно сказать, в чём заключалось её волшебство, может быть, в каком-то необычайном обаянии?! Один из городских сумасшедших засыпал её письмами, в которых именовал её — Ф Е Е Й! Подчас она и в самом деле казалась существом, пришедшим к нам из другого, непонятного и неизвестного нам мира... Я, часто глядя на неё сама, перефразировав Сей Сёнагон, говорила себе: «Какое Чудо пришло в этот мир!» Один из близко стоявших к ней по жизни людей любил Олю. Просто любил, ничего не требуя и не выпрашивая у неё. И когда рухнула её вера в своего Поэта, тот влюблённый человек помог ей пережить и это. Он «заразил» её своей любовью и она ушла к нему, забыв о своём Поэте, от которого родила своё единственное дитя.

Владимир Мотрич тогда же исчез и для меня, исчез из моего поля зрения. Правда, всегда весной во мне пела его строка: «Тоска Великого поста для светлой радости открыта». Она звучала звонко, почти так же, как переложенная А.С.Пушкиным великопостная молитва Ефрема Сирина «Отцы пустынники и жёны непорочны...»

Осенью 95-го года Оля с мужем и дочерью уехала в США по «зелёной карте» (грин кард).

А зимой 97-го года плачущий Эдик Сиганевич рассказал о мучительной кончине Мотрича в киевской клинике, от рака горла.

Ольга пережила своего Поэта на четыре года, скончавшись в ноябре 2001 года в Чикаго.

В 2005 году не стало Татьяны Бек, по официальной версии, она скончалась от инфаркта миокарда, по неозвученной официально — покончила с собой.

В 2006 году умер поэт Анатолий Кобенков.

Матриолог, увы.

В том же 97-м году, в субботу, после поминок по Мотричу (я не пошла, говорят, что на поминках случилась драка) ко мне пришёл Витя Марков с бутылкой красного вина помянуть Володю. Сам Марков, в молодости покинув Харьков, уехал в Москву учиться во ВГИК, да в столице и остался. Теперь, в конце жизни, он вернулся в Харьков, видно, там его постигла неудача.

Мы с Марковым и моими знакомыми поминали Мотрича в заснеженном сквере на площади Поэзии, у бюста Пушкину, поставленного ещё в 1911 году благодарными харьковчанами.

Кроме меня с Марковым из собравшихся никто покойного не знал. Но все внимательно слушали пьяный Витькин рассказ о том, как когда ему было то ли 16, то ли 17 лет, и он, будучи в состоянии полного опьянения уписался, то Мотрич его ободрял и что-то сочувственное говорил... Мы распили бутылку по круту, как в молодости, из «горла». Я, отпив первой, села на скамейку, ту самую, на которой Мотрич читал мне когда-то новое стихотворение. Капли из допитой и выброшенной бутылки окривели снежную белизну...

Иногда мне кажется, что не отправь Ольга стихи в «Знамя» и не получи «отповедь» от Т.Бек, то она бы не ушла от него, и тогда бы не умерли ни он, ни она... Ах, если бы...

Но вот, когда я читаю строки Э.Лимонова о Мотриче из моего любимого «Молодого негодяя»: «В последний раз он (автор — *И.И.*) видел Мотрича пьяного, обоссанного и облёванного, и был от такого Мотрича в восторге. Даже Мотричу позавидовал, что тот сумел стать настоящим проклятым поэтом, имел мужество дойти до конца... Я желаю помнить Мотрича на сцене Дома культуры работников милиции, тонкие ножки затынуты в узенькие брючки, и злым голосом читаемое: «И сам Иисус как конокрад/В рубахе из цветного ситца...», то уже не задаю этого горького вопроса: «Если бы!»



## Наталья БЕЛЬЧЕНКО

*/ Киев /*

\* \* \*

И если ключ пришелся в самый раз,  
 Нечаянный, как редкое земное,  
 То надо снова повернуть его и —  
 Еще разок попасть не в бровь, а в глаз.  
 Ловец летать над пламенем горазд;  
 Глядит чужим, но знает все пароли  
 (Дверь распахнется в их магнитном поле),  
 Есть малый знак — и он его подаст.

\* \* \*

Мороз проталкивает вглубь,  
 Размазывает вширь.  
 Хоть я совсем не зимолюб,  
 Но кое в чем — снегирь.

С Татарки мы, нам не впервой  
 Бродяжить по холмам.  
 Не домовой, а зимовой  
 В пути положен нам.

Густое сердце много лет  
 Держало рикошет.  
 И вот теперь на грудке след.  
 Привет, снегирь, привет!

\* \* \*

Той ли болью проходишь, ступая след в след,  
 И о том ли опять говоришь?  
 Померещилось: голосу выхода нет —  
 По накатанной движется лишь.

Знает рифму, течет, словно клюквенный сок,  
 И неважного — не миновать,



А для важного — судорога между строк,  
И сейчас ты ему не под стать.

Только пусть эта лапка скребется впотьмах.  
Гольым был — и опять не одет.  
Зачехление взгляда, безумия страх —  
Это взрослого сердца привет.

А детеныш бежит, что-то в нем — на износ.  
Ну, пожалуйста, лапка, скребись...  
Не хватало, чтоб ты этот бег перерос,  
Променяя на путёвую жизнь.

\* \* \*

Ноябрь от слова «ныть» не знаю.  
Пускай ноябрь — от слова «Ной».  
Сидит неслышно тварь лесная,  
В ковчеге, бредящем землей.

Когда листва уже опала  
И только кровь еще шумит  
В предвосхищении начала, —  
Пальвущий забывает стыд,

На волю отпускает губы  
И дорожит ответным так,  
Что с ним потоп идет на убыль  
И появляется маяк.

Черченьем бредит готовальня  
До возвращения за миг,  
И ждет не качка килевая,  
А ритм касания двоих.

\* \* \*

В самый раз от Репьяхова Яра глядеть  
Ярким сторожевым снегирем.  
Ты, вторая сигнальная птица, ответь,  
Как мы силы даем и берем?

Бабий Яр навсегда стал перлов от следов —  
Переправа на рай и на ад.  
Из него улетевший чижом птицелов  
На Сырец возвратится назад.

И когда, вне ковчеге — ничейная тварь,  
Ты печален в походе своем,  
Это он прорывает собой календарь,  
Пролетая твоим февралем.



## Елена МОРДОВИНА

/ Киев /

### Знакомство с Донелайтисом

*Евсей Цейтлин «Несколько минут после. Книга встреч»  
(Алетейя, 2012)*

Недавно стало известно, что 2014 год объявлен ЮНЕСКО годом Кристионаса Донелайтиса, литовского поэта, о котором каждый образованный человек вроде бы должен был слышать, и которого, будем откровенны, мало кто из нас читал.

Интерес к Донелайтису пробудился у меня в процессе прочтения книги Евсея Цейтлина «Несколько минут после», обозначенной им самим как «книга встреч».

Начну, пожалуй, издалека. Разбег придется брать от самой Сибири, поскольку книга Евсея Цейтлина заинтересовала меня прежде всего статьями о Туве и Якутии. Когда-то я увлекалась изучением культуры тюркоязычных народов Сибири, поэтому меня несказанно порадовали его «Якутские эскизы», а также чрезвычайно живые заметки о Туве и подвижниках тувинской культуры.

Через некоторое время после моего знакомства с этой книгой Евсей написал в ответ на мое письмо: «Переиздавая свои старые эссе и очерки, я не раз задавал себе вопрос: не устарели ли они (почти все материалы написаны тридцать лет назад)?» Честно говоря, меня такая постановка вопроса немного удивила. Подобные тексты, как мне видится, по природе своей не устаревают. Тем более что сейчас, спустя тридцать лет, мало кто может так проникновенно писать о народной культуре, ее подвижниках и мастерах. В наши дни легко можно найти сколько угодно фотографий якутской лиственничной тайги или отчетов о путешествиях по Саянам, но понять, ощутить силу природы, вековую мудрость народов, живущих в гармонии с ней, можно только сквозь призму древней культуры. Только когда гудит шаманский бубен, просыпается голос тайги. Или когда поет хомус...

И вот, автор едет к берегам неугомонного Улуг-Хема, где встречается с Ак-оол Кара-Салом, тувинским мастером горлового

пения, выслушивает изустные воспоминания об Александре Адольфовиче Пальмбахе, по сути, пришельце в Туве, создателе тувинской национальной письменности, подвижнике, знакомится с Раисой Аракчаа, народной художницей, открывшей в себе способности скульптора уже в преклонных годах. Он бережно пересказывает историю ее случайной встречи с Хертгеком Тойбухаа, человеком, который стал ее учителем и раскрыл миру нового самобытного резчика по камню. Вот перед нами Идамчап Хомушку — создатель уникальных тувинских хомусов, вот писатель Степан Сарыг-оол, сочинивший замечательную повесть о мальчике-сироте, воссоздающую быт тувинцев, описывающую их обряды, многие из которых теперь уже забыты.

Я не напрасно перечисляю все эти имена — каждое из них вобрало в себя бесконечное множество миров, каждое — «сад расходящихся тропок». Тропок, совершающих иногда абсолютно неожиданные повороты.

Одна из этих тропок заводит нас в горы Армении. Поэт Норайр Багдасарян описывает другу не просто историю своей страны, а воскрешает в образах ее смысл, ее душу, в притчах пересказывает ее судьбу. Геноцид армян, землетрясение в Ленинакане — множество историй успевают поведать Норик, историй своих родственников и друзей. «В ясную погоду они смотрят в сторону Арарата — туда, где остались могилы предков, непохороненные мертвецы, где, кажется им, плачут неродившиеся дети».

Мы видим множество людей, прослеживаем бесконечное число судеб, перед нами открываются новые и новые горизонты...

По мере продвижения на запад пейзажи становятся все более узнаваемыми, и далекий когда-то литовский поэт Донелайтис вдруг оказывается по духу удивительно схожим с моим любимым фламандским живописцем Питером Брейгелем-старшим. И вовсе не потому, что он тоже описывает суровый быт крестьян европейского севера, а скорее, по той причине, что именно к ним обоим в полной мере можно отнести высказывание Томаса Манна о «натурализме, возвышающемся до символа и перерастающем в миф», обращенное, впрочем, совсем не к ним, но наиболее точно передающее сущность их творчества.

Оказывается, что все далеко не так просто, как об этом пишут в Википедии. Возьмем, к примеру, вот эти строки: «В посёлке Чистые Пруды с 1979 года действует музей Донелайтиса (филиал Калининградского областного историко-художественного музея), включающий дом пастора и построенную им кирху, в которой он захоронен». Оказывается, за этой скудной фразой, найденной в сетевой энциклопедии, стоит целый детективный сюжет, распутывая который, мы выходим на историю о великом противостоянии, вполне возвышающуюся до символа.

На самом деле, данные о захоронении Донелайтиса были весьма незначительными. «Согласно письменным источникам, — пишет Цейглин, — его как приходского пастора евангелистов-лютеран похоронили в кирке Тольминкемиса. Это немало? Но ведь кирка была

потом разрушена... Другие упорно говорили: пастора похоронили не в кирке, а во дворе — между четырьмя деревьями... Всего могил под полом кирки было двадцать три... Но какая из них Донелайтиса?»

В результате длительных размышлений и дискуссий ученые пришли к выводу о том, что, вероятнее всего, пастор прихода должен быть погребен недалеко от алтаря, другие признаки также указывали на то, что в одной из двух могил, находящихся в означенном месте, покоятся останки Донелайтиса. «Их обозначили осторожно, подчеркнув необходимость исследований, — захоронения №1 и №2. Но уже стало ясно: в одной могиле похоронен поэт, в другой — местный амтман, управляющий поместьем, Теофил Руйгис».

И тут начинается самое интересное. Дело в том, что амтман королевского поместья Руйгис был заклятым врагом пастора Донелайтиса. Амтман жестоко ущемлял интересы общины и посягал на ее земли, которые до конца своей жизни Донелайтис пытался у него отвоевать. Противостояние это было поистине эпическим, и не закончилось оно даже после их смерти. Теперь перед учеными стоял вопрос — кто из этих двоих — великий литовский поэт, а кто — его заклятый враг?

В итоге ученые, конечно, разобрались, но каков финал! Для того чтобы «воскресить» Донелайтиса, пришлось «воскресить» и Руйгиса. «Врага Донелайтиса мы теперь знаем даже в лицо. Ученик знаменитого М. М. Герасимова В. Урбанавичюс сделал по черепу и его, Руйгиса, портрет».

Чтобы обо всем этом нам рассказать, автор беседует с этнографами, историками, профессорами-патологоанатомами, которые принимали непосредственное участие в определении останков Донелайтиса. Он рассказывает об этнографе Ангеле Вишняускайте, встречается со специалистом по пластической реконструкции Витаутасом Урбанавичюсом, который восстановил по черепу, как выглядело когда-то лицо великого поэта. Автор описывает в подробностях встречи с этими людьми, поездки в дальние деревни, рассказывает долгие и обстоятельные беседы, кропотливо прослеживает череду случайностей, благодаря которым рукописи безвестного сельского пастора не погибли, а стали в один ряд с другими шедеврами мировой поэзии.

Увлекательно повествует он и о подробностях процесса восстановления портрета Донелайтиса — о том, как четыре человека, используя определенные методики, рисовали его портрет, и у всех получилось одно и то же лицо, индивидуальность черт которого была настолько очевидной, что сомнений в том, как выглядел великий поэт, больше не оставалось.

Затаив дыхание, мы наблюдаем, как передается сквозь поколения феномен культуры, какими путями, возникнув в далеком прошлом, поэтическое слово прорастает и расцветает в жизни современников и устремляется в будущее. Мы слушаем рассказ о Ромуальдасе Блошкисе, директоре школы имени Донелайтиса в Клайпеде, который, случайно узнав, что на Памире есть пик Донелайтиса, с тех пор грезил только тем, чтобы покорить эту верши-

ну — и в итоге, после многолетних тренировок, в 1974 году совершил это трудное и опасное восхождение. Далее мы узнаем о простых школьных учителях, по инициативе которых скульптор Пятрас Дялтува создал памятник Донелайтису в Клайпеде. Знакомимся с романистом Антанасом Дрилингой, воссоздавшим в своем романе жизненный путь поэта, узнаем и о переводчиках Донелайтиса — Яне Райнисе, Григоле Абашидзе, Вячеславе Иванове, Алексее Зарицком, Паулисе Калве, Алгисе Оганесяне и, конечно же, о Давиде Бродском. Встречаемся с Юстинасом Марцинкявичюсом, автором поэмы «Донелайтис». Вместе с академиком Юргинисом, входившим в состав экспедиции Академии наук Литвы, обнаруживаем рукопись Донелайтиса в развалинах одного из замков бывшей Восточной Пруссии.

Безусловно, знакомство с Донелайтисом можно начать собственно с «Времен года», можно с биографической поэмы Марцинкявичюса, но я считаю, что мне необыкновенно повезло и я познакомилась с ним очень близко, словно через несколько рукопожатий, прочитав книгу Евсея Цейтлина «Несколько минут после».



## Алексей МАКУШИНСКИЙ

*/ Мюнхен /*

### Внутри и снаружи

Вокруг собора  
взметаемые всегдашним  
ветром обрывки

и клочки чего-то, салфетки,  
газетный лист с траурной  
рамкой, подобье

погибших душ,  
обреченных на вечное  
круженье. Мы входим

так просто внутрь. Две  
женщины в белых брюках  
бесстыдно громко

говорят о своих  
обидах — или победах, —  
не глядя на круглощечную

позолоченную мадонну,  
в громадной, гулкой,  
торжественной тишине.

### Кораблик

*Phaselus ille, quem videtis, hospites...*  
Catulli Carm. IV

Когда выплывает кораблик  
откуда-то, из-за других,  
больших кораблей, и не зная  
о смерти, сквозь солнце плывет,

плывет по дуге, а не прямо,  
течением сносимый чуть-чуть,  
легко рассекая кольчугу,  
кораблик и он же — клинок,

и все это длится, и длится,  
так долго и так — навсегда,  
и чайки кричат над причалом,  
и не умолкают вовек, —

глаза прикрывая ладонью,  
мы смотрим и знаем, что миг  
закончится, знаем, что вечность  
закончится, вмиг, вот сейчас,

и знаем, и все же не верим,  
и смотрим, и смотрим опять,  
как прочь уплывает кораблик  
из нашего небытия.

## Строитель

Мой дедушка был строитель,  
и сам я, когда смотрю  
на большую стройку  
у тихой большой реки,  
я чувствую, как чужое  
счастье оживает на миг во мне.

Мне тоже нравится все это,  
эти узкие рельсы, вагончики  
для рабочих, эти бетоно-  
мешалки, эти подъемные  
краны, и главное — эти  
обнаженные перекрытия,

каркасы будущего,  
соты грядущей жизни,  
где слезы еще не пролиты,  
надежды еще не втоптаны  
в пол, мед не собран, деготь  
не съеден. Индустриальный

ландшафт души,  
ландшафт, конечно, чудовищный,  
но не печальный. Печали,  
в самом деле, нет в нем,  
он отвернут от прошлого,  
и неважно ему, что было

на этом месте. В душе  
тоже ведь все еще недоделано,  
и торчат какие-то железяки,  
и какие-то стекла уже синеют,  
и в оранжевых касках  
рабочие лезут в небо.

А река полна бликов, и ялики  
теряются в заходящем  
солнце. Я был бы  
и сам, наверное, счастлив,  
если б воспоминанья  
не преследовали меня.

\* \* \*

Через полчаса его закроют,  
этот парк, где мы сейчас бродили,  
заметный тишиной и снегом.  
Но еще мы медлим у решетки.  
Возвращенье в мир всегда ужасно.

В сумерках мерцают ледяные,  
слядяные плоскости и формы,  
границы... И следы мерцают тоже,  
наши и не наши, вдаль и дальше  
уходящие навстречу новой ночи.

Статуи в коробках позабыли  
все свои божественные роли.  
В ледяную пену Афродита  
возвратилась. Мы не любим тоже  
в этот миг друг друга. Мы не любим

никого и ничего. Вот так бы  
и стоять всю жизнь, в таком безмолвье,  
все следить за умиранием неба,  
где еще в провалах изумрудных  
тают, тлеют тонкие ресницы,

что упали с век смеженных солнца.  
Так, прости меня! вот так стоять бы,  
ни о чем не думая, не помня,  
становясь одним огромным оком,  
у пределов тьмы, за гранью света.

Свет другой светить здесь будет ночью.  
Будут звери пробегать сквозь отблеск  
звезд, сквозь отсвет города, и тени  
проходить бесшумно и бесстрашно,  
в чудном мире, недоступном сердцу.



## Окна и стены

Сдохнешь здесь, в этой  
служильне Египетской, говорят  
тебе эти окна и эти стены,  
эти стеклянные стены, эти слепые окна.

Здесь, в служильне Египетской, говорят  
тебе эти окна и стены, ты  
сдохнешь. Но ты не слушаешь, ты  
уходишь, еще не веришь,

еще веришь, что море может  
расступиться перед тобою,  
и плачешь на берегу,  
возле битых стекол, слепых, спящих.

## In memoriam Inger Christensen. 2 января 2009

*abrikotræerne findes, abrikotræerne findes*  
Inger Christensen: alfabet

Есть, как ты писала, абрикосы.

Абрикосы есть, на «а», в начале  
алфавита, сотканые солнцем.

Также есть зима, есть снег, есть этот  
день, такой невидящий и хмурый,  
низкобровый, посленовогодний,  
не проснувшийся. Он есть, тебя в нем  
нет. И есть молчанье, есть молчанье.

Абрикосы есть на самом деле.  
Сгустки солнца, каждый есть, конечно,  
средоточье собственной вселенной.

Солнце слов над северной страной,  
над страной, над снежною страницей.  
Все слова горят, следы сияют.

Солнце, ты писала, есть затем, чтоб  
мы его любили. Так, любовь есть.  
Если ж нет, должна быть. Страсть — должна быть.

Только страстью держится все то, что  
держится, слова в строке, на ветках  
абрикосы (или апельсины —  
на афинской улице, к примеру,  
где-нибудь в районе Колонаки,

где Акрополь виден вдруг, в начале  
алфавита, за углом, в проеме  
между двух домов, двух строк, над белой  
бездной города, застывшего от счастья).

Юг и Север сходятся, как жизнь и  
смерть в стихах, безмерные пространства  
открываются за каждым поворотом.

Нас же ледовитым океаном  
окружают неслова, бессловный  
холод проникает и гнездится  
в сердце. И молчанье есть, молчанье  
есть, оно огромно, день проходит,  
день молчит за окнами, не видя  
ни меня, ни крыш, ни снов, ни снега.

Как я знаю этот мир молчащий,  
этот мир недвижимый, льдины, льдины,  
этот жестяной беззвучный воздух.

Солнце слов над северной и южной  
белоснежной мраморной страницей...

Не молчи, не бойся, страх не страшен  
страсти и словам, противься смерти.

Абрикосы есть и апельсины  
тоже есть, в Афинах я их видел,  
там, где алфавит всегда — в начале,  
стустки солнца среди темных листьев.

## Просыпаясь, во сне

Первый не выстрелил, и второй  
тоже не выстрелил. Первый струсил,  
второй представил себе на миг  
на белом платье красные пятна –

и миг был упущен (тот, кто  
обычно спит в нас, может быть, в нем проснулся,  
проснувшись, увидел реку, толпу и флаги,  
спросил себя, что он здесь делает, и зачем он

здесь...). Третий, стоявший рядом  
с полицейским, все-таки бросил  
бомбу – история понеслась  
ошалевши в будущее, сначала

в ратушу. Пятна крови на белых  
листах торжественной речи. Эрцгерцог  
был в ярости, так-то  
меня здесь встречают, недогнувшим,

тем не менее, голосом прочитал  
свою речь до конца (во сне  
иногда мы знаем, что спим...), эрцгерцогиня  
предложила проведать раненых, новый

маршрут, однако, не сообщили шоферу, вот он  
и завернул не в тот переулок (как же  
им всем хотелось проснуться, проснуться тоже,  
проснуться не получалось...), начал сдавать назад.

Тут-то Гаврила Принцип, вышедший из кафе,  
и выстрелил. Нынче почти весенний,  
но все еще зимний день, проблески  
вечной жизни в прорезях облаков.

## Терцины этой зимы

Снега не было этой зимою, но молчанье, конечно, было,  
то большое молчанье зимы, которое мы находим  
в себе, не ищем, но все снова и снова находим. Тихо

и все тише падает снег (тот, которого не было), засыпая  
дороги в никуда и куда-то, никто не знает  
куда, засыпая заснувшие домики (уже меньше

и точно тише сугробов, стоящих вокрут на страже),  
засыпая и сами сугробы, что никого не смогут  
уберечь от беды и ветра, засыпая замерзшие статуи,

давно забывшие, кто они, для чего здесь  
поставлены, засыпая баржи у набережной. Нет, снега  
(еще раз) не было этой зимою, но молчание было, этой,

как и всякой другой зимою, и все тонуло  
в нем, навсегда потонуло, и домики, и сугробы,  
и кирпичные стены каких-то, давно закрытых

заводов, или, может быть, складов, задворки какой-то жизни,  
которую мы не помним, не помним, уже не можем  
вспомнить, не вспоминаем. И что мне, в самом

деле, до того, что во мне погубло? Какое дело  
мне до этих обломков, потонувших в моем молчанье,  
или в своем молчанье, или в молчанье просто?

Снега (в последний раз) не было этой зимою.  
Все же терцины зимы бегут и бегут по снегу  
(которого не было), волнами, сквозь молчанье.



## Алексей СОМОВ

/ Саранца /

### Адамович в Петрограде, 1923

*...несчастный Адамович в одних подштанниках, на коленках, хлопал по полу окровавленной тряпкой и выжимал ее в ведро, пока другие рубили и впахивали в корзину. Голову решено было бросить в прорубь, чтобы трудней было доискаться, кто убитый.*

Георгий Иванов «Дело Почтамтской улицы»

и богтымой какой париж-берлин  
какой там поздний завтрак с глебом струве  
(ты говоришь сейчас мы все устроим  
ты говоришь не доверяй дверным  
замкам в их ржавых скважинах остался  
горельй запах мартовского льда)  
я говорю тебе что на почтамтской  
теперь всегда приемная среда  
там томный отвратительный красавец  
поет о сети шелковой на бис  
легонько клавиш розовых касаясь  
и в сбитой юбке пьяная кассандра  
читает про поэтов и убийц  
там наискось плывущий потолок  
и мелкий бисер меж твоих лопаток  
и отовсюду алое текло  
и виноградной патокою пахло  
(а после сразу снова льдом горельым)  
давай о красоте поговорим  
бесстыжий отрок юркий раб галерный  
игрушечный танцор без головы  
поэта хорошо заводит режь кромсай пили  
придерживай коленом  
поэта далеко заводит раж

когда закат играет в окнах в прятки  
не ал и не багрян а тускло-рыж  
как кровь с отжатой тряпки

\* \* \*

убийца и убитый спят в обнимку  
тому двенадцать, а другому десять  
(их маленькие бесы тоже спят)  
их сны как праздничные фотоснимки  
где горизонт с собой играет в прятки  
а перспектива убегает вспять

и кажется, что это все неправда  
дрянная шутка, опечатка в тексте  
что им еще чудесно повезет  
и не поднимет камень брат на брата  
а бесы сладко спят  
как только в детстве  
сопя в противотакт и сдвинув пятки

и наглухо завален горизонт

\* \* \*

Говорит земля: ах, если бы да кабы  
никогда не росли в моем рту гробы,

не свивались бы волоса корней,  
не шептались бы голоса камней,

если б я, земля, да была пуста  
и прозрачна вся, хрусталою под стать,

сразу стало б видно земное дно,  
будто плетью исполосовано,

обживается медленно оно  
новоселами  
невесомыми

\* \* \*

Кому сказать что в городах весна  
обидчива как нищенка-царевна  
под светлыми глазами синева  
вся на понтах дешевых и на нервах

ей козыряют ангелы с небес  
ее поют ментовские сирены  
и день как бы немного не в себе  
с лица спадает и сереет

пиит грызет захватанный стакан  
коты ругаясь подновляют шрамы  
и белый флаг трепещет на штыках  
ветвей  
сюда проросших из кошмара

кому сказать что нет светлее тьмы  
когда до пят облечена в сиянье  
из долгих рукавов плеснет костями  
обиженная всеми несмеяна

\* \* \*

Редкая нерпа заплывет на середину Днепра,  
впрочем, на то он и Днепр, на то она и нерпа.  
Иов, задрав бороду к небу, кричит: «Эй, ты не прав»,  
с неба отвечают: «Пойми, это нервы».

«Хочешь поговорить об этом? Поговорим.  
Хочешь – еще чуть-чуть похитрим, позлимся».   
Наверху молчат – молчанием поистине гробовым –  
потом сквозь зубы: «Прости, я не вижу смысла».

Пробовали меня на разрыв, кручение, сжатие, сгиб,  
теперь все поршни стерты, приводные ремни сорваны.  
В спрессованной механической мгле не выдать ни зги,  
зрячи, свободны и праведны только совы.

И если уж начистоту – что касается сов,  
им до фонаря, чем казаться, а мне подавно.  
Но кадавры в период деконструкции решают все.  
В каждом учреждении есть отдел кадавров».

## Символ вербы

Мне рассказывал прадед, суровый солдат  
что ученые химики из Аненэрбе  
обнаружили в глыбе весеннего льда  
руны тополя, выдры и сломанной вербы

Здесь на Марсе любой малолетний фашист  
знает: этих древесных пород сочетание  
суть всему карачун и окопные вши  
коих дикие предки еще почитали

Ну а выдра, жующая собственный мех  
означает вторжение скопцов и метафор  
как услышишь их гром, повредишься в уме  
сам собою в цыганский запросишься табор

Сорок тысяч цепных лорелей и гертруд  
из волос эти дивные руны связали  
и повесили мальчикам светлым на грудь  
и омыли своими слепыми слезами

Но в горячем краю заколдованных сфер  
где светло лишь одним механическим совам  
умирал ни за пфенниг железный рейхсвер  
в голубые гроба сапогами впрессован

А в берлинских руинах бушует цынга  
и кривая шарманка насилует нервы  
и медведи ведут говорящих цыган  
в глубину подземелий сырых Аненэрбе

\* \* \*

Дима Д. был из актерской семьи  
и поэтому стал актером, потом вахтером.  
Часто приходил со словами: «Слышь, займи  
сотню-две, извини, что я втертый, отдам во вторник».

(Никому в голову не приходило Диме отказывать.  
Раз в полгода  
приходилось Диму откачивать.)

Одно время Дима играл в нашей группе на басухе –  
смешно, он и разговаривал басом.  
Худой, под два метра ростом, лохматый, а по сути –  
интеллигентный мальчик с тихим таким прибабахом.

Музыкант из него тоже вышел так себе.  
Нанялся распорядителем в ритуальное агентство –  
обустроить смерть по установленной таксе,  
объяснять родным,  
во что мертвецу прилично одеться.

От таких дел Дима и запил – сперва легонечко,  
а потом придешь, смотришь, лежит и лежит.  
Кто-то не забывал приносить ему аптечные флакончики,  
и может быть, иногда чуть-чуть лапши.

Не знаю, от чего он умер,  
от дрянного бухла или от голода.  
Я пришел, когда его выносили из парадного.  
МЧСники работали в респираторах,  
так что, видимо, пролежал Дима достаточно долго.



## Михаил ГОРЕВИЧ

*/ Москва /*

### Единый мир Владимира Алейникова

*Владимир Алейников, «Избранное» в двух томах, Киев, Бизнес-полиграф, 2012.*

#### 1

Говоря о единстве поэтического мира нашего современника, великого поэта Владимира Алейникова, я не преувеличиваю и не преуменьшаю, но только фиксирую истинное положение дел. Но в чем же состоит это единство? Какое «метафорическое рассуждение» лучше всего привести, чтобы прояснить существо дела? Пожалуй, лучшее слово, которое мы можем здесь использовать, это слово — «нить». Поэзия Алейникова — переплетение нитей, основы и утка, она «ткань культурного пространства», созданного поэтом. Нити пространства — основа, дороги земные, но не только мест жизни: Кривого Рога, Москвы, Коктебеля, а и культуры. Дороги литературы и музыки, живописи, архитектуры... А уток — реки времени, медленные и быстрые, времена метаморфоз Космоса и пыльца, личной жизни и жизни страны.

Единый мир Владимира Алейникова — эта ткань, она изогнута «силовыми воздействиями» больших или меньших «звезд-стихов», рожденных на перекрестках культурных времен и пространств. И вот что удивительно. Если у нас на глазах разделились пространства Киева и Москвы, и пограничники будят людей среди ночи в вагонах, то в мире поэта эта связь городов неразрушима.

#### 2

Но разделение в земных краях произошло. Его можно датировать 1989-м годом, годом гнева Восточной Европы, падения западноберлинской стены и «деятельности» слабосильных российских правителей, так и не сумевших вывести страну из туннеля одной нити — нефтяного трубопровода. Именно 1989-й разделяет стихотво-



рения двух томов «Избранного». И поэтому я беру для начала разговора последнее из стихотворений первого тома и первое второго. Несколько начальных строф:

«Столь давно это было, увы,  
Что подумаешь: в самом ли деле  
Сквозь горячий настой синевы  
Мы в морское пространство глядели?»

Что за вздох отрывал от земли,  
Что за сила к земле пригвождала?  
Люди пели и розы цвели —  
Это в том, что живём, убеждало.

Что за звёзды гнездились в груди,  
Что за птицы над нами витали!  
Костный мозг промывали дожди,  
Как об этом даосы мечтали».

...«горючий настой синевы»... необыкновенная точность присуща стихам Алейникова, она дается не только трудом, еще «генами культуры» и богатством подсознания — «колыбели интуиции». «Горючий» — это и способный гореть, и вызванный горем. Свобода, морское и небесное пространство — через него взгляд стремится к мечте, часто несбыточной, как у Пушкина: «Спой мне песню, как синица/Тихо за морем жила»... Времена арестантов, без права видеть мир. Нити судеб поэтов, в 19-м веке, в 20-м... и «топографические линии, нити» прошедшие через Михайловское, через Крым, через степи скифов.

И все же поэта нельзя ограничить — он умеет летать... К своей земле его пригвождает не сила тюремщиков, а любовь к милым песням — их слышишь, и они убеждают в реальности не только зла, но и добра в людях, и луговые травы, и цветы — они не символы, а живительное, магическое ложе для Антея. Да и урок Антея следует учитывать — он побежден, когда не может коснуться земли. Это стихи провидческие — о будущем, которое вовсе отречется от реалий высшего, мечтая вместо звезд наклепить на небо акции и ассигнации.

Последние строфы стихотворения такие:

«Все подобия сути — тщета  
Перед нею, настолько простою,  
Что усталых небес высота  
Обернётся мирской красотой.

Руки, братья, скорее сомкнём  
В этой жизни, где, помнится, с вами  
Не впервые играли с огнём,  
Как никто, дорожили словами.

Кто же выразит нынче из нас  
Наши мысли о вере и чести?  
Невозвратный не вымолишь час,  
Где, по счастью, мужали мы вместе

Так иди же в легенду, пора,  
Где когда-то мы выжили, зная  
В ожиданье любви и добра,  
Что судьба не случайна такая.

*5 августа 1988 г.*

Это превосходные строки, о единстве земли и небес, о братстве поэтов СМОГа — раннего восхода и славы Владимира Алейникова. И «выживание» не обернулось у него потерей веры в свое призвание. Наиболее верны слова о «не случайности судьбы», для поэзии Алейникова они не расхожий тезис, а самая суть его мышления, «свойство пророков и ясновидящих».

Вернусь к стихам:

«...Что усталых небес высота  
Обернётся мирской красотой».

Небеса устали от зла людей, но художник-творец может запрокинуть голову, раскинуть руки — и благодатный дождь оживит землю. В Библии есть строки: «Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих. Польется как дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». (Второзаконие, 32, 1–2) Об этом стихи Алейникова. Нет здесь слов о сумраке леса, где оказываешься в середине жизни — есть пророчество и клич: «Вперед!» Есть солнечный луч — он дает направление пути.

### 3

Не твоя ли пора, состраданье,  
Пробудилась? — я вправе спросить:  
Укрепишь ли души ожиданье?  
Новой жизни успеешь вкусить.

У Того, кто судьбой моей движет,  
Есть в запасе и Слово, и взгляд, —  
Мне-то ведомо, кто это нижет  
Миг за мигом, все годы подряд.

Нарастанье, струенье, сторанье,  
Неизбежности ржавый налёт —  
Уж не то ли пришло состоянье,  
Что хранит, но за горло берёт?

У меня пониманья хватает,  
Чтобы слух не рубить на корню, —  
Кто по осени звёзды считает?  
Голос крови ни в чём не виню.

Вросши в почву и вырвавшись к небу  
Средь разрухи, спалившей нутро,  
Никому я не пел на потребу —  
Хлеб чужбинный ли, бес ли в ребро.

Никогда не теряя дыхания,  
 Даже в гибельной яви былой, —  
 Поруганье? — о, нет! — польханье  
 Веры, выжившей там, под золой.

Как бы выразить суть этой воли,  
 Что с надеждой была заодно,  
 Что сомнений отведала соли  
 Там, где память стучалась в окно?

Потому-то любви и подвластно  
 Всё, что в мире дано мне сберечь, —  
 И, как встарь, отмечая соблазны,  
 Обретает величие речь.

*8–9 сентября 1990*

Я привожу целиком стихотворение, открывающее второй том «Избранного». Нет нужды в комментариях. Слова веры — но не в доброго царя, а в Бога и собственные силы, в себя — творца. Единство мира создается путеводной звездой, свечой в ночи, рождением из небытия слов, а не стенаниями об утерянном. И ни слова лжи, ни одного славословия сильным мира сего, ни единой фальшивой строки в тысячах стихов.

Ни до перелома, ни после Алейникову не воздали должного. А ему было не до фуршетов — он творил свое единое пространство, златотканую ткань, и на ней не было разреза ржавым ножом истории по живому.

#### 4

«Избранное» в двух томах издано в Киеве. У Владимира Алейникова есть стихотворение 1974 г., оно называется «Средь январской киевской тьмы». Вот из начала стихотворения:

«Сохрани мне зрение, небо!  
 Не томи зрачок слепотой! —  
 Ах, встречаться б нам не в огне бы  
 В повседневности непростой.

Сохрани нас, Господи, грустных,  
 Средь январской киевской тьмы,  
 Чтоб в движениях безыскусных  
 Не могли раствориться мы.

Говори нам, Господи: «Братья!  
 Вам впервой ли здесь зимовать?» —  
 Пред небесною всею ратью  
 Не пристало озоровать».

Когда я читал это стихотворение, то передо мной, совершенно внезапно, появились образы «Белой Гвардии» М.А. Булгакова, да и, скорее, сам писатель... январь 1919 г., январь 1973-го... Нить времен Булгакова пошла рядом с нитью судьбы Алейникова, и обе пересек-

лись с пространством Киева. Удивительная близость — январь, рядом с Рождеством, вполне понятна молитва, это же молитва? Мне попеременно, то Бугаков, то Алейников представлялись произносящими эти строки. Они стояли рядом, и поэт просил за романиста: «Сохрани мне зрение, небо!», мы знаем, что в дальнейшем Бугаков был близок к слепоте. И за себя молился в том январе поэт — не потерять зрения, которое умеет отличить свет от тьмы, подделку от истинного, уродливое от прекрасного. Не впервой зимовать в Киеве истинным творцам.

Но Алейников не был бы Алейниковым, если бы мудрая уверенность в победе света не явилась в этом стихотворении. И вновь — свобода, выбор всегда остается за нами:

«В города, застывшие мнимо  
Пред Рождественской красотой! —  
Что любимо нами в даримом,  
Обозначенном простотой?

Ты, о Господи, разберёшься —  
Нам же, сгустками по глазам,  
Как ни рвёшься и как ни бьёшься,  
Поначалу узнаешь сам,

Каково оно, расстояние,  
И каков он, сумерек снег, —  
Вот и выбор, вроде бы ранью  
Просветляется человек»...

*Январь 1974*

Стихотворение не приведено полностью, оно еще дится, звучит, говорит о важном, но нам пора...

## 5

Мандельштам в статье «Слово и культура» дает ряд образов и мыслей, которые невозможно здесь не привести... У него находим: «Поэзия — плут, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются сверху. Но бывают такие эпохи, когда человечество, не довольствуясь сегодняшним днем, тоскуя, как пахарь, жаждет целины времен».

Слова замечательные, я уже приводил их в одной своей статье. Но образ созидаемого художником-творцом Космоса, единого, наполненного светом, мне кажется не менее подходящим для творческого начала Владимира Алейникова. И время, и пространство в этом «рукотворном Космосе» сотворены поэтом, и их нельзя считать чем-то оторванным от реальных, меньшим, чем они. У А.Ф. Лосева, в его рассуждениях об античной эстетике, так говорится относительно взглядов Платона: «...и нельзя считать менее важными предметы, произведенные искусством, а величайшими и прекраснейшими вещи, произведенные природой».

У Алейникова слово «Космос» не такой уж частый гость. Но вот же:

«Есть грань, которую иной  
Перешагнуть ещё не в силах —  
В разливах музыки земной  
Весь Космос дышит в наших жилах.

Не примирайся никогда  
Ни с тем, что землю покидает,  
Ни с тем, что время, как вода,  
В песке забвенья пропадает.

Взойди, коль надо, на костёр,  
Чтоб страсть сквозь пламя расплескалась,  
Дай мысли выйти на простор,  
Чтоб в тесноте не задыхалась.

В ладони влажные возьми  
Весь мир — ему не до прощанья! —  
В нём нет безмолвия, пойми,  
Есть только вечное звучанье.

Звучит космическая высь —  
Нутром, из самой сердцевины, —  
И там, где встречи заждались,  
Земные вторят ей глубины».

*31 октября 1996*

«Есть только вечное звучанье»... Пифагор, «струны мироздания», «музыка сфер»... Вечный, прекрасный, живой Космос, извергающий в черную пустоту заждавшегося пространства «семя света», живой, потому что только о живом можно сказать: «Нутром, из самой сердцевины». И, одновременно, сказать о себе, о «внутреннем Космосе», о человеческом сердце — «центре Галактики, по имени Человек». Именно так, с заглавной, как велено нам творцами Возрождения.

Встреча земного и космического и происходит в поэзии. Если речь идет о поэзии высокой, настоящей. Но чаще у Алейникова используется в стихах слово «звезда».

## 6

О звездах насущных... Вчера вечером я провел небольшое «астрономическое» исследование. Нет, я не покупал домашнего телескопа, не пытался обнаружить сирого, забытого учеными астероида или заблудшей в глубинах пространства кометы... я всего лишь подсчитал, сколько раз в «Избранном» Владимира Алейникова встретится слово «звезда»? И что же? Может, и есть небольшая ошибка в вычислениях, пусть посмеются надо мной Тихо Браге и Кеплер в иных мирах, но у меня получилось 150 раз...

«...Обиды есть, но злобы нет,  
Из бед бывлых протянут след  
Неисправимого доверья  
Сюда и далее, туда,  
Где плещет понизу вода  
И так живучи суеверья.

И здесь, и дальше, и везде,  
Судьбой обзаванный звезде,  
Неутасимой, сокровенной,  
Свой мир я создал в жизни сей —  
Дождаться б с верою своей  
Мне пониманья во вселенной».

Эти слова написаны на самом разломе времен, в декабре 1991 года. И они ясны, определены и прекрасны. Их нет нужды пояснять, и если кому-то неясно сказанное, то пусть подумает о том, кто он и как живет? «Свой мир я создал в жизни сей», — вот что говорит наш поэт, и это гордость настоящего Мастера. Более того — демиурга, творца. Мало кто имеет право на такие слова, но Алейников — безусловно. Но далее, вслушайтесь — «Дождаться б с верою своей/Мне пониманья во вселенной»... для тех, кто не слишком знаком с миром В.Алейникова — какое-то «чересчур громкое» заявление, «поэтические красоты»... но я бы не спешил, у Алейникова нет «красот», не может быть в принципе.

«Понимание во Вселенной» — это не мечты о стадионах, внимающих поэту, хотя, если по-честному, кому же не хочется славы и признания? Но Владимир Алейников о другом. «Понимание» для него — «десятельная связь» со всем сущим, это не «показная вера нынешних Тартюффов», а истинное религиозное чувство связи всего со всем. Человек, который понят звездами, может взлететь к ним. Так бы я сказал кратко. И добавил бы: «Dictum sapienti sat est».

## 7

Я не цитирую в этих заметках писателя множества известных стихотворений Владимира Алейникова. В какой-то момент написания подобного текста тебе самому становится ясно, что ты продолжаешь развивать основную свою метафору, а здесь она «единая ткань поэтического мира». Раз так, то все творчество поэта, от первой до последней строки, должно быть развитием и совершенствованием изначальной «музыки личности», развертыванием «творческого ДНК» в поразительный мир поэта.

Поэтому, возьму самое первое и завершающее стихотворения, их выбор всегда многое подсказывает нам.

Итак, первое стихотворение в издании — «Когда в провинции болеют тополя»... великолепное произведение, но именно о нем многое написано. Листайте со мной вместе, читатель, давайте откроем второе стихотворение, на стр. 8, произведение того же, далекого, 1964 года. И прочитаем эти две строфы. Не забудем — автору 18 лет, и какое владение языком, техникой стиха, мыслью!

«Поведи же хотя бы тайком  
В переулки, встающие дыбом,  
Где гречанки проносят с тоской  
Свои груди — солёные рыбы,  
Где заветно скрипят флюгера,  
Семьям тесно у телевизоров,  
Под гитару поют фраера  
Горячо и непризнанно».

Я увижу — текут по ручьям  
 Непонятные токи пространства,  
 И приходит пора поручать  
 Первым встречным и тропы, и трассы,  
 Как в египетских душах камней  
 Просыпается чувство корней,  
 Как осколок разбитого зеркала  
 Бредит небом и дышит морем,  
 И тогда я пойму — крамольно  
 Всё, что молодо, всё, что зелено.

Разве мы не видим, читатель, соединения земного и небесного, чувственного и пророческого? Интересно, могут ли не поразить кого-либо строки «Где гречанки проносят с тоской/Свои груди — солёные рыбы»? Лорка улыбнулся в апельсиновых садах Севильи и дружески поднял большой палец. Но Лорка написал бы «где цыганки»... Алейников пишет «гречанки», и этим делает зримой «нить Элады», протягивая ее до наших времен. И более чем чувственно — эротично. В том высоком, светлом и темном одновременно значении, которое разделяет Афродиту и грозного бога Эроса. Забудем на минуту, что у Апулея богиня Венера ведет себя ужасающе, таскает за волосы и сквернословит в адрес несчастной Психеи, будто старая рыночная торговка. Увидим ее юной, выходящей на берег и вспомним о соленой воде моря... И о приметах времени — те, первые телевизоры, гитары (вот, все же Лорка!), и вполне понятное «фраера», слово, явившееся из немецкого через идиш, означая «свободный». Слово стало вполне «отечественным», отделило тех, кто вне блатной среды, и могло восприниматься как «наивный», что по контексту достаточно близко. Хорошие, наивные и не в тюрьме.

Такова многоплановость стихотворений Владимира Алейникова, его поэтического слова. Поэзия так и должна — не морали читать, но убедить и увлечь прекрасным, то есть умным и заставляющим думать, хотя и принимаешь превосходные стихи непосредственно... они музыка, но нет обязательного требования знать ноты, они — звездное небо, но ты можешь любоваться великолепием ночи и не зная имен созвездий...

Мы можем, читатель, задуматься и о том, кем стали эти «ребята с гитарами» — погибли они на переломе времени? Перебрались «верхом на том же стуле» за «вновь образовавшийся бугор» — из России в Украину, или обратно? А может, и рассеялись по миру, унося в себе стихи Алейникова, как любовь, совершенство? Или им больше золотой телец потакал — преуспели в торговле мылом и зубными щетками, тоже дело... И собственная их «ткань судьбы» вдруг, да и пригодилась для «реального занятия» — шитья мошны, а из «фраеров» они могли сделаться ворами, да, часто по вине государственного беззакония, но... Дай Бог этого не произошло, порадуемся за всякого такого человека.

...Город в стихотворении уходит вверх — «переулки, встающие дыбом», мы идём в горы, на вершину, откуда откроется вид будущего:

«... Я увижу — текут по ручьям  
 Непонятные токи пространства,  
 И приходит пора поручать  
 Первым встречным и тропы, и трассы,  
 Как в египетских душах камней  
 Просыпается чувство корней,  
 Как осколок разбитого зеркала  
 Бредит небом и дышит морем,  
 И тогда я пойму — крамольно  
 Всё, что молодо, всё, что зелено»...

Каждый раз, когда я говорю о стихах Алейникова, мне приходит на ум слово «магия». Каким образом это происходит? Я размышляю о реках времени, нитях пространства, но все сказано поэтом наперед: «Я увижу — текут по ручьям/Непонятные токи пространства»... Ткань из пересекающихся нитей. Таким я увидел мир Владимира Алейникова, читая его книги, но не припоминая до поры до времени этих строк, и таким он увидел свое будущее, еще только намечая план «сотворения пространства-времени стихами». И отбросил — «это крамольно», люблю к себе снисходительность со стороны себя самого, не для тех, кто видит будущее, всякие пустяки, вроде «молодо-зелено». Им Ангелы-проводники, для них Пушкина «Пророк» — назначение и судьба.

## 8

Вы читаете «Избранное», разве не стыдно обойтись без книги лучшего русского современного поэта на полке? Можете считать иначе, иметь свои пристрастия, но дела обстоят именно так. И, можете поверить, быть лучшим — не «орденами бряцать», это — крест...

Итак, 2-й том завершает стихотворение «И судьбе твоей нет предела», которое, в свою очередь, заканчивается так:

«И по воле Творца мы живы,  
 И поддержаны, певчие, творчеством,  
 И ведомы — звучащим словом,  
 И хранимы небесным светом,  
 И едины — вселенским родством».

Стихотворение 2011 года, между 1964-м и 11-м годом нынешнего тысячелетия почти 50 лет.

## 9

Иногда я спрашиваю себя: «Можно ли и нужно ли говорить о стихотворениях, когда они, у гениального поэта, — живые, сложнейшие внутри себя существа? Не излишняя ли наивность нечто пояснить читателю, если он склонен к «поэтической бижутерии», считает свой вкус последней инстанцией, отучен думать над стихами?» И снова я должен повторить слова Мандельштама, на этот раз из статьи «Выпад». Не я выбираю цитаты — они появляются с необходи-



мостью исполнения законов физики: «... поэтическая неграмотность уже просто чудовищна, и тем хуже, что ее смешивают с обычной, и всякий, умеющий читать, считается поэтически грамотным»... И далее, хлестко и зло — «Читателя нужно поставить на место, а вместе с ним и вскормленного им критика». Как сегодня написано.

И все-таки пытаюсь показать читающим значение Владимира Алейникова, дать знать, какой силы поэт живет среди нас, мы же так часто слепы... Но не стал бы писать эти строки, не верь я во многих просвещенных людей, они, вместе с давними поклонниками, обратятся к стихотворениям и прозе нашего поэта. Я знаю, как чувствовал Владимира Дмитриевича родной город, Кривой Рог, видел собравшихся в Москве на творческий вечер, и выставка картин долго длилась в Петербурге. Алейников человек Ренессанса, он и великолепный прозаик, и блистательный художник... Картины Владимира Алейникова в единстве с его поэзией — в них свет рождает цвет и формы фигур, лазерной сваркой соединяет осколки мира в целостность...

Не хочется мне прощаться, даже на время, с этой книгой моего друга, Владимира Алейникова. Я все смотрю на обложки каждого тома, здесь размещены высказывания о поэте и его творчестве. Завершу цитатами из этих отзывов:

Андрей Битов: «Владимир Алейников — великий русский поэт... Слава мира запечатлена в его стихах с такой силой, что нам легче всего отказать ему в той славе, которую раздаем сами, — в мирской».

Евгений Рейн: «Владимир Алейников — классик новейшей русской поэзии. Я считаю его великим человеком, великим другом и великим поэтом... Алейников выиграл свое сражение и четко держит свою дистанцию в русской поэзии».

Саша Соколов: «... Он просто титан, я всегда тихо восхищаюсь, глядя на его вдохновенность, на то, как он работает, невзирая на обстоятельства и окружение. Считаю, что Владимир Алейников самый из нашей плеяды подлинный, глубокий и молодой. Я всегда считал его лучшим русским поэтом».

Александр Величанский: «Владимир Алейников был центральной фигурой среди смогистов потому, что именно Алейникову более всех удалось воплотить изначальный пафос новой эстетики, больше других в ней самоопределился. Поэзия Алейникова потому так стремится к бескрайнему звучанию, потому не ставит себе предела, что, в существе своем, заключает тайну единовременности всего сущего»...



## Татьяна ПАРТИНА

*/ Огесса /*

### От частного к общему

Где я не была и не буду (и к черту всех)  
 Рассыплется пепел сожженного по частям —  
 Каких-то дворцов и сараев, но жалок грех  
 Засохшей былинки, воды не допившей грамм.  
 Всего лишь для жизни был нужен один глоток...  
 Сравнится ли с этим любая другая блажь?  
 Но каждому ливню назначен небесный срок  
 И каждой травинке ты силу свою не дашь.  
 Как старый шаман, что умеет спасать хлеба,  
 Я тоже могу набубнить хоть какую хрень.  
 И снятся мне ночью волшебные те слова,  
 Но утром напомнить их мне забывает день.

\* \* \*

Живущие. Так коротко и зло  
 Мы названы. Мы просто чья-то смена.  
 Как девушка, держащая весло,  
 В историю уходит постепенно,  
 Так наша жизнь теряет всякий смысл.  
 Но нет конца сомнениям и снова  
 Из бедных букв мы собираем Слово,  
 Из плоских слов мы составляем Мысль.  
 И вновь теряем тоненькую нить  
 Меж болью тьмы и наслаждением света...  
 И нас, таких живых, корить за это —  
 Не Вечности, в которой нам не жить.

\* \* \*

Здесь холодно, мой друг, не приезжай —  
 Темнеет в пять, светает в семь иль в восемь;  
 Здесь с октября по март — зима и осень;  
 Из всех желаний — разве только чай.

Здесь путеводной нет у ходока.  
 Вот он лежит под прессом снежной глыбы.  
 В обледеневшем небе тают рыбы,  
 Похожие слегка на облака.  
 И сушатся пеленки на ветру,  
 А это значит — женщины рожают.  
 Они ни сил, ни денег не считают,  
 Поскольку знают, что они умрут.  
 И плачут без обиды и вины...  
 Но жизнь идет, и все не так уж плохо.  
 Здесь даже свет порой бывает в окнах  
 Поскольку, к счастью, не было войны.

### Ключи от...

— Дедушка, что ты? Ну, потерял ключи.  
 Тоже мне, горе, главное, — жив пока.  
 Впрочем, как хочешь: жалуйся, не молчи.  
 Вот тебе палка или моя рука.  
 — Вышел сегодня я прогуляться в парк.  
 Думал о многом: грешников развелось.  
 Что-то, похоже, делаем мы не так,  
 Коль не пугает их и Господня злость.  
 Ночью увидел: за облаками свет,  
 Странные тени, пьяный тупой галдеж.  
 глянул на пояс, — ну а ключей-то — нет!  
 Раньше все знали: связку Петра — не трожь!  
 Дочка, спасибо. Знаешь, у этих врат  
 Столько разбилось хрупких мирских личин...  
 Только подумай: страшен ли миру ад,  
 Если от рая можно украсть ключи?..

### О точности попаданий в цель

Мой жестокий романс — это было любовное скерцо  
 О желудке, пронзённом случайно и наискосок...  
 Мой неловкий Амур, что ж ты вечно стреляешь не в сердце?  
 А у нынешней жертвы, похоже, прострелен висок.

И поэтому наш, наш роман недоступно высок.

Он со мной говорит обо всём, что на ум не приходит:  
 О науке и жизни, о Боге, пространстве, всерьёз  
 Об истории времени, бритве Оккама и вроде  
 Мы во многих совпали теориях физики звёзд.

Только вряд ли он помнит, он цвет моих помнит волос.

Мы нашли аксионы в холодном пространстве Вселенной,  
 Compliments себе из моих он выхватывал уст,  
 Мы читали стихи, но касались и прозы нетленной,  
 Нас связал Жан-Поль Сартр, и нам бешено нравился Пруст.

Только вряд ли он думал — какого размера мой бюст?

Он всегда говорил, что нет женщины в мире умнее,  
 Что ему наша дружба действительно очень важна...  
 Только где он сейчас? Может, снова встречается с нею?  
 Если мы так близки, то скажите, какого рожна

Почему он не знает, как с ним я могу быть нежна?

И одна вечером, набирая петельки на спицы,  
 Забывая про Канта, я думаю только о том,  
 Почему бы ему на бесценной такой не жениться,  
 И как баба простая, лью горькие слёзы ручьём.

Только завтра при встрече мы снова о Канте начнём.

## Затянувшееся мгновенье

— О прекрасная, как вас зовут? В этом дивном пространстве  
 Вы, как флюгер, качнулись от взгляда, не бойтесь меня!  
 Трость, цилиндр, усы, говорят о моем постоянстве,  
 Ну а ваша прозрачность — о бренности каждого дня.  
 Я не верю в случайность. Свистящие стрелы амура  
 Не пронзили б навывлет мою безупречную грудь,  
 Если б ваша улыбка, а если точнее — фигура  
 Затмевали бы вашу совсем небанальную суть.  
 Но прелюдия к счастью, устало уже запинаясь,  
 Слишком долго звучит, убивая мой дерзкий кураж.  
 Неужели нам вечно вот так и стоять, улыбаясь,  
 В наших позах учтивых, не в силах покинуть витраж?

\* \* \*

Сегодня День Сурка. «Весна наступит», —  
 Сказал честнейший из земных существ.  
 А ты идешь, как рыжая, в тулупе,  
 Когда весне объявлен благовест.  
 Но где ж она? Ни слова, ни полстрочки  
 Не прочитать в бесцветных небесах...  
 А, вот уж на кустах набухли почки,  
 Но злой мороз за них внушает страх.  
 Еще не раз февраль из плюса вычтет  
 Свои очки, морозных полон сил.  
 Но рыжий кот по-мартовски почти что  
 Уже за холку кошку тербил.  
 Она ему по наглай рыжей мине  
 Конечно, тут же настучала всласть...  
 Но тает снег (как деньги в магазине)  
 При ясном свете, превращаясь в грязь.  
 Не жаль его, не жаль сосулек стаю  
 Исплакавшихся, сдавшихся в борьбе...  
 И я сама, наверное, растаю,  
 От первых теплых мыслей о тебе.

## Маковое поле

А на маковом поле — невесты, модели, фотографы,  
Переменчивость поз, грациозность, порханье ресниц,  
Пищут светопись красным пейзажных реалий биографы...  
А какой-то из маков растоптанных кажется, принц.

А на маковом поле, вплетая желанные образы  
Вместе с маком в венки, бродят бойкие стайки девиц,  
За собой оставляя примятые красные полосы,  
А какой-то из маков растоптанных, кажется, принц.

А на маковом поле целуется девочка с мальчиком,  
И не видит она сквозь туман окружающих лиц,  
Что какая-то дама грозит ей растеряно пальчиком,  
А какой-то из маков растоптанных кажется, принц.

## Монолог лесного гнома

Я не знаю: стар я иль молод,  
Кем рожден и зачем вырос,  
Где моя находилась школа,  
Почему я люблю сырость.  
И зачем те, другие, рубят  
Вольный лес, если он — в норме,  
Почему цветы больше любят,  
Ведь надежней — дружить с корнем.  
Почему говорят — он дикий?  
Я совсем не такой — нежный.  
Впрочем, это всё только лики,  
Настоящий-то я — между.  
Почему над сокрытым гротом,  
Где вовек не найти им мя,  
Всё пытаюсь вспомнить хоть что-то —  
Ну, хотя бы своё имя.

\* \* \*

Скоро теплую осень прогонят дожди как обычно.  
Даже солнце не может быть ласковым круглогодично.  
Почему понимать в этом мире и верить непросто —  
На вопрос не ответить, и, в общем-то, нету вопроса.  
Вот картинка висит, из которой утеряны пазлы.  
Так и в жизни деталей порою, увы, не хватает.  
Если наших намерений истинный повод не назван,  
Что-то важное этот дырявый сюжет упускает.  
Изаучаю тепло. Только нежность и лето не в моде  
И за окнами листья о чем-то шуршат цвета чая...  
Нет банальности большей — но все в этом мире проходит.  
Ничего не хочу, лишь скучаю, скучаю...



## Алексей БОСЕНКО

*/ Кувб /*

### «Мы из джаза?»

*С. Крапивкин, «Вселенная на ладнях, или Внешний и внутренний мир (СПб.: Алетейя, 2012)*

*Козыряй!*  
Козьма Прутков

Всеобщее проституирование духа давно привело к полной атрофии воображения и соответственно к отсутствию даже воображаемой свободы. Упразднение необходимости порождает простой произвол и распушенность.

Массовый потребитель требует потакать своему среднему вкусу, который для него единственный и неповторимый.

Все выглядит обыденным и глупым, но пользуется огромным спросом, как пресловутые выпуски «что-то там за 90 минут»: «Вся античная философия за 90 минут»; «Вся немецкая философия за час» и т.д.

Интересно другое. Во-первых, подобного рода «литература» выполняет своего рода «защиту от дурака, антидот» и представляет своего рода «фильтр». Балующийся философией, как легким наркотиком, просто дальше не пройдет, увязнет, а тот, кто посвятил философии всю жизнь, не сошел при этом с ума (а философия изменила ему формулу крови) — тот такие тексты читать не станет. Во-вторых, для тех, кто занимается вопросами исследования массового сознания, эта книга — просто находка: отличная модель того, что происходит в псевдоинтеллектуальной среде.

По прочтении книги начинаешь понимать, что это то ли пародия, то ли розыгрыш. Может, это мистификация и нет никакого С. Крапивкина, просто группа авторов, типа Бурбаки, захотела покуражиться. Бурбаки сотворили шедевр, здесь тоже своего рода «шедевр».

Или на спор с женой о том, что издаст и продаст, автор написал сей опус, а теперь раскручивает — кто знает. Одно могу сказать точ-

но: *серьезной* теории и даже сколь-нибудь интересной мысли здесь нет. Но если бы автор писал юмористические шуточки о так называемой философской среде, он бы далеко пошел.

Критики сия книга не стоит, да и невозможна никакая критика, настолько она хорошо защищена. Ведь автор сам говорит, что это «китч», или «джаз», так какие претензии.

А я и не оцениваю, просто пытаюсь понять, откуда у автора менторский тон («Стань там и слушай сюда, отсюда будет происходить») и почему он настолько неграмотен в истории философии? История знает много персонажей и среди сапожников, философов высокого класса, и среди прочего люда: такое впечатление, что как раз диетанты и двигали ее. Может, это заблудший «технар»? В целом, хороший человек, примерный семьянин, а философия для него вроде как тайный порок.

Чем действительно интересна эта книга, так это тем, что банальнейшее и примитивное содержимое ее изложено блестящим галантерейным стилем, отлакированным заподлицо, с подержанными истертыми штампами, которые выглядят раритетами. Винтаж стиля. Нео-маньеризм, высокая эклектика.

Натряс из Интернета. Скроил, перемешал, получилось вполне приемлемое варево, сносное. Литературы такого рода полно, большинство «научных» работ такие. К тому же, та неудобоваримая «философия», патентованная, которая преподается в вузах, кажется еще хуже.

Автор, должно быть, добрый человек, и по-своему честный, если это все же не «прикол», и он действительно существует, но по наивности ссылается на Википедию, ну и еще кой-какие источники, которые, судя по контексту, просматривал, но не читал. То ли намекает, что до всего сам додумался, то ли просто уловил тенденцию, что к этому дело идет, в самом деле, кому нужны длинные списки литературы, когда достаточно войти в сеть. Но чего не отнимешь — он совершенно ясно своей манерой изложения дает понять: то, что он вещает, адекватно тому, что он хотел сказать. Это высший пилотаж.

Если бы автор писал философскую пародию на современное состояние этой науки (хотя кризис затронул не философию, она вне рынка, а философов), цены б ему не было. К слову, то же относится и к искусству, и к науке: всюду прохиндеи.

Впрочем, следует готовиться к тому, что именно эти упрощенные до идиотизма воззрения вскоре уничтожат любое интеллектуальное шевеление. Где тонко, там и рвется.

В общем, книга вызывает любопытство побочными эффектами. Автор настолько любит себя — Демидурга, творца — и так радуется (большую радость доставляет только самостоятельно сколоченная табуретка), что понимаешь: ему-то удалось, наконец, найти компромисс с миром: где-то прогнуться, где-то продаться, но достичь искомого: и теперь я его даже обидеть не смогу. Тут по принципу, кажется, Форда: «пинайте, ругайте, только не перевирайте фамилию». Всё реклама.

Посмеяться можно, но только американским смехом «номер девять», самым тупым — все та же банановая корка (правда, не та, что была придумана Чарли Чаплином).

Невежество автора настолько чудовищно, что вызывает некоторую оторопь. Но лет через пять-десять, да что там, уже сейчас, такая литература напрочь задавит любую другую, поскольку современный мир может обойтись и без философии, без музыки, поэзии и прочих «излишеств». Не надо ни костров, ни концлагерей, ни физического уничтожения — просто свести все к удобным и комфортным «теориям», чувства — к ощущениям, мышление — к движению электронов, и бац — готово, полная бестолочь, но хорошо управляемая.

В этой книге последовательно выражена точка зрения вульгарного материализма (автор сам в этом уверяет) и сформулирована идеология современного обывателя. Если, конечно, это всерьез, во что не очень верится.

Автора по «свойному» можно понять: в целях самозащиты один Богу молится, другой водку хлещет, третий и то и другое, а четвертый сотворит свою «систему». У каждой домохозяйки свои кулинарные секреты, как быстро и без хлопот спроворить кулебяку мироздания. Морозов вот сидел в крепости в одиночке, озлобился и опроверг мировую историю — это действие полно отчаянного мужества, А.Т. Фоменко вслед переписал историю, и здесь была только холодная жадность и полная ерунда, впариваемая легковверным. Так что, читая «Вселенную на ладнях, или Внешний и Внутренний мир», где он заявляет, что постиг все тайны, так и подмывает бухнуться в ножки и завопить: «Ай, не погуби, благодетель».

Историю в основном двигают любопытствующие любители. Смысл в другом. Перефразируя Канта: вы вольны делать что хотите, но не называйте это философией (в оригинале — нравственностью). Слишком много под этой вывеской развелось ерунды, есть даже «Философия парикмахерского дела».

Дважды прочел и понял: непременно куплю при случае книгу и в красном углу, под иконами, прибить гвоздями. Чтобы каждое утро, глядя на это, думать, что в сущности, все, что сейчас производится, так же неталантливо в сущности, как и этот символ неталантливого времени, которому блестяще провели фронтальную лоботомию, и оно счастливо пускает слюну.

И о джазе. Единственное общее, что роднит с джазом, столь часто упоминаемым автором, чтобы никто не забыл, что это джаз — не импровизация (ее нет и в помине, болезный и свингует плохо, никак, да и с блюзом проблемы) — расписано как по нотам — а то, что автор всецело в своем внутреннем мире. Как говорил Оскар Питерсон: «Джаз нужно играть, запершись в пустой комнате и потушив свет, в одиночку», автор, если он есть, в такой одиночке и заперт. Он все себе объяснил, вздохнул с облегчением — абсолютная мудрость найдена — и успокоился.



## Игорь САВКИН

*/ Санкт-Петербург /*



### Глядя в зеркало

*С. Крапивкин, «Вселенная на ладонях, или Внешний и внутренний мир» (СПб.: Алетейя, 2012)*

«В наше время жестокой конкуренции и отлаженных бизнес-технологий, философией не интересуется никто, и значит, нет лучшего времени и момента для нашего марша. Нас никто не давит, не преследует. О нас даже никто не подозревает. Веками отточенный пароль философов всех времен и народов: “живи, скрываясь”, не актуален, бесполезен и жалок сегодня. Нас не побьют камнями, не сварят заживо, не сожгут, не вздернут и не посадят по ложному доносу. Нас просто не заметят. В книжных магазинах активно сворачивают полки с мыслителями, освобождая их под народную медицину и эзотерику. Мы впервые свободны! От технологий, от штампов, от конъюнктуры, конкуренции, зависти и культуры. И, значит, мы можем творить! Свободно, легко, непринужденно, честно и весело», — так говорил С.Крапивкин. Какое время — такие и философы! Стоит ли пенять на зеркало?

Его произведение трудно отнести к определенному жанру, но оно, во всяком случае, восполняет недостаток в философских сочинениях, написанных от первого лица и открыто ставящих вопрос о современном статусе философии, тем более, написанных живо и эмоционально. Много ли можно вспомнить философских книг, вызывающих иные эмоции, кроме отчаянной, мертвящей скуки.

В одном автор несомненно ошибся — легкой жизни у него теперь не будет! Ведь он пишет: «Умные люди, читающие между строк, давно уже распознали мою тайную тягу к “кресту”... в дуальном мире крест есть главная из фигур. И человечество должно знать о нем всю правду». Стоит ли удивляться, что уже в первом отклике мы читаем: «неприменно куплю при случае книгу и в красном углу прибью гвоздями».

Вот так — прибить гвоздями! Пока только книгу! Бедный автор — какое богатое поле возможностей открылось перед ним, стоило только расшевелить человеческий муравейник. А не дай Бог, кто-нибудь увидит призыв к экстремизму, споткнувшись об экстрему-

мы? Остается пожелать будущим читателям не откладывать надолго возможность познакомиться с этим незаурядным произведением. Прочитайте Крапивкина сейчас:

«Я знаю, как устроена Вселенная! Было время, когда я запросто мог увидеть ее в своих ладонях. Сейчас, конечно, уже не то, озарения не так часто и ярко пробивают меня, но теперь я могу не просто хлопать глазами, жадно глотая воздух о восхищения, а выразить все достаточно сносно, черными буквами на белом листе.

...Однажды, я еще учился, кто-то в общежитие принес эту вещь. Потирая руки и подмигивая, он сказал, что читать стоит только 13 главу, а остальное не обязательно, мол, муть и блажь. Я прочел тринадцатую, конечно. Прочел и остальные — я тогда много читал, и все подряд. В основном художественное, Чейза и Гете, Ибсена и Моруа, обоих Шоу и Эриха Марию Ремарка. Тогда я еще Достоевского для себя открыл и меня вообще накрыло. Так и стало нарицательным: « — Где Крапивкин? — А вон он лежит, слушает Пинк Флойд и Достоевского читает». А Вейнингера я прочел и не заметил, и отдал следующему читать тринадцатую главу. А сам взял роман Федора Михайловича «Идиот».

...Но яд был впрыснут. Еще год я ходил, ничего не замечал, пока вдруг не остановился возле раскладки книг, с безумным желанием купить «Критику чистого разума» Канта. Кто не поймет, тому не понять остального, я и сам ничего не понимаю, зачем мне был Кант, тем более что я ничего не понял в его понимании чистого разума. Но он был философ. А я еще не знал, что я философ тоже. Меня тянуло в философию.

...Фридрих Ницше. Третий по счету философ, давший мне хлеб. Возвестил приход сверхчеловека. Напрасный труд. Больше чем человек, человека нет. Эпикур — я обожаю этого философа, всего за одно выражение о «Непреодолимости универсального бытия» и только упрямец не признает, что Воля свободна. А великий стоик Зенон — я восхищаюсь этим философом. Он утверждал, что мир предопределен, и он прав. Мне понятны терзания Блаженного Августина и интеллектуализм Фомы Аквинского, детерминизм Спинозы и волюнтаризм Шопенгауэра.

...Каждый мало-мальски выдающийся философ отличается своей придурью. Своей придурью отличались и греки, и римляне. Киник Диоген так и вошел в историю, благодаря привычке пелать на своих сограждан, не мьгться и жить в бочке. Сократ придумал целый метод издевательства, майевтику. А политическая придурь Платона едва не стоила ему жизни. Парменид сагал философию в стихах, Бозций называл философию богиней. Ницше констатировал смерть Бога, а Шпенглер — закат Европы. Шопенгауэр любовался своим лбом. А семит Вейнингер открыл горькую правду о евреях и женщинах. И хоть в народе придурочных называют философами, Чезаре Ломброзо научно доказал, что не все придурочные — гении, но все гении — не без придурки. С полной уверенностью можно сказать одно — придурь расширяет границы познания. Свою придурь настоятельно рекомендуем и мы.

...Жуткое время, жуткие нравы, где Истина дороже друга. Я вам открою секрет: Истины нет!.. Есть только вечное стремление к ней... Во мне нет ни капли Истины, я только факт, невозможность быть другим. Я говорю только то, что не могу не сказать».



## Валерий МИШИН

*/ Санкт-Петербург /*



### «ДОК»-про (новые тексты)

\* \* \*

идёшь по крашеному полу  
к подошвам прилипает краска  
затем по выходе из дома  
след оставляешь на асфальте  
возможно жизненная школа  
очень серьёзная закваска  
её не передашь другому  
даже товарищу по парте

и с каждым шагом на подошвах  
всё меньше краски больше пыли  
и где-то далеко от дома  
шаги теряются бесследно  
и если говорить о прошлом  
мы многое почти забыли  
бином ньютона закон ома  
но помнить всё нельзя и вредно

\* \* \*

*тамаре буковской*

потеряв глагол времён  
не имея связь наречий  
я тебе противоречить  
не пытаюсь ни имен  
существительно проверить  
ни найти на то предлог  
вынося за скобки перед  
тем чему перечить мог

\* \* \*

из одного стакана пьём  
 не потому что нет второго  
 не думай что второй разбит  
 и нет вина на два стакана  
 мы пьём вдвоём  
 пьём в полвторого  
 ночная лампочка горит  
 хватает нам её накала

один глоток ещё чуток  
 передашь мне — пригуби  
 едва коснулись пальцы губ  
 в ответ коснулись губы пальцев  
 должно быть хмель возможно ток  
 считай веление судьбы  
 как всё-таки бываешь глуп  
 но ты не улыбайся

\* \* \*

когда печёт до не могу  
 и ослепляет до потёмок  
 когда в тени как на свету  
 возможно неспроста  
 понять способен что в долгу  
 у предков и потомков  
 и что сгореть можно в аду  
 не открывая рта...

сказать — солгу  
 смолчать — солгу  
 как маленький ребёнок  
 не веря в правоту  
 горящего куста

\* \* \*

*тамаре буковской*

только тени как впалые щёки  
 свет взирает большими глазами  
 видно время разжало пружины  
 отодвинуло даты и сроки  
 и убрало затор между нами  
 мы сидим под цветущим жасмином...

тот жасмин цвёл тогда в сестрорецке  
 распускался он в белые ночи  
 что ещё остаётся сказать  
 на него мы смотрели по-детски  
 можно сделать мгновение зорче  
 но нельзя повернуть время вспять...

under the jasmin tree<sup>1</sup>  
 under the jasmin tree  
 under the jasmin tree  
 посмотри  
 посмотри  
 посмотри

under the jasmin tree  
 under the jasmin tree  
 under the jasmin tree  
 повтори  
 повтори  
 повтори...

\* \* \*

если видишь её на небе  
 называй звезда

видишь на потолке  
 называй как хочешь

на небе она ночью  
 на потолке всегда

если видишь её на небе  
 вспоминай как звали

видишь на потолке  
 не забудь заменить

потому что при любом накале  
 перегорает нить

на небе точка — электроточка  
 на потолке звезда

## Никогда

погляди: через дорогу  
 через степь кругом  
 через курган  
 через бугор  
 прилетит — создаст интригу  
 сядет на забор  
 вспугнув сороку

<sup>1</sup> диск mjq, записанный beatles.

ворон-интриган  
говорю ему: нехстати  
какова нужда  
мог повременить  
вот злыдень  
улетай куда не глядя  
лучше навсегда  
сообщай хотя бы за день  
поумерь-ка прыть

но он держит под прицелом  
настороженного глаза  
у него одна морока  
оказавшись на заборе  
не сорокой быть — пророком  
заготовленную фразу  
что давно осточертела  
прогорланить: неверморе

\* \* \*

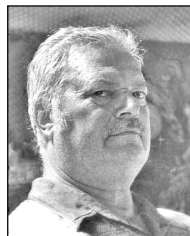
складка одежды  
складку тела  
повторяет безусловно  
до какого-то предела  
но однажды  
слово в слово  
повторит её размер  
направленье и дыханье  
не бумажный  
даст пример  
как стать стихами  
проще простого

\* \* \*

лето в коротких штанишках  
в шортах — трусах — нагишом  
как пять копеек в кармашке  
вот побежал по дорожке  
выронил и не нашёл  
летом и любишь — не любишь  
летом замрёшь — отомрёшь  
что не за дорого купишь  
тут же отдашь ни за грош  
некогда бантиком губы  
глянь — лепестками летят  
и улетят на погибель  
лето — всегда детский сад

## Юрий ЗМОРОВИЧ

/ Киев /



### Что это было?

Эксплозия? Взрыв?.. Рождение новой планеты?

Было ли?.. Что — собственно?.. О чем речь? — Да нет, и речи нет, — но есть... некая жизнь, некое состояние, некий вкус, или — след укуса, укуса ли? Мускуса?..

Невыдавливаемое слово! Словесность — безъязыкая пока... Пока ли? Или... словесность закончилась... нынче вообще — после... после... после — этого...

Что это было?

Неужто — было? Да, и было, и — есть, и — вот оно — рядом — на расстоянии протянутой руки, но и здесь — в грудной клетке, и в висках, и — еще — где?..

«Мы воздавали хвалу тому дню и часу, когда на вершине горы конь крылатый могучим копытом отверз источник волшебства; и возблагодарили Геликонских владычиц, оберегающих *тот* Источник и прокладывающих незримые пути к сердцам своих избранных, чтобы утолить их вечную жажду.

Мы восславляли всех рожденных когда-либо на белый свет, будь они зачаты от простых смертных или от ослепительного блеска молнии, от горного духа или от красного дракона, от следа прошагавшего в ночи великана или от яйца пролетевшей ласточки, от падающей звезды или от драгоценного камня, принесенного укрощенным чудовищем, от башни, от стебля растения, от золотого дождя, от божьего взора...

Мы восторгались благоуханными гуриями, источавшими запахи шафрана и мускуса, амбры и камфары; сколь счастливы доблестные мужи, что вкушают любовь этих полупрозрачных красавиц, населяющих жемчужные дворцы Джанны!

Мы приветствовали четыре стороны света, слитые в истинную квадратуру круга, со всеми их антиподами и чудесными бестиариями; мы приветствовали *anno mundi*, а также Любовь и Вечность, которые для поэтов во все времена — нектар и амброзия.

Мы поражались величию и великолепию Мирового Древа, пронизывающего всю нашу жизнь в прошлом, настоящем и будущем; мы высматривали пернатых птиц в его вечно зеленой кроне, мы подмечали у подножия его необъятного ствола золоторогих оленей, дородных коров,

грациозных антилоп и лошадей, мудрых пчел и человеков, составляющих единое пчеловечество, а у самого корневища — шипучих змей, певчих лягушек, зеркальных пучеглазых рыб, лоснящихся бобров...»

Что это — космогоническая поэма?

Но вот, рядом:

« — Вот-вот! Каюк тебе, плесень рыжая!.. — выдавила из себя тет-ка сквозь удушливый смех. — Тебя третий прикончит! Третий — это уж точно, это уж как пить дать! Так что перед кончиной еще вдоволь на-хлебаешься, родненький ты мой... А дружку твоему сердечному любовь любить велит любимую свою, стало быть, — со мною — под венец!

— Чего? — вытаращился Кутищев.

— А то, что любит он меня, Мотьку-недотрогу!

— Я?.. Вас?! — изумился я.

— Так это же сразу видно! — и Мотька сделала мне метлой «ути-пути». — Любит и молчит, шалуи-бадуи эдакий...

— Я молчу? Да я... да я со всей ответственностью вам заявляю, запротестовал я, окончательно вываливаясь из поэтического контек-ста, — что я вас не любил, не люблю, и любить не собираюсь!

— Любишь! — хохотала переполненная счастьем Мотька.

— Не люблю!

— Любишь!

— Не люб...

— Любишь, собака! Любишь-любишь-любишь!

— Послушайте, вы точно меня с кем-то пугаете!

— Ага-а! — возопила Мотька. — Так значит, отрадный склеп души моей твоим очам уже не светел? А кто стихи мне посвящал?

Мотька двинулась на меня, гневно размахивая взерошенной мет-лой».

Но есть и такое:

«Я открыл, даже не взглянув на обложку. — Ткни пальцем!

— Куда?

— Куда хочешь.

Я ткнул.

— Теперь читай! — и Кутищев открыл глаза.

— Но здесь написано на латыни, — попытался я увильнуть.

— Да хоть по-китайски! Ты говорил, что знаешь латынь. Вот и пе-реводи.

Деваться было некуда. Я начал переводить, правда, сразу преду-предив Кутищева, что за качество перевода не ручаюсь и, стало быть, за последствия тоже. Он легкомысленно махнул рукой:

— Читай!

— «Смерть есть наше освобождение от уз материи, — читал я, ста-раясь не смотреть на Кутищева. — Тело — куколка, которая открыв-ается, когда мы созрели для более высокой жизни. При смерти наш дух выходит из тела, как аромат из цветка, ибо дух заключен в теле, как аромат в семени цветка...»



И такое:

«О, любород любастый,  
за что озлюбился на любарей, и вызлюб свой,  
и все свое любарство прелюбодейству прилюбил?  
Любийствами и любопыткой на любном месте —  
тебе не залюбить любви!

Одна лишь налюбовь любствует в любыгтиках и прилюбытках ...

Так что же, залюбонь на косолоуб любых любонов и пролюбов,  
облюбков, вылюбов и любанов, любавров, любиков и любакон  
и даже всяких там улюбищ!

я ж — любон фил из Любограда! Я прилюблен под Люболеем  
в год Боголюбон  
в часлюбонпада ...

Люблю любавищон любавон,

когда в любзоньях Любогонни моеи любастятон голубки любон-  
оки.

Я — космолуб!

Я — любоннавт!

Мой любокосм —

Любарниум любожий.

Люблянун любозарнуну мою так прилюбон и облюбон, что Любо-  
мир залубоцветит, возлюбитон Любовь, от коеи вылюбляютон любята  
и голубеет светолуб!..»

И — многое-многое другое, кое размещается на 1400 стра-  
ницах печатного текста. Но — не совсем так! Первоначально  
текст существовал в другом виде:

«И где только не были разбросаны эти слова! На сигаретных пач-  
ках, на коробках из-под спичек со стертymi боками, на оторванных,  
стоптанных до дыр подошвах, на почтовых марках и сухих древесных  
листьях — остается лишь гадать, сколь значительная часть текстов  
погибла вместе с другими листьями в кострах либо превратилась в  
перегной...»

...покрытые стихами, будыжники из некоей мостовой, которую  
чьон-то неведомая рука превратила в поэму, или, сплошь усеянный  
текстами старый медный самовар, или мешок с опавшими листьями,  
по желтому и багряному пергаменту которых прошелся чей-то тонкий  
черный фломастер...»

Например, обширный фрагмент под названием «Книга  
Книг», собственно открывающий в качестве первой главы на-  
стоящее издание, целиком вырезан (справа налево, так что мож-  
но даже с него, как со своеобразной матрицы, печатывать от-  
тиски) на кровельной жести дома NQ 15 по Андреевскому спуску.  
Речь идет о том самом доме, который в книге называется «Зам-  
ком». И действительно, такое название дома по указанному адре-

су засвидетельствовано всеми городскими справочниками, изданными после 1981 года. Иные фрагменты рукописи представляли собой кубометры ржавых водосточных труб, собранных на поросших хмелем и репейником развалинах Кияновского переулка; иные — тонны печных изразцов и мраморных ступеней из отселенных и полуразрушенных зданий...

Итак, «Книга книг» — и заглавие обширного фрагмента, и само название всего полуторатысячностраничного словесного образования, которое сам автор определил как роман.

Роман-коллаж? Впрочем, прочитываются сквозные сюжетные линии и действия — истории с персонажами, заявленными в начальных отрывках.

Скорее, некий воистину фантазмагорический мега-текст, который тяготеет объять необъятный мир единственно возможным способом — преображая его творческой фантазией — эдакая фантастическая эпическая поэма.

Есть в ней свои низы — дольные, и, разумеется, горние, выси... Стремление к горнему у главных героев — неизбежно и сдобрено классическим романтическим антуражем — здесь и фрегаты, и альбигойцы, и великие мистики, особое место занимают алхимики и само таинство этого занятия.

Похоже, что сам автор, демонстрируя свои познания и начитанность, использует их как метод литературного творчества, смешивая, казалось, несоединимое и достигая этим эффект шока, душевного потрясения-прозрения.

Неспешная форма повествования, хотя и выдержанная в стилистике той же классической романтической прозы (не говоря о ярко гротескных эпизодах), при всех алхимических приправах — естественна и, как ни странно, близка разговорной, и оттого — доходчива и занимательна.

За всеми увлекательными коллизиями романа безусловно ощущается фигура, личность автора, которая, конечно же, и сообщает всему изложенному шарм истинного романтизма и чисто человеческого обаяния. По сути, выдвигая на первый план свои духовные романтические амбиции, он сам же и вышучивает их, либо в самопризнаниях, либо через героев своего bestiaria, лишенного все же категорического негатива. Он смеется, забавляется, но не ненавидит. А большие пространства его фантазий и прозрений посвящены — любви. Любви — кверху и низу, любви — ко всему, что населяет видимое и — незримое и необъятное.

В таком контексте открываются все новые и новые наиважнейшие темы, например:

О возможности или невозможности исповеди!

Нельзя забыть, что роман-эпопея писался на протяжении 27 лет и тяготеет к рефлексии в образах — о смысле и бессмыслии. Автор прячется, но не настолько, чтоб не быть узанным и ус-

лышанным. Именно отрывки, фрагменты звучат как авторские проповеди, но размышлениями и афоризмами пересыпан весь текст.

*Так возможна ли исповедь как текст?*

Роман, а, вернее, подход к самому повествованию автора, видимо, говорит — и да, и — нет.

Двойственен мир — смешон, жалок и величествен, прекрасно многообразен.

Велико движение души вверх и — тяжело выявление сего порыва.

Автор являет себя сказочником-мистификатором и, конечно, утешителем, манифестируя именно нескончаемое многообразие проявлений мира, в котором нет и не может быть конечного результата.

Не думаю, что особо стоит останавливаться на приметах собственно киевского богемного быта, преображенного автором в гротескный bestiарий. При всех забавных «схожестях» с реальными персонажами, выписанных изобретательно и ярко, они, все же, более «гримасы» мира сего, оттеняющие или, еще в большей степени, проявляющие мир горний.

Киев же, вечный град, даже внешне по роману превращенный в некую нелепую декорацию театра-студии, возвышается и воспаряет воистину благодаря романтической ауре, созданной автором. Аллюзии автора, создающие пространство мировой культуры, переносятся и на пространство города, заполняя его хотя бы идеей Возможности. Ведь все не — *Было, Есть и Будет*, а — *Есть!*

И это Единство Времен — еще одна победа.

*Так возможна ли исповедь в фантасмагории?!*

Или иными словами:

*Возможно ли сказать правду — через фантасмагорию?*

Стр.59:

«Первым делом мы открытым текстом, черным по белому, послали ко всем чертям с лешими «нашего князя господина» вместе со всеми его милостями, мудростями, пряниками, самоварами, глухими острогами и золочеными палатами. Мы презирали возможное наказание, равно как и любое благодеяние, в ответ на стоворчивость. Нас несло!

Нас штормило! В зале даже возникло ощущение крепкого морского бриза. Свобода! Да здравствует свобода! Мы спешили. Мы так спешили, что постоянно перебивали друг друга, перескакивая с одной мысли на другую и нередко теряя связность образов, которые захва-

тили все наше существо и неудержимо рвались на волю, словно состязались с нами в том, кто более свободен. Может быть, мы писали ужасно бестолково, сумбурно, отрывисто, но мы писали...

...Мы писали только о том, чем всегда восхищались, о том, что всегда любили — о причудах Красоты, кои так же бесконечны в своих вариациях, как неисчерпаем Источник, вечно их рождающий в мире физическом и в мире духовном...»

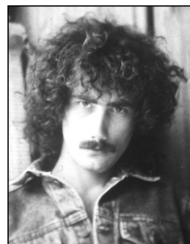
Что это было?

А ведь это — только начало романа киевлянина Алексея Александрова «Книга книг», издательство «Алетейя», Санкт-Петербург 2012 г.

*Октябрь, 2012 г.*

# Дмитрий НЕРЖАННИКОВ

*/ Санкт-Петербург /*



## «От Казантипа до Тарханкута»

\*

От Казантипа до Тарханкута —  
Степь,  
Золото Солнца,  
Олово Моря...

От Тарханкута до Казантипа —  
Олово Моря,  
Золото Солнца,  
Степь.

\*

Зной,  
Сушь,  
Жара,  
Полдень.

Бродячая собака ведёт облако на поводке ветра...

\*

Лечь головой к звёздам,  
Ногами к воде...  
Вытянуться от неба до неба...  
Под тобой склон — сухая трава и камни.  
Вокруг — голоса ночи,  
Каменное тепло лета...

Хвостом скорпиона  
Высится над тобой Млечный Путь.

\*

Россыпь камней и раковин на берегу...  
 Лунный свет  
 Не даёт уснуть  
 Звёздам в небе,  
 Рыбам на дне.

\*

Уснуть под шум волн,  
 Проснуться в облаке Трои:  
 Лаокоон, Софокл, боги Олимпа...

Вернуться назад,  
 Почувствовав на себе пристальный взгляд  
 Дохлой креветки.

\*

Выпотрошенные солнцем дельфины,  
 Двухцветные мозаичные полы — пыль и пепел,  
 Безлюдный музей на мысе...

Выглядывающая из-под обломков колонн,  
 Из-под серой колючей травы,  
 Глиняные античные куклы — Мназидики и Билитис —  
 Роняют сухие слёзы из мокрых глаз.

### ИЗ ЦИКЛА «КУРА́КИ И ХАТУРИНКРИЙÒКИ»

\* \* \*

Я забыл, как это бывает —  
 Тепло южного чёрного неба.  
 Жёлтые фонари вперемешку со звёздами...  
 Стаканы с красным сухим вином,  
 Веселье  
 Без грусти на дне веселья...

Появится ли снова радость в глазах хороших людей?!  
 Увижу ли вновь, как пируют добрые люди?..

\* \* \*

Шурша сушатся простыни во дворе...  
 Где-то там  
 В жарких вечерних спальнях  
 Все отдыхают после обеда...

Море спит и сухой ветер  
 В зарослях маниоки  
 Немой африканский мальчик  
 Ласкает опешившего хамелеона

\*\*\*

Баржа моя жива  
 Даже когда жажда  
 Нажива даже когда  
 Когда холода  
 И вода  
 Нужна как хлеб  
 Для потопа

Всё хорошо  
 Пока  
 Моя Пенелопа!

\*\*\*

Блюз высохших рек  
 Карие глаза смерти —  
 Брошенные колодцы  
 Пыль и горох солнца  
 На ставнях из кипариса и киновари  
 Южные глиняные святые  
 Корявые трубки из сладкой вишни  
 Клубы дыма и клумбы  
 Круглых как Ялта цветов  
 Лужицы в водоворотах ряс и сутан...

Узкое слуховое окно —  
 Щербатое ракушечное ожерелье —  
 Круг замыкается.

Жажда и дрожь москита  
 Перед последним падением в жизни.

\*\*\*

Тени на косогоре в лесу,  
 Брошенная как кость будка стрелочника...  
 Скользящие лужи луны на поверхности рельс...

Все, кто тебе дорог, — в дороге.

\*\*\*

Пойдём по степи...  
 Это должно быть ночью  
 И летом...

↓

Это должно быть перед дождём.  
Мы ищем дорогу...  
Так давно у нас не было приключений,  
С нами ничего не случилось...  
Только чужие смерти...  
Лето  
Всё исправит.  
Мы найдём то, что ищем,  
А, возможно, и больше, чем ищем...  
Всё хорошо.  
Мы забудем о женщинах  
До тех пор, пока не увидим женщин.  
Мы забудем о вине  
До тех пор, пока не встретим хороших людей.

И тогда мы скажем:  
Пора искать место для ночлега  
Пристанище-лежбище-кладбище  
Свет в окне

\* \* \*

Смысл сна уклончив,  
И что принесёт с собой осень,  
Неясно...

Тёмен лес  
Листья пасёт  
Старый лис  
Август

\* \* \*

Судьба лишает нас провожатых,  
Навязывая в попутчики  
Лишь нелепый несчастный случай.

Мы жаждем трагедий,  
В которых мы на главных ролях.

В которых мы живём,  
Умирая.





# Римма ЗАПЕСОЦКАЯ

*/ Лейпциг /*



## Германия

Германия:

Тевтоны.

Саги.

Битвы.

Абсурд.

Освенцим.

Вагнер.

Холокост.

Кант.

Моцарт.

Гёте.

Ницше.

Бах.

Молитвы.

И через пропасть —

покаянья мост.

\* \* \*

Ягоды красные на снегу,  
яркий сигнал тревоги.

И спотыкаюсь я на бегу,  
падаю на пороге.

Словно заслон на моем пути  
кто-то опять поставил.

Как мне до цели своей дойти  
в этой игре без правил?

Ягоды красные на снегу  
рану в душе задела.

Сколько же, сколько ещё смогу  
жить на таком пределе?..

\* \* \*

Ты только эту боль не трогай,  
 мой друг далёкий дорогой!  
 Уж так случилось, что дорогой  
 пошел когда-то ты другой.

Я вынесла тебя за рамки,  
 закрыла дверь на все замки.  
 Но нам обоим снились замки,  
 где были мы с тобой близки...

Давай оставим наши споры,  
 пусть не вернуть нам той поры —  
 Земли еще открыты поры,  
 и мы берём её дары.

## Весенняя пастораль

Весною не хочется думать о зле,  
 природа ликует весною.  
 Мой поезд идет по германской земле —  
 и что-то творится со мною.  
 То сон или явь, я не знаю сама:  
 мелькают из гриммовских сказок дома,  
 долины, и горы, и речки,  
 цветущая красками всеми земля,  
 заплатами желтыми — рапса поля,  
 лошадки, коровки, овечки  
 и маленькие человечки.

\* \* \*

Всегда на мушке у судьбы,  
 всегда в Господней длани.  
 Мы дети Божьи и рабы  
 на жизненном экране.

Безумен наш подлунный мир:  
 в душе несовместимы  
 Освенцим, звёзды и Памир,  
 восход и Хиросима.

Качается земная ось  
 при буре-непогоде...  
 Так мало сделать удалось,  
 а время на исходе.

И нужно подводить итог:  
 кто я и что я значу?  
 Шагну я скоро за порог,  
 где будет всё иначе...

## Неожиданный Париж

«Ты только больше не болеей!  
Что хочешь ты на юбилей?» —  
моя сестра меня спросила.  
(Хочу попасть на край Земли  
и чтоб меня там не нашли! —  
чуть было я не огласила.)

Сказала я: «Хочу в Париж!» —  
так как обычно говоришь  
банальнейшую эту шутку.  
Ведь знаю правила игры...  
Но слышу я слова сестры:  
«Постой, постой одну минутку...

В Париж? Ну что же, поезжай  
и собери там урожай  
всех впечатлений самых ярких».  
И вскоре я, как в странном сне,  
пересекла рубеж — и мне  
предстал Париж видений жарких.

Не узнавала я Монмартр:  
то был какой-то Конго-арт. —  
Я не ждала подобной встречи.  
И что богема Монпарнас  
давно уж предпочла, у нас  
об этом не было и речи.

Да, это был немалый шок  
и поучительный урок:  
каков наш век, такие лица.  
В Париж хотела в юбилей?  
Так ни о чем и не жалеи!  
Иль нужно тут же застрелиться.

*Париж увидев — умереть.*  
В огне любви своей сгореть,  
поджечь собой *Мулен* Монмартра —  
всё, что осталось с тех времен,  
когда рождались *импресон*,  
стихи Рембо и пьесы Сартра.

О неожиданный Париж,  
ты словно в пламени горишь,  
в холодном пламени печали.  
И всё равно прекрасен ты,  
как завершение мечты,  
её конец в её начале.

## Божий город

Миг в городе Божьем на сломе эпох  
и тысячелетий на грани...  
И куст Моисеев еще не засох  
на поле невидимой брани.

Здесь тридцать веков свой развеяли прах  
и снова земля плодоносит,  
и мир наш подлунный на всех языках  
Творца здесь о милости просит.

Из камня пустыни тут строят дома,  
грозят непрестанно соседи,  
и Воля Небес проступает сама  
в любом остающемся следе.

Еврейские буквы, арабская вязь  
и рядом английский привычный —  
такая кровавая, кровная связь  
на вывеске самой обычной.

Блеск Мёртвого моря как явленный знак,  
пульс космоса в каждой песчинке...  
Даются тут силы рассеивать мрак  
и крылья — ничтожной личинке.

\* \* \*

Творцом поставлена Игра,  
где я, разумное творенье,  
рождаю вновь стихотворенье,  
как жизнь, на кончике пера.

И, как на шахматной доске,  
душа лишь пешка иль фигура.  
Игра совсем не синекура,  
и жизнь висит на волоске.

И нужно мне понять сквозь муть  
потока смертного страданья  
ответ великий Мирозданья,  
Игры божественную суть.

## Из «Венка тысячелетию»

Тысячелетью нашему конец,  
И всё-таки оно ещё продлится,  
Пока в *наш* век рождённых видим лица,  
Пока последний не уйдёт жилец.

# Анна ГЕДЫМИН

*/ Москва /*

## Руководство по спасению от гибели

*Евгений Степанов, «Секс в маленьком московском офисе». — Москва — «Вест-Консалтинг», 2012*

Едва выйдя из печати, эта книга получила множество самых разнообразных откликов — и в «бумажной» периодике, и в Интернете. Ее называют скандальной — и психотерапевтической; сенсационной — и весьма спорной, балансирующей на грани запретного; бесконечно притягательной — и нетабуированной; подозревают в автобиографичности и т. д. и т. п. Кто-то ею восхищается, кто-то сетует на излишнюю смелость автора в описании сексуальных сцен и душевных саморазоблачений. Меня новый прозаический сборник московского писателя Евгения Степанова тоже не оставил равнодушной. Только, может быть, немного по другим причинам.

В книгу включен одноименный роман (с подзаголовком «римейк старого производственного романа») и 13 рассказов — очень живых, мастерски написанных, местами бесподобно остроумных. И все же рассказы, как говорится, играют роль свиты, а главный здесь — и по объему, и по своей художественной весомости — именно роман.

Мне не так важно, автобиографический он или полностью вымышленный. Не вижу я в нем и какой-то особой интимной откровенности — времена, когда набоковскую «Лолиту» считали недопустимо безнравственной, увы, остались в далеком прошлом. Куда интереснее, что Евгений Степанов рискнул взяться за одну из «вечных» тем: тему любви зрелого, опытного, незаурядного человека к юному существу, единственное достоинство которого — сама юность. Мировая литература безоговорочно относит этот конфликт к разряду высоких трагедий. Сюжет традиционно завершается либо гибелью, либо (например, «Театр» Мозма) все же сохранением главного героя в живых, но за счет мучительных терзаний, компромиссов и потерь, в том числе моральных.

А как разрешает трагический конфликт Евгений Степанов?

В романе две части (автор назвал их главами) и эпилог. Первая глава — это начало отношений начальника отдела рекламы и маркетинга строительной фирмы «Головкер и братья» Сидора Иванова и его юной подчиненной Лю, их безудержная страсть и самозабвение. Вторая глава — капризы Лю, интриги, конфликты, измены... И — вместо гибели (и на грани гибели) Сидора — переход к вполне себе счастливому финалу (эпилогу).

Автор очень подробно и разносторонне описывает отношения своих героев на каждой вроде бы незначительной стадии. Дает точные психологические характеристики. Отслеживает нюансы. Размышляет. При этом благодаря распространенной ныне «клиповой» — в виде более и менее коротких реплик — форме читается роман легко, с неослабевающим вниманием, буквально на одном дыхании. Итак, почувствовав, что он вот-вот «проиграет» поединок своей юной возлюбленной, Сидор «собирает себя в кулак», привлекает всю накопленную мудрость, весь талант, свои замечательные бойцовские качества бывшего спортсмена, свой богатый опыт побед и поражений. Но не для того, чтобы повергнуть, унижить «соперника». Он не перестает любить свою Лю — корыстную, тщеславную, растерянную, слабую. И начинает ее жалеть. И старается не потерять человеческий облик, уважение к себе и окружающим...

Пересказывать это тонкое, серьезное и в то же время очень четко структурированное, не содержащее ничего лишнего произведение я больше не буду. Просто советую его прочитать. Прежде всего, как страстное, откровенное и беззащитное повествование от первого лица. Временами в нем ощущается подлинная боль, мольба о помощи. И тем более достоверным выглядит главный герой в финале книги — возрожденный, освобожденный.

Единственное, что меня тяготило почти до самого конца чтения, — это заголовок. Не зная я Евгения Степанова как интересного поэта, прозаика, литературоведа, в жизни не открыла бы книгу с таким названием. Позже, уже зачитавшись и даже пролив слезу, стала искать объяснений: мол, столь бескомпромиссно гламурный пассаж выбран из коммерческих соображений. И лишь в самом конце меня вдруг осенило: таким заголовком автор постарался привлечь внимание читателей, похожих на его юную героиню. Отправить выстрадавший, доброжелательный «месседж» этим потерянными, запустевшими, лишенным ориентиров. Помочь взглянуть на себя со стороны и вовремя ужаснуться. И начать искать выход. Заядлые книжники роман Евгения Степанова прочитают и так. Прочитала бы Лю...

## Марк ХАРИТОНОВ

*/ Москва /*



### Из тетради провинциального стихотворца

#### *Тетрадь*

Серенький свет в окне, все тот же пейзаж  
Из грязи или из пыли, развезженной колеи,  
Поленницы у забора. В разреженной пустоте  
Можно бы задохнуться — если бы не тетрадь.

Набиты соломой чучела, в окоченелость  
Зябких палат музея уже не вернется жизнь,  
Усыплены экспонаты, выщвели или покрыты  
Патиной, — хочешь сказать, паутиной, — звучит.

Гласные поневоле растягиваются в зевоте,  
Полууродство слышится в полуродстве.  
Надо открыть тетрадь. На голубые линейки  
Слетаются — ласточками на провода — слова,

Выстраиваются в строки, хотят вместить  
Полноту неприглаженную, без красот.  
Вдруг возникает что-то, бутылочное стекло  
Замечено солнцем, сверкает, как бриллиант.

На патефонной уже инвалидной пластинке  
Слышишь не хрип одышки — музыку сквозь него.  
Тоска находит слова, чтобы в них раствориться.  
Не совладать бы с жизнью, если бы не тетрадь.

Лужу внезапный ливень ландышами засадит.  
Небо очистится снова. Засияв синевой,  
На тоненьких детских шейках поднимут  
Капельные головки воспрывшие купола.

## **Письмо никуда**

Герань оправляется понемногу,  
Болела с тех пор, как не стало тебя,  
И кактусы уже ко мне привыкают,  
Не колются, когда я с ними вожусь.

Дом в себя никак не придет, заставляет  
Натыкаться на вещи, утеравшие смысл,  
Половицы откликаются стоном, вздыхают.  
Дверцу шкафа не открываю — боюсь.

Не посолою еду — проглочу, не заметив.  
Вкус, как и радость, перестал ощущать.  
Половинкой, безжизненной, как обрубок,  
Стало бывшее полным — когда на двоих.

Все на той же странице раскрыта книга,  
Сиюю вспомнить начало, дальше читать.  
Расплываются строки, сквозь слепую бумагу  
Проступает что-то, написанное не здесь.

Рассеивается туман, омыто слезами утро,  
Я вижу озеро наших с тобой времен,  
Светясь, легче ртутного отражения,  
Из него не выходишь — поднимаешься ты.

## **Меланхолия**

Бескрайний зеленый разлив угнетает так же,  
Как однообразие снежной равнины. Вспомнишь  
Мартовскую прозрачность, нежность лиловой дымки,  
Акварель краснотала, первый легкий пушок,  
Ожидание полновесной зелени. Но ведь не до оскомины.  
Хорошо, что не в тропиках. Начинаешь снова  
Дождаться чего-то. Природа хоть обнадеживает  
Возможностью повторения. Чего не скажешь о жизни.

## **Предместье**

Разросшееся предместье. К городу все не выйти.  
Спросил дорогу у местного — осоловелый взгляд:  
«Какой тебе город? Нету его. Без него обойдешься.  
Здесь оставайся выпить». Может быть, он и прав.

Дом, многократно латаный, уходит по пояс в землю.  
Куча гниющих досок подпирает забор.  
Назначены для чего-то, так и не пригодились,  
Тронуты мшистой плесенью, становятся вместе с ней



То ли трухой, то ли почвой. Над ними уже поросль —  
 Возможно, новые доски — если будут нужны.  
 Сколько идешь — все то же. Выбраться из предместья —  
 Жизни, глядишь, не хватит. Вдруг города вправду нет?

### **Труд жизни**

Что для бесконечности единица (допустим, ты),  
 Или хоть миллион (добавляй нули)? Сколько угодно  
 Вычти из бесконечности — останется, чем была.  
 Математиков слушать обидно. Хочется все же  
 Что-то значить, не исчезнуть совсем без следа,  
 После себя оставить хоть имя, надпись на камне.  
 Но что из нее узнают? Язык не смогут понять.  
 Будущие пришельцы, снизаясь, различат с высоты  
 Знаки, сложенные из мощных глыб: икс, игрек  
 Да начало третьего. Чтоб завершить труд жизни,  
 Не хватило, скажут, времени или камней.

### **Похоронное**

Умер, ну, что тут скажешь. Каждому предстоит  
 Подвергнуться той же тягостной процедуре.  
 Слякотная погода. Без головного убора  
 Можно и простудиться. Затягивать ни к чему.

Выпить бы, отогреться. Может, шум в голове  
 Позволит оттаять чувству. Трезвую мысль трудней  
 Совместить с событием, чем пение на поминках,  
 Похожее больше на задушевный вой.

### **Охрана**

Охрана музейных ценностей — как же теперь без нее?  
 Спасибо, что согласились за мизерную оплату.  
 Сами себя обслуживают, подкармливаются с огорода.  
 Нам допускают не сразу, придираются к документам,  
 Хотя читать по-нашему не умеют. Делают свое дело.  
 Неловко, что иногда приходится им мешать.

\* \* \*

Овладевают уверенно жизнью умеющие  
 Отбросить сомнения, оговорки, знающие,  
 Что истина должна быть одна и доступна,  
 Во всяком случае, им. Такие долго не станут  
 Распутывать там, где практичнее разрубить,  
 Рассуждениям предпочтут чеканные фразы,  
 Общепринятым вкусам не противопоставят

Своих, не станут слишком тонко шутить —  
 Могут не так быть поняты. Достаточно вообще  
 Клавиатуры не слишком сложной. Полутона,  
 Оттенки, тонкости лучше оставить другим,  
 Неуверенным, непрактичным. Эти готовы  
 Задержаться на несущественном, их смущает  
 Мысль, что истине противостоит иногда  
 Не заблуждение — истина еще глубже.  
 Не восхитившись вовремя тем же, что все,  
 Остаются каждый раз на обочине, могут там  
 Смаковать переливы соловьиного пения,  
 Тонкой мысли, сравнивать движение звезд  
 С поведением никому не видных частиц,  
 Ловят в воздухе звуки, не слышные уху,  
 Напевают что-то, бормоча про себя, сочиняя  
 Музыку или стихи.

### ***Рой***

Напряженность, дыхание жара, гул,  
 Сгусток жизненного вещества  
 Из рассеяния в пространстве.  
 Тяжесть держится на себе сама.  
 Копошатся, ищут места частицы,  
 Чтобы наполниться общей силой,  
 Обеспечить продолжение рода.  
 Не пристроится лишь одна,  
 Чуть взлетает, пробует снова.  
 Никуда не денется, будет со всеми.  
 Без роя не проживет.

### ***Теория относительности***

Боль, страх, уныние, скука, радость:  
 Несхожи только причины — те же слова.  
 Страх перед разорением, смертью,  
 Перед зубным врачом или тюрьмой,  
 Радость, когда родился ребенок  
 Или лопнул нарыв, когда нашел рубль  
 Или выиграл пять, десять тысяч —  
 Называется одинаково. Сравнению поддается  
 То, что можно измерить, пересчитать,  
 Выразить в цифрах — слов других не найти.  
 Может, правда именно в них. В пивной  
 Неподалеку от кладбища подсел за столик  
 Инвалид, блеснул стальными зубами.  
 «Что загрустил? Налей-ка лучше и мне.  
 Ты не один тут такой. Отойдут от могилки,  
 Чего-то все не поймут, тоскуют.

Хочешь, я объясню? Потому что однажды  
 Сам уже умирал, был ни за что посажен,  
 Не сумел покончить с собой, вот, потерял  
 Носу — всего лишь. Тогда и освободился.  
 Жизнь прояснилась вдруг, очевидна стала  
 Теория относительности. Подведешь итог —  
 Все уравнивается».

### **Сверчок**

Уродец с длинным грустным лицом замолк,  
 Смущенный, что обнаружен, такой невзрачный,  
 Такой нескладный. Воображали б лучше  
 Эльфа с изящной скрипкой, как на картинке,  
 С фалдами, как у кузнечика. Затаился  
 В своей застенной провинции, самоучка  
 Застенчивый, интеллигентный бобыль. Играет  
 Ночами всегда на той же нехитрой ноте,  
 Не зная, как эта музыка может кому-то  
 Скрашивать неуют одинокой печальной жизни.

### **Зеркало**

Зеркало правды не скажет. Ему дано отражать  
 Лишь видимую поверхность, стареющую оболочку.  
 Дряблая кожа разношена, обвисли подглазья,  
 Сидит стерня щетины. Нет, это не весь я.

Во мне живет еще мальчик, наивно мечтавший  
 Создать лекарство от смерти — я и сейчас такой.  
 Юноша, полный любовной силы, стонавший ночами  
 В одиночестве, неутоленный, не утих до сих пор.

В безразличном усталом стекле не увидишь,  
 Сколько времен во мне, в каких я живу временах.  
 Что оно может знать? Много ли все мы знаем  
 О других, кого мимоходом отмечает наш взгляд?

Может, лишь заглянув под обложку этой тетради,  
 Кто-то проникнет в скрытое обычно от глаз,  
 Расслышит биение сердца, ощутит дыхание жизни,  
 Так похожей на многие — и узнает свое.



## Владимир ГУТКОВСКИЙ

*/ Киев /*

### Калейдоскоп любви и веры

**Столяров Александр «Новая книга» — Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2011. — 232 с.**

Эта «Новая книга» — действительно новая книга большого русского писателя Александра Столярова.

Так бы, наверное, в стиле своей книги начал мой добрый приятель Саша Столяров, если бы писал эту рецензию вместо меня.

Нет, «большой русский писатель» он бы, конечно, не написал, поскромничал бы.

А я напишу, мне можно.

Александр Столяров известен как режиссер, стихотворец, драматург, сценарист, художник, религиозный и просто философ, и поэт жизни. И со всеми этими его ипостасями (кроме первой) знакомит эта книга. Те, кто знаком с его фильмографией, подтвердят, что он делает хорошее кино.

А, прочтя эту его книгу, неизбежно придут к выводу, что и проза у Александра Столярова просто замечательна (проста и замечательна).

Я, во всяком случае, именно так и считаю.

На первый взгляд, перед нами сборник незамысловатых зарисовок, предварительных набросков, баек «за жизнь». Но потребуются совсем немного времени, чтобы, распробовав эти истории на вкус, понять, что каждая из них представляет некое сгущение высочайших смыслов и непреходящих истин.

Книга предваряется основательным и глубоким предисловием Ивана Жданова (имя, которое не нуждается в представлении).

Пересказывать его не имеет смысла. Тем более что далеко не во всем я с Иваном согласен. Так, ему книга кажется чересчур разбросанной и нарочито непричесанной. Мне же она представляется вполне органичной, хорошо продуманной и естественно выстроенной.

Но тут многое зависит от пристрастий и темпераментов рецензентов.

Все же одну много проясняющую цитату из Ивана Жданова нельзя не привести:

«Это книга не столько про писателя, замученного проблемами творчества, сколько про метания верующего человека, настойчиво и постоянно нащупывающего границы своей веры...».

И с этим нельзя не согласиться. А вот как определяет свою мировоззренческую позицию сам автор.

«Я знаю, что нет в мире того, чего бы не было в Церкви, но в самом мире многого не достает».

И пусть это утверждение содержит определенное логическое противоречие. Из того, что в мире многого не достает, совсем не следует, что это недостающее можно найти только в Церкви. Помните вторую теорему Геделя о неполноте?

Но это убеждение автора цельно, внутренне не противоречиво и вызывает глубокое уважение. И является сердцевинной его творчества. Хотя в поиске художника всегда много интуитивного и неопределенного. И дело даже не в потугах современных Мефистофелей посягнуть на его душу.

Он сам источник вечного беспокойства. «Господи! Все мои попытки жить по заповедям твоим уничтожаются снами».

Неслучайно его рассказы наполнены замечательными людьми, столь же прекрасными, сколь и чужаковатыми. Истории, приключаются с ними, одинаково фантастичны и реальны. А сердца их всегда открыты для высокого полета.

Для Ивана Жданова построение книги мозаично и фрагментарно, череда эпизодов и эпизодиков.

А мне новеллы Александра Столярова кажутся похожими на детские «секретки», где под цветными стеклышками таятся неизъяснимая тайна и пленительная красота.

Легко доступные ребенку любого возраста.

И тут же в книге две маленькие повести «HOME VIDEO» и «О Тане». Так же преисполненные постижением неизведанного, верой и любовью. Отдельный раздел книги — сказки, написанные для детей и с детьми. Замечательно разнообразные истории, душевно понятные каждому читателю. Вызывающие трогательное умиление и одновременное взросление маленьких сердец.

Я начал с того, что по основной своей профессии Александр Столяров кинорежиссер. И так уж сложилось, что в то время как я писал эти заметки, мне повезло посмотреть его замечательный фильм «Господин Премьер-министр».

Я не стал бы упоминать об этом, если бы не авторский текст к нему, написанный (и заодно великолепно прочитанный) Алексан-

дром Столяровым. Как по мне, он вполне мог бы войти в состав «Новой книги». И выглядел бы там вполне органично и по духовной наполненности, и по общей своей ауре любви и милосердия.

Книга иллюстрирована рисунками автора.

Александр Столяров хороший рисовальщик, но в этих наивных рисуночках куда больше мудрости, чем показного умения. Именно так, мне видится, рисовал Маленький Принц. То есть, так за своего героя рисовал сам Антуан де Сент-Экзюпери.

И фото на последней странице обложке.

Там можно увидеть Александра Стоярова со своей семьей (своим святым семейством).

Мне он кажется сильно повзрослевшим, но все таким же Маленьким Принцем. Продолжающим придумывать свои чудесные сказки. Из них и состоит его «Новая книга».

## Картина на обложке и под ней

**Яр Ангелина «Кошка хвойной, колючей породы» — СПб.: Алетейя, 2012. 111 с.**

Мне всегда нравились книги, в которых присутствовали поэтическая и прозаическая составляющие, стихи и проза под одной обложкой. Это всегда позволяет представить творчество автора всестороннее и более многогранно. К таким книгам принадлежит и «Хвойная кошка» (название привожу в сокращенном варианте) Ангелины Яр.

Название книги далеко не случайно.

И пусть сам автор старается не подчеркивать свое пристрастие к «кошачьей» теме, да и собственно материалов, впрямую ей посвященной, в книге не так уж много. Но невозможно утаить кошачью пластику письма, непостижимую глубину взгляда, свойственного этому загадочному созданию, а, значит, и текстам стихов и рассказов.

Картина на обложке книги — таинственный и мистический ночной пейзаж и — вместе — сияние далекого светила, Луны ли, Солнца, неважно. И вот такими же видятся мне и тексты Ангелины (прозаические, стихотворные). Наполненные так никогда до конца не постижимыми смыслами перипетий человеческой жизни и освещенные (и освященные) отдаленным и призрачным светом.

Тексты автора завораживают.

Есть в них и глубины опасного омута, и беспредельность любовных чувств, и горькие подчас реалии повседневного существования, и надежда, пусть смутная и неопределенная, но всеохватная и неизменная.

В стихах Ангелины наряду с обобщенной поэтической образностью то и дело встречаются наблюдения безошибочной точности, и даже жесткости. У меня нет особой охоты вытаскивать из текста цитаты в подтверждение этой мысли.

Но, если так принято, пожалуйста.

*«... Не гони меня, я — Лорелея,  
— тленных лунных созвучий страж ...»*

*«... И откликнется эхо далеких миров,  
отражаясь в созвездии Гончих Псов...»* — с одной стороны.

И —

*«... И хлынет, омерзителен, крик паровозного гудка ...»*

*«... Яблочным излюбленным вареньем измазаны жирные морды блинов...»* — с другой.

Проза автора мне нравится не меньше чем поэзия. А, пожалуй, что и больше. Нередко в тексте так искусно переплетаются возвышенное и земное, высокая любовь и человеческая страсть, что их невозможно отъять друг от друга.

Вот чрезвычайно впечатляющий рассказ «Асфальт», где истории влюбленной девушки и брошенной собаки так спаяны между собою, что в финале их уже нельзя отличить друг от друга.

Пожалуй, это проявление заявленной автором как бы не всерьез экзистенциально-анималистической направленности своего творчества. А ведь так оно и есть.

Или совершенно волшебный по своей прорисованности рассказ «Зефир...».

О том, как целительна для души любовь живого существа.

И о том, как бесполезны попытки спасти и выводить ее, когда кончается ее земной срок.

В прозе Ангелины Яр сюжет часто не имеет особого значения.

Нет, не так — сюжет вторичен по отношению к восприятию текста. Который можно неоднократно перечитывать, зная (не зная) интригу повествования.

Обращаться к нему снова и снова, когда при этом в памяти в первую очередь всплывает не то, что должно произойти, а то чувство душевного слияния, которое неизменно при этом возникает.

Литературу такой эмоциональной наполненности по привычке принято называть «женской». Думаю, что это не так.

Проза Ангелины Яр меньше всего заслуживает каких-то гендерных ярлыков. Она универсальна и всечеловечна. Другое дело, что душу женщины понять и описать автору не то, что проще, но естественнее. И с такой полнотой и силой выполнить подобную задачу не способно ни одно живое существо на Земле.

Не говоря уже о мужчинах, пусть и писателях.

У Анжелины Яр получается.

И еще бросается в глаза, что автор совсем не умеет того, что так хорошо удается рецензенту — отделяться словами от чувств.

И слава Богу!

Своими словами она создает поразительно точный эквивалент чувств.

Любых.

Через всю книгу пролегает эта страстная тропа человеческих страстей.

От страсти любви через страсть отчаяния к страсти надежды.

Трудно ожидать, что после такого творческого успеха Анжелины Яр тут же начнет выдавать одну книгу за другой.

Но мне хочется надеяться, что я еще повстречаю ее произведения на большой читательской дороге.

И не разминусь с ними.



КРЕЩАТИК  
(Перекресток)

Международный  
литературный  
журнал

Оригинал-макет *Б. Марковский*  
Дизайн обложки *С. Пионтковский*

Издательство  
«Вест-Консалтинг»,  
Москва, 109193,  
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Подписано в печать 12.05.2012. Формат 66x88<sup>1/16</sup>.  
Усл.-печ. л. 19,9. Печать офсетная. Заказ 744.  
Тираж 500 экз.

Мы – в неустанном поиске  
новых имен, неизвестных авторов,  
где бы они ни жили – в Киеве,  
Петербурге, Иерусалиме, Нью-Йорке  
или Мюнхене, мы – перенесенный  
в ментальное пространство проспект,  
как бы он ни назывался  
в каждом городе, где когда-то  
завязывались великие дружбы,  
писались великие стихи,  
происходили знаменательные  
встречи...

